



Людмила АГЕЕВА

В ТОМ КРАЮ...



РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬ

КОЛЛЕКЦИЯ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ



ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА

Л ю д м и л а А Г Е Е В А

В Т О М К Р А Ю . . .

Людмиле Алексеевну
с интересными наблюдениями
и здоровьем.

22 дек. 2006

Людмила Алексеева

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2006

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
А23

Автор благодарит друга и коллегу Александра Жилина,
чье великодушное участие сделало возможным это издание.

Агеева Л.

А23 В том краю... / Людмила Агеева. — СПб. : Алетейя, 2006. —
300 с. — (Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN 5-89329-912-4

В книгу ныне живущей в Германии Людмилы Агеевой вошли рассказы,
повесть и эссе, опубликованные в разное время в российских журналах
«Звезда», «Знамя», «Нева», «Вопросы литературы», а также в зарубежных
периодических изданиях. Рассказы переведены на итальянский, немецкий,
голландский языки.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 5-89329-912-4



© Людмила Агеева, 2006
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2006
© «Алетейя. Историческая книга», 2006

Уроки равновесия

1.

Как далеко в начало собственного существования может проникнуть память? Когда сгущается непроницаемая темнота, в которой уже ничего не удаётся рассмотреть? Напрасны усилия. Закрываю глаза, вглядываюсь до головной боли в эту темноту, но ничего не вижу. Иногда вдруг выплывает освещенный светом коридора стеклянный верх двери. Четыре ровных квадрата матового стекла. Меня уложили спать и свет в комнате выключили, а в коридоре зажгли. Уложила мама – значит, мне нет еще двух лет. А когда было почти два года, перед войной, меня отправили к бабушке в Днепропетровск (Екатеринослав – говорила бабушка).

Платформа. Стоит поезд. Нас провожают. Кто-то меня держит на руках. На мне *зеленое* бархатное пальтишко, в руке я держу обглоданную *красную* пластмассовую ложечку – это вместо соски. Именно запомнившиеся *цвета* убеждали маму, что этого никто не мог мне рассказать. Эту пустячную картинку я *сама* извлекла на свет и долго рассматривала в надежде пробраться дальше в глухую загадочную тьму, но нет...не получается, плохо получается. Последующее знание выскакивает на помощь с непрошеными подсказками. Память хочет быть честной, трясёт головой, отталкивает подсказки, не хочет обманываться, но...тоже получается плохо и, наконец, сдаётся, вздыхает и жалеет, что не расспросила тех, кто совсем недавно еще был жив.

Дедушка в белом свитере крупной вязки, с высоким воротом, отчаянный и безумный, мечется по квартире, крушит топором всё, что ни попадет под руку. «Чтоб не досталось ненавистным ляхам». Бабушка плачет. Это сколько же лет накапливалось добро. Ляхи – это никакие не поляки, это просто враги – они уже входят в город. И мы бежим. Дед нас всех и спас, спас и упал, и пробежали по нему оружие беженцы, прижимая к

себе детей. Но это потом. А сейчас он грубо выталкивает нас, плачущих, из дома, прощай дом, прощай. «О, Берта...», – на секунду останавливается дед и обнимает бабушку.

Бежим из города, везем на тележке жалкое барахло. Горячая, выжженная степь. Воды нет. Я пью из лужи, потом страшная дизентерия.

Над степью опускается немецкий десант. Это огромные, усталые солдаты, им безразлично – евреи мы или не евреи. Один из них, подволакивая морщинистый парашют, подходит к нам и спрашивает почти по-русски: «Где селёный пункт?».

Долго едем в каких-то грязных, холодных и душных вагонах. Или между вагонами. На грохочущих буферах. Тетка напротив нас трясётся на своих узлах, качает головой и говорит бабушке: «Ой, не довезешь...». У меня уже кровавый понос и судороги. «Заткнись», – говорит бабушка противной толстой тётке и насильно вливает мне в рот горький раствор чаги. Не вырваться – ноги мои крепко сжаты её коленями, дедушка держит мои руки. Извиваюсь и бессильно плачу, но остаюсь жить. А вот дедушку мы не довезли – он ушел за кипятком и навсегда исчез в грохоте налета. Очень быстро по звуку научились дети узнавать немецкие самолеты. И я научилась.

Не может бабушка спокойно слышать песню: «Эх, дороги – пыль да туман...», плачет и злится, видится ей пыльная трава и рука расслабленная, и чайник наш валяется рядом. «Выстрел грянет, ворон кружит – твой дружок в бурьяне неживой лежит». Так все и было. Наверное, так. Мертвый Лев остался на сырой земле под грохочущим небом. Мой дед – Лев, это его имя, но моя бабушка Берта – настоящая львица. Львицы живут дольше львов и почти никогда не плачут.

Поезд наш остановился надолго у каких-то домов. Впереди разбомбили пути. Вечер. Или сумерки, или просто темно в глазах от слабости. Бабушка уже не может нести меня на руках, я покорно плетусь за ней, иногда просто сажусь в теплую пыль, пушистую и нежную, как пепел.

Какие-то у бабушки надежды на эти деревенские дома.

Но нас никуда не пускают. Всемирная отзывчивость русской души из этих домов слегка поыветрилась. Одна баба,

правда, вынесла нам поллитровую банку воды и тут же замала руками:

«Прочь идите, прочь...»

Спасибо доброй женщине. Мы не только напились, но бабушка даже ловко и быстро умыла меня. До сих пор чувствую её шершавую, согнутую ковшичком ладонь, в которую всё моё лицо и поместилось.

(Когда и где появляется мама, не помню и спросить уже не у кого. Каким чудом она нашла нас с бабушкой среди бегущих и гибнущих людей – непонятно. Знаю только, что в сорок втором году, в феврале она сошла внезапно с поезда, идущего на Восток, в ту самую Елабугу, куда везли из Ленинграда уцелевших университетских блокадников, счастливо миновавших разломы ладожского льда, в которых на их глазах тонули грузовики с товарищами, сошла, повинуясь неясному душевному порыву, в городе Горьком, где жила моя вторая бабушка, своевольно не поехала в страшную Елабугу, и нас нашла.)

И дальше мы были уже все вместе и долго жили в теплом и волшебном городе. А в городе было два города – новый город и старый город. Мы жили в новом, но старый мне нравился больше. В старом городе всё было или жёлтое, или чёрное. И под жёлтыми дувалами в чёрной тени стояли сосредоточенные ишаки, а над ишаками в горячем воздухе струились вверх жёлтые мечети.

Когда мы приходили в старый город, я радушно вертела головой и всем говорила: «рахмат, рахмат». Какая-то путаница была в моей голове, это единственное узбекское слово, которое я знала, означало «спасибо».

Меня обступали молчаливые девочки со множеством тугих косичек и сочувственно смотрели на мою стриженую голову.

Я была похожа на мальчика, и ничего из того, что любят девочки, я не любила. Никаких кукол, никаких зайчиков и домашних игрушек – любила я игры шумные и азартные. Жажда побед обуревала меня и завораживал риск поражений. Целые дни я носилась по улице с оголтелой компанией, с пронзительными воплями взлетала на низенькие дувалы, разбивая

в кровь колени и шокируя маминых знакомых. Апа-молочница отодвигала занавеску, смотрела на нас изумленно, цокала языком.

Но среди тихих девочек в старом городе я и сама затихала и смущенно начинала объяснять, что стригут меня так потому, что часто болею, девочки, по-видимому, не понимали ни слова, радостно кивали и трясли косичками.

Вечером приходил Валерьян Брониславович – «Валерьянка с Бромом». Он тоже приехал из Ленинграда. С Медицинским институтом. В Ленинграде у него умерла жена, а по дороге в Самарканд умер сын, и теперь он жил с матерью, которая ходить не могла и ездила по нашему Телефонному переулку в самодельном кресле на колесиках, отталкиваясь двумя палками. Меня она не любила, хотя разговаривала со мной всегда ласково, но я знала, что ужасно ей не нравлюсь. Ну кому могло понравиться тощее, мелкое, беззубое и буйное существо? Кому, кроме собственной бабушки? О, моя бабушка Берта...

Валерьянка всегда приносил что-нибудь вкусное и отдавал мне. Мама смотрела строго. Перед мамой он оправдывался, говорил, что к ней это не имеет ни малейшего отношения – просто ребёнок страшно худеет.

Я почему-то при нём вела себя совсем уж «разнузданно» (так говорила бабушка) – ходила пузом вперед, нарочно ступнями внутрь, шумно пила воду прямо из чайника и приказания бабушкиных глаз не хотела понимать.

Наконец разъярённая бабушка выдергивала меня за руку из комнаты и выволакивала во двор. Здесь я стихала и спокойненько сидела на скамеечке под нашими распахнутыми окнами, и мне было бы все отлично слышно, если бы только они о чем-нибудь разговаривали.

Но они не разговаривали, потому что нельзя сказать – они разговаривали, если время от времени он произносил что-нибудь вроде:

– Ну что же ты молчишь? – а мама ему всё равно не отвечала.

– Хорошо, хорошо, я уеду куда-нибудь. – Никуда он не мог уехать, он был врач, и была война.

Иногда мама очень тихо говорила:

– Как хочешь.

Теперь она вообще молчала, может быть, пожимала плечами, но мне этого было не видно. Зато прищёптывала рядом бабушка, что мама ведет себя так, как будто нас с ней, то есть меня и бабушки, вовсе нет, а есть для неё, для мамы то есть – один лишь папа, которого, может быть, уже и нет.

Мой отец пропал без вести, и поэтому мама не думала, что он пропал или, тем более, что его убили. А бабушка думала и говорила, что отец был почти слепой, а очки он потерял, наверное, еще до того, как ополчение вышло из Ленинграда. И что всё это было с его стороны, конечно, очень благородно, но совершенно бесполезно, раз он был практически слепой и не обучен стрелять. (*Отец защитил диссертацию тридцатого июня сорок первого года, а недели через две ушел добровольцем на фронт. Через много лет я узнаю, что у отца была «бронь», то есть в армию его не должны были призвать, он ушел воевать по доброй воле, втайне от своего учителя академика Тарле, который «воспринял гибель своего талантливого ученика как личное горе» – так написано в книге «Из литературного наследия академика Е.В.Тарле»*)

Однажды Валерьянка принес что-то невероятное – буханку белого хлеба. Он ухнул её мне на руки, и от тяжести я присела до самого пола.

Весь вечер я расхаживала по комнате, укачивая этот белый, румяный, хрустящий, неизвестно где выросший хлеб, прижималась к нему щекой. А когда меня укладывали спать, рядом на стул Валерьянка положил зацелованную мной буханку, подстелив газету.

Потом сквозь ресницы я видела, как подошла мама, заслонив свет, постояла надо мной, едва коснулась губами моей щеки и унесла этот неиспробованный мной, никогда не виданный раньше хлеб. И там, за ширмочкой, отдала его Валерьянке, потому что он тотчас же зашептал:

– Нет, нет, нет, прошу тебя...

Он, вероятно, махал руками и отступал к двери, но он всё-таки взял этот свой несчастный хлеб. Взял и унёс. И я не за-

кричала, не завопила во всё горло, вообще ничего не сказала, не пошевелилась даже, только зажмурила глаза, потому что слёзы уже стекали по обеим сторонам лица прямо в уши.

Мама считала, что я очень похожа на папу, хотя никто – из тех, конечно, кто знал отца или видел его фотографии, – не находил во мне особого с ним сходства. Она часто разглядывала меня и удивлялась, что я становлюсь всё больше на него похожа.

– Как ты похожа на папу, – говорила мама, и взгляд её внезапно застывал, только руки продолжали гладить меня.

– Папа правда был слепой?

– Ну что ты, – изумлялась она, – нет, конечно. Нет, нет.

И снова:

– Нет, нет, – покачиваясь и прижимая меня к себе, – он просто плохо видит.

– Он всегда носил очки, да?

– Да, да...

Несколько раз: «Нет, нет». Несколько раз: «Да, да».

И как будто не слыша меня, как будто совсем по другому поводу.

В арыках текла желтая вода, и уезжали из Самарканда ленинградцы. Только мы никуда не ехали, потому что маму не отпускали. А все кругом уезжали. Уезжали из нового города и из старого, с Телефонного переулка и с улицы Ленина, уезжал завод «Кинап» и Медицинский институт, а с Медицинским институтом уезжал Валерьян Брониславович, Валерьянка с Бромом. Я первая узнала об этом, потому что он мне первой об этом сказал.

К нашему дому можно было пройти по Телефонному переулку, вдоль скользкого берега размытого арыка, встречая у каждых ворот хитрые расспросы соседей, глупые их советы или нудные замечания. А можно было идти по заброшенной железной дороге, заросшей колючей травой и засыпанной песком. За день под безжалостным солнцем рельсы накалялись и держали ровный, сухой жар до самого вечера.

Я шла по одному рельсу, изгибаясь и раскинув руки для равновесия. И там, где дорога заворачивала в наш Телефон-

ный переулочек, я увидела Валерьянку – он сидел на рельсе, подбородком на коленях, и не смотрел в мою сторону.

Я тоже не стала кричать ему издали, а, стараясь не сорваться, подошла и остановилась над ним.

Он взглянул, как будто и не ждал меня вовсе на этом горячем рельсе, но рад случайной встрече:

– Ну, как жизнь?

Я вздохнула и села рядом:

– Меня снова укусила собака.

– Бешеная ?

– Ага, бабушка теперь меня водит на уколы.

– А мы завтра уезжаем...

И я сразу поняла, что едут они в Ленинград. Иначе зачем бы он здесь сидел.

Мы немного посидели рядом, помолчали, посмотрели вдаль, а потом Валерьянка сказал:

– Ну, приходи провожать.

И мы пришли на следующий день провожать его в Ленинград, о котором мама проплакала всю ночь. А о Ленинграде – это значит о папе. Уже кончилась война, а он был всё еще пропавшим без вести.

Я несла Валерьянке виноград в сетке – крупные виноградины высовывались наружу, и я их потихоньку отщипывала.

Когда все бросились по вагонам, мама снова заплакала. А Валерьянка стоял в окне за темным стеклом – еще с нами и уже почти в Ленинграде, но не было ему от этого никакой радости, и он грустно поводил подбородком.

А поезд уже шел, еще совсем медленно, но все-таки шел в Ленинград. Я немного пробежала рядом, я махала ему рукой, но Валерьянка не видел меня – недоуменно и растерянно он смотрел куда-то вкось, где осталась стоять мама.

Никогда с тех пор я не была в том городе, в том золотом, жарком городе, грязном и пыльном, в том чистом и горестном городе моего детства. И никогда уже не буду.

Но порой я так ясно вижу наш двор, наш неряшливый дом, нашу комнату с жалким уютом, крошащиеся, разваливающиеся ступеньки нашего крыльца, на котором стоял Игорь.

– А я уже живу на свете девять лет, – с грустью сказал он.
– А я живу на свете сто лет, – радостно закричала я и подпрыгнула на месте.

Тоскливое презрение появилось на лице мальчика.

– Как же ты можешь жить на свете сто лет, когда тебе всего шесть. Ты шесть лет всего и живешь.

Это была невероятная новость – я была уверена, что существую вечно.

Я застыла в онемении посреди пыльного самаркандского двора, под пронзительно синим, безоблачным самаркандским небом.

Я оглядела этот нищий самаркандский двор, неказистые домики, набитые эвакуированными, я увидела мою бабушку, прислонившуюся к теплой глиняной стене, маму, стоящую перед ней – они о чем-то разговаривали.

Начало моей жизни терялось во мгле и потому, казалось, она была всегда.

И никогда она не была более вечной, чем в то время, когда могла кончиться, будто и не начиналась, от совершенного пустяка. Например, на пирсе карантинного Баку, где холера доедала истощенных ленинградцев. Или от дифтерита в огромной дифтеритной палате, где каждую ночь кто-нибудь умирал. Рядом со мной долго умирал узбекский мальчик, из тоненькой шейки его торчала металлическая трубка, в которой булькала и хрипела его кончающаяся жизнь.

Я лежала на спине, повернув голову в его сторону, в сердце моем был темный страх.

Или от укуса бешеной собаки в день моего четырехлетия. Одета в прекрасное голубое платье из парашютного шелка, я сидела в тот день на низеньком заборе, отделявшем наш двор от собачьего питомника Медицинского института, когда вылетело на меня безумное животное и, застыв на мгновение в диком оскале, крепко вцепилось в мою четырехлетнюю ногу.

На следующий день, кстати, голубое платье мне надеть не разрешили. Оказывается, следующий день, к моему удивлению, уже не был днем моего рождения. Так мне дали понять, что всё проходит.

Но почему же так быстро?

Особенно то, что радует нас и составляет наше счастье.

Этого я не знаю и сейчас.

Да мало ли от чего можно было перестать жить в то время, даже если не вспомнить про блокаду, бомбежки и голод в Ленинграде.

И вот хрупкая, но неистребимая жизнь моя продолжилась, как продолжились и другие везучие жизни, часто кощунственно прошедшие мимо многих смертей, редкая из которых была особо отмечена в то время.

Может быть, поэтому меня поразили чьи-то мирные похороны в Самарканде.

Была у меня коробка для сокровищ.

Там лежали цветные бусины, шарики от никелированной кровати, стекло для наблюдений затмений Солнца, сломанная брошка, золотое медное кольцо, маленький фарфоровый носорог с отбитыми ногами, а также блестящая серебряная ложечка.

Однажды после долгих выпрашиваний мне разрешили взять серебряную ложечку в детский сад, и с напутственными словами бабушки – «все равно потеряешь» – я понесла свое сокровище в кармане, придерживая карман ладонью. А во время кормления песком страшного, облитого марганцовкой зайца ложечка просто провалилась в песок. Только что она была здесь, но вот блеснула скользкой рыбкой между пальцев, канула в песок – и нет её нигде.

Отчаянье моё было безмерно. До вечера я просидела в этой огромной песочнице, безнадежно разрывая и просеивая серый песок, и лицо моё, мокрое от слёз и труда, было всё в этом колючем и душном песке, как в панировочных сухарях.

Когда же совсем наступил вечер, я была взята за руку и выведена за ворота на тёплую и пыльную улицу старого города, где, тихо постанывая, осталась стоять, упрямо упершись лбом в нагретую жарой стену.

И вдруг в конце этой улицы послышалась фантастическая горькая музыка, в закатном свете засияли золотые трубы, и темная река торжественного плача пронесла мимо меня красивый коричневый гроб.

Я побежала вдоль этой реки, зачарованная сиянием и музыкой труб, уханьем барабана, воплями плакальщиц и жуткой загадкой смерти, так рано начинающей терзать живые души.

На моё залитое слезами лицо глянули, перешептываясь, какие-то тощие женщины в черных платках. Ко мне протянулись руки, обняли и повели, глядя по голове, потом подняли над толпой, и я снова увидела покачивающийся впереди гроб.

– Подумать только, такая крошка... всё понимает...

Людские сердца потряслись выразительностью и глубиной детского страдания.

На распросы, жалко ли мне бедного дедушку, я отвечала длинным стоном, закидывала голову и опять вдохновенно заливалась слезами.

Словно кристалл плача в насыщенном, но слегка уставшем слёзном растворе, блуждала я среди толпы, вызывая на своём пути новые приступы шумной скорби.

Карманы мои быстро наполнялись конфетами, печеньем, блестящими узбекскими лепёшками, грецкими орехами, урюком.

Поразительно, сколько еды несли с собой люди, провожающие в последний путь неизвестного мне старого человека, чья смерть была так непонятно выделена, так мирно и вызывающе отмечена длинной дорогой через весь город на кладбище, сверкающим оркестром, траурными одеждами, моим плачем, памятью и улыбкой через многие годы.

Домой я вернулась, когда было уже совсем темно, и ничего не могла объяснить перепуганной бабушке, непрерывно повторявшей надо мной одну и ту же загадочную фразу:

– Не доводи меня до белого колена.

Кстати, эта странная фраза еще долго была мне совершенно непонятна и вызывала лишь смутное представление о сильном побелении колена, появляющемся у взрослых в минуты крайнего раздражения.

– Я, между прочим, помню, когда война началась, а ты это го помнить не можешь, – сказал Игорь.

– Могу, почему это не могу, – закривлялась я, перескакивая с ноги на ногу.

Этого он уже не выдержал и пошел от меня прочь, нарочно пыля босыми ногами.

Я догнала его, забежала вперед и протянула слегка уже облизанный кусок хлеба с вареньем, который давно держала в отставленной руке, как держат узбеки пиалу с чаем.

– Хочешь, кусни.

Он скривил губы, пожал плечами, хотел отказаться, но я уже разломила кусок и протянула ему, не без некоторого усилия, большую часть.

Отказаться от еды в то время, тем более от хлеба, можно было только обладая сверхъестественным упрямством, как, например, моя мама, потерявшая разум горячка, вернувшая своему верному поклоннику Валерьяну Брониславовичу незабвенную буханку белого хлеба, которую принес-то он именно мне; или в тяжком бреде во время болезни – не съеденного в scarлатину печенья мне было жаль всю последующую жизнь.

– Только мне поменьше, – сказал Игорь, уставившись на свои пыльные ноги, – тебе поправляться надо.

Я, по-видимому, только что вышла из очередной больницы.

Количество и разнообразие моих болезней было столь чудовищно, что вызывало не жалость, а, напротив, даже некоторое почтение.

Никто из соседей и случайных знакомых не избежал бабушкиного рассказа о том, как мне удалось заболеть самой странной корью, невиданной в Самарканде со времен Авиценны.

А история о моем необыкновенном дифтерите превращалась в небольшой спектакль, лично для меня, правда, несколько однообразный. Бабушка поочередно изображала различных медицинских знаменитостей, тоскливо гундосивших надо мной что-то о «крупозном воспалении легких», когда же рассказ доходил, наконец, до старичка профессора, «из местных, вылитый Улугбек», она вскакивала, на несколько метров отбегала от зрителей, вскидывала свои худые руки, показывая, какая была у профессора папаха и какой завиток каракуля на воротнике, и как одной рукой профессор схватился за узенькую бородку, а другую выбросил вот так – вперед и вверх – и с порога, не раздеваясь, закричал:

– Дифтерит! Она уже хрипит у вас!

Далее шла сцена скандального выдворения бабушки из той самой дифтеритной палаты, из которой она ушла всё-таки лишь через месяц (главный врач плюнул и махнул на неё рукой – пусть), но уже вместе со мной, выхаживая весь этот месяц не только меня, но и всех прочих тощих и хрипящих детей.

Ничто не могло устроить мою бабушку, если мне нужна была её помощь, даже суровая карантинная охрана в Баку, сквозь которую она непостижимым образом проникала в город и возвращалась обратно с молоком, хлебом и лекарствами. Если бы она могла сохранить мне отца, она ушла бы вместо него в ополчение.

Моего отца мама не хотела называть «пропавшим без вести», просто от него давно уже не приходили письма, но и похоронки тоже не было, «похоронки ведь не было, не было», – твердила она многие годы, пересказывая удивительные истории спасений и чудесных встреч, и действительно, такие истории случались, и надежда жила еще очень долго.

Самой большой надеждой остался так и не встреченный ею высокий военный человек, который пришел к нам ранним утром, когда она еще не вернулась с дежурства, а бабушка уже ушла за хлебом.

На загорелом лице этого человека были белые морщины и добрая улыбка.

Он присел передо мной, привлек меня к себе, оцарапал ключей щекой и вдруг протянул коробку цветных карандашей. Откуда он знал про карандаши? Я задохнулась, взяла его огромную руку, потянула к столу.

– Хотите, я вам покажу свои рисунки?

И кажется, в этот момент он поцеловал меня, и я очень близко увидела его глаза, полные слёз.

Отчего были эти слезы?

Тень горького предчувствия легла мне на сердце.

Он так и не дождался взрослых и, грустный, ушел, оставив на столе сахар, несколько банок тушенки, шоколад, галеты и что-то еще такое же необыкновенное.

От меня он принял в подарок только один рисунок, на котором дом, дерево и девочка ростом с дом стояли в ряд под бледно-желтым солнцем в густой синей траве, и девочка была похожа на песочные часы.

Давным-давно кончилась война, с которой не вернулся мой отец, давно умерла моя бабушка-львица, и мамы нет уже давно на этом свете, но иногда я все еще стою там, посреди нищего и пыльного самаркандского двора.

В руке у меня кусок хлеба с вареньем. Мы уже не голодаем, мы верим в победу и ждем конца войны. Передо мной девятилетний мальчик, рука его взметнулась в поучающем жесте, и весь он застыл в моей памяти, как в детской игре «замри».

Я слышу восторженный визг моих друзей, строящих плотину через наш мутный арык, и прерывистое стрекотанье швейной машинки из окон апы-молочницы, плач младенца, перебранку женщин, лай собак.

Справа от меня за глиняным дувалом стоит такая же глиняная непонятного мне назначения башня, а за ней растет дряхлое, морщинистое тутовое дерево, а еще дальше, среди песка и колючек лежат ржавые, горячие рельсы старой железной дороги.

Скоро я побегу туда, простившись со своим умным девятилетним другом, чтобы побыть там одной и потренироваться на раскаленном рельсе в столь необходимом мне чувстве равновесия.

А пока я всё еще стою в пыли под солнцем, посреди шумного самаркандского двора, посреди моего бедного детства, не подозревая еще, что расстанусь в этот момент со своим жизне-радостным бессмертием.

2.

Из Самарканда мы с бабушкой едем очень долго. Первая пересадка в Ташкенте. Ночуем на вокзале, на полу. Среди ночи всех будят и выгоняют на привокзальную площадь. Землетрясение. «Дальше от стен, ближе к центру» – кричит пожилой

милиционер. Мы стоим в толпе, в центре площади. Я пытаюсь вырваться от бабушки и протиснуться в первые ряды – мне интересно, как будет разваливаться вокзал. То, что там остались все наши вещи, не особенно меня печалит. Мне хочется всё видеть своими глазами

Пустой вокзал дрогнул, но устоял.

Потом мы бесконечно пересаживаемся с поезда на поезд. Кроме своих узлов, тащим еще ящик винограда. Бабушка время от времени озабоченно перебирает виноград, пересыпает его какими-то стружками, выбрасывает сгнившие ягоды. «Пустая затея», – думаю я, но помалкиваю. Этот ящик мне давно надоел. Но бабушка во что бы то ни стало хочет его довести – мы ведь едем в Ленинград, некоторые родственники и знакомые ухитрились выжить в блокаду – надо их порадовать виноградом. В Ленинграде нас уже ждет мама, какими-то неправдами вырвавшаяся из Самарканда.

В пути я совершаю нечто ужасное. Бабушка так и повторяла: «Ужас, ужас...», – пересказывая маме. Пытаюсь забраться на верхнюю полку, я вцепляюсь в рукоятку «стоп-крана» и останавливаю поезд. Что-то шипит, женщины кричат, вещи падают. Через некоторое время появляются не улыбочивые люди в форме и говорят бабушке такие слова, от которых лицо её заливают мгновенная бледность, а руки охватывают меня крепко-крепко – мне больно. Но народ после войны осмелел, и вагон бурно защищает меня и бабушку. «Тоже мне диверсионный акт, – говорит презрительно людям в форме какой-то военный, – это же ребенок». «Ваши документы, товарищ капитан», – зло поворачивается к нему один из них.

Поезд потихоньку набирает ход. Капитана увели. О нас забыли.

Первый адрес в Ленинграде у нас такой: Невский проспект, дом номер один – угловой, красивый, серый дом, пять этажей, есть намёк на шестой – то ли мансарды, то ли чердак с окнами. Мы живем у маминой подруги. Потом, много позже из этого дома всех жильцов выселили, получили, должно быть, счастливицы отдельные маленькие квартиры, без сожаления оставив свои комнаты в шесть метров высотой, с обильными але-

бастровыми плодами и листьями по потолкам, а в доме этом устроили тогдашние отцы города какое-то строительное управление.

Бабушке тяжело подниматься, но на некоторых площадках стоят мраморные скамеечки для отдыха. Бабушка подолгу сидит на них, тяжело дышит, у ног её – вязанка дров (стоит три рубля, это очень немалые деньги, все детство прошло в мечтаниях, что я сделаю, если найду сто рублей). Я недолго сижу с ней рядом – невозможно уже слышать, что мы живем в чужом доме, (наш-то дом на Мытнинской набережной разбомбили, и вещей никаких не осталось), и поэтому нужно стараться быть полезными, помогать по хозяйству, не шуметь, вести себя хорошо. И я срываюсь с места, несусь наверх до следующей площадки и, сильно перегнувшись через перила, пугаю её, гукаю в пролет, зову её и тороплю (маленькая крестинка), хотя вижу, что она всё еще не пришла в себя, еще держится за сердце.

Мама вместе с подругой (обе уже преподают в Университете) начинают учить меня английскому, хвалят. Лингвистические возможности семилетнего человека почему-то их изумляют. Студенты-фронтовики учат язык без всякого желания и успеха.

Потом мы живем на Каменном острове, гуляем у «Дуба Пушкина», рыщем среди развалин и дразним пленных немцев, которые эти развалины разбирают, немцы довольно добродушно огрызаются. Мальчишки иногда приносят им курево. Я ничем похвастаться не могу, ничего доброго я этим немцам не сделала. Это Аделина кормила пленных немцев своими школьными завтраками – два кусочка хлеба – просовывала их через щель в заборе на обратном пути из школы. То есть девочка на перемене не съедала свой завтрак. Я представляю, как трудно было не съесть эти жалкие кусочки, которые ей мама заворачивала в газету. Я не понимаю, как можно было не съесть завтрак. Я бы не смогла. И немцы уже ждали её забором – грязные, оборванные, голодные – они работали на какой-то фабрике. Не знаю уж, надо ли упомянуть, что Аделина была из еврейской семьи. И ее родители знали, что дела-

ли немцы с евреями. Может быть, маленькая девочка и не знала. Но это неважно, не правда ли. Сострадание ведь тоже не имеет национальности.

Мы, наконец-то, получили постоянное жильё. Во дворе филологического факультета. Стены в комнате невероятной толщины. Мама поднимает руку к низкому потолку: «Петровские своды...» Но этаж первый, всегда сыро, по этим сводам сползают вниз медленные капли. Это тот флигель филфака, который долгие годы назывался «школа» – и действительно, до нашего приезда там была 21-я школа (а еще раньше – филологическая гимназия при Императорском историко-филологическом институте).

Замечательное место для игр – Филологический переулок, пустынный, тихий тупик, булыжники окружены пучками пыльной травы, это для больших, толстых взрослых тупик, но не для нас, отсюда легко можно было протиснуться между железными прутьями и выйти к ботаническому саду университета. О, там были таинственные гроты, изогнутые мостики, колючие заросли, солнце, отраженное стеклянной крышей оранжереи, слепило глаза, а дальше – (может быть, мне приснилось) – огромный аэродром, но там сквозь щели в ограде мы видели настоящие самолеты. Теперь Филологического переулка нет. Сначала его перегородили решеткой предприимчивые люди, поставили рядом с решеткой уродливую будку, устроили в нашем переулке платную автостоянку, но и автостоянка просуществовала недолго, и сменил её вскоре пошлый пивной павильон. Но зато рядом засияли бывшие конюшни Кваренги, отторгнутые от Академии тыла и транспорта и восстановленные загадочным богатеем.

Мы живем все в одной комнате, потом переезжаем, совсем рядом, в том же дворе, и тоже в «школу», над входом висит вывеска: «Кино-фото-лаборатория». (Вечность спустя, когда я уже училась в Университете, в небольшом зальчике этой «лаборатории» мы смотрели разные хорошие фильмы, которые в кинотеатрах не показывали – «Чайки умирают в гавани», например).

У нас теперь почти отдельная квартира – комната и большая кухня с огромной плитой. Из кухни фанерной перегородкой выделили даже отдельную комнатку для бабушки. Окна выходят во двор Главного здания, чуть левее Ректорского флигеля, если смотреть изнутри в этот двор.

И я вижу, как по аллее мимо наших окон медленно идет довольно высокий и грузный человек в темном костюме, руки заложил за спину – гуляет, так я думаю. И мама перекидывает ногу через подоконник, бежит по аллее и кидается к этому человеку. Он обнимает её, и они вместе прогуливаются и о чем-то беседуют. Этот человек – ректор университета Вознесенский. Я знаю, что мы многим ему обязаны. Мама практически убежала из Самарканда и приехала в Ленинград самовольно, без вызова, а это тогда делать было нельзя, но Вознесенский всё уладил, взял маму на работу, оформил вызов мне и бабушке.

Отношение мамы к имени Вознесенского и к Университету было невероятно трепетное. Когда через много лет Университет праздновал своё 150-летие, ей на торжественном вечере вручили памятную медаль. Она к этому событию отнеслась серьёзно и медалью этой очень дорожила. Точно такую же медаль получил Володя Конашенков как бы между прочим, то есть просто на бегу, из рук своего руководителя и тогдашнего ректора Кирилла Яковлевича Кондратьева – они вместе летели в какую-то командировку, и почему-то прямо на лётном поле Кирилл Яковлевич, порывшись в карманах, достал плоскую коробочку и сказал: «Да, кстати, пока не забыл. Вот вам медаль, Володя». История эта в пересказе Конашенкова всегда вызывала страшное возмущение моей мамы, как, впрочем, и весь наш образ жизни. Медаль свою Конашенков очень быстро и легкомысленно кому-то подарил, вернее всего, что по пьяному делу. А мамина медаль досталась мне и хранится, я надеюсь, среди прочих оставленных вещей и писем в родном Питере. Но вот что удивляет меня – когда Вознесенского расстреляли, мама об этом ни словом не обмолвилась, просто не помню никаких разговоров про «ленинградское дело». Что это – замкнутость, отчужденность в собственной

семье, страх или привычно спрятанное страдание? Вернее всего, инстинкт молчания, «в молчанье счастье твое, в молчанье...».

Бабушка ведет меня в школу за руку, хотя мне восемь лет. Я учусь в первом классе, а могла бы во втором. Но так уж вышло. Мама почему-то не хотела отдавать меня в школу в Самарканде.

Мы проходим филологический двор, в центре которого на долгие годы распахнул свои неряшливые внутренности знаменитый университетский гараж, сейчас там, правда, никакого гаража нет, а разбит новенький садик – старые толстые тополя спилили давно, их никто кроме меня и не помнит, на скамейках сидят новенькие мальчики и девочки с сигаретками. В углу двора стоит теперь маленький чугунный Блок.

По выщербленной лестнице мы поднимаемся в вестибюль филфака – я успеваю глянуть на себя в огромное, замечательное зеркало в белой раме – открываем тяжелую старую дверь и оказываемся на Университетской набережной. Осень, ноябрь, темное утро – холодно. Трамвая долго нет. По Университетской набережной тогда ходил трамвай. Пятый номер. С двумя красными огнями.

Я оглядываюсь. Над зданием Филологического факультета, прямо над входом, на крыше ярко горят три вытянутых косых креста – ХХХ. «А что это – ха, ха, ха?», – интересуюсь я и получаю от бабушки легонький подзатыльник, при этом она бросает быстрый взгляд через плечо – не слышит ли кто-нибудь мои глупые вопросы. «Это цифры, бестолочь, римские цифры». Оказывается, скоро праздник, тридцатилетие Октябрьской революции, последние предпраздничные дни.

Годы спустя я еду в такси с моим другом мимо дома на набережной Карповки – серый дом важных людей, вогнутый фасад, конструктивизм, в доме первый в городе мусоропровод. И друг мой, указывая на мелкие светящиеся лампочки, которыми выложена на крыше дома всем известная и никем не замечаемая надпись, спрашивает таксиста:

«Не знаете, случайно, кто это такой Слава Капесес?». «А хрен его знает», – также игриво отвечает таксист. Все сме-

ются. Шутка такая. «СЛАВА КПСС» остается позади. Тотальная серьёзность и единая вера давно кончились. Недосмотренная ирония как вездесущий губительный газ проникает во все пустоты и поры, кислотные медленные испарения разъедают бедные глиняные ноги обреченного колосса.

Школа далеко – на Второй линии, между Средним и Малым, ближе к Среднему. Тридцать вторая школа. Учительница – Ольга Дмитриевна, совсем старая дама в темном, длинном и бесформенном платье. Прическа гладкая, ни завитка, волосы седые, тусклые. Я бы давно забыла её имя и отчество, если бы на протяжении многих лет мама не повторяла: «Ольга Дмитриевна предсказывала...», – желая уколоть меня предвидением моих пороков опытным педагогом в те давние времена.

В третьем классе принимают в пионеры, я сижу у печки – читаю по бумажке: «Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь». Красиво звучит. Ничего не скажешь.

Ольга Дмитриевна учит нас писать стихи. Лицей – да и только. Оказалось, что многие девочки давно стихи пишут и имеют даже специальные для этого тетрадки.

Урок поэзии. Было задано сочинить – ну, или прочитать то, что раньше сочинили. Стихи должны были быть про Родину, про красный галстук, про Сталина и про всё такое. «Можно про природу», – сделала уступку Ольга Дмитриевна.

Стихи были приблизительно такие: «В тяжелые дни для Отчизны родной,/ В суровые годы войны,/ Как знамя поднялся Олег Кошевой,/ Как мститель любимой страны». Ольга Дмитриевна предложила даже похлопать этой девочке, но тихонько. Потом еще одна, закатывая глазки, пропищала на пионерскую тему: «Мой красный галстук светит, как звездочка в ночи/ Мне сердце согревают его волшебные лучи ».

Когда очередь дошла до меня, я решила для разнообразия прочитать вот такое: «Кто был в Испании чудесной,/ Кто видел этот край небесный,/ Тот никогда не позабудет дыханье южной ночи,/ Тот вечно в жизни помнить будет испанки страстной очи»

«Боже!» – вырвалось у Ольги Дмитриевны, и она поднесла пальцы к вискам. Сорок три девочки с интересом уставив-

лись на неё. Бедная учительница взяла себя в руки и почти спокойно спросила: «Ну, и про что твои стихи?»

«Про испанскую природу», – бойко ответила я.

«Ну вот что. Пусть мама зайдет ко мне в четверг, после уроков»

«С мамой ничего, к сожалению, не получится. Она работает».

«Хорошо, – сдерживаясь, говорит Ольга Дмитриевна, – пусть будет бабушка».

По-видимому, Ольга Дмитриевна заранее знает, на чьей стороне будет бабушка. Но моя бабушка непредсказуема.

Ольга Дмитриевна ведет бабушку в пустой класс и плотно закрывает дверь. Мне велено сидеть у раздевалки и ждать. Но я на цыпочках подбираюсь к закрытой двери и прикладываю к ней ухо. Подслушивать неприлично – мне это уже вдолбили, но ведь так интересно.

Бабушкиного голоса вначале почти не слышно, иногда прорываются её поддакивания, я думаю, она там непрерывно кивает головой – и вдруг начинает меня возмущенно ругать: «Ужасный ребенок, просто ужасный. Вы совершенно правы. Я ей слово, она мне десять. Если бы не вы, Ольга Дмитриевна... Вы знаете, вы ведь для неё единственный авторитет. Только и слышишь: Ольга Дмитриевна то, Ольга Дмитриевна это...» («ну-ну», – говорю я себе за дверью). Учительница первая моя смягчается и начинает меня защищать. «А всё-таки, откуда эти страстные очи, откуда эта Испания?», – уже вполне миролюбиво любопытствует она. Бабушка, как это водится, отвечает вопросом на вопрос: «А откуда у парня испанская грусть?» Ольга Дмитриевна не очень понимает мою бабушку. «Ну, это, возможно, на девочку так повлияла гражданская война в Испании, так преломилась в детском сознании», – поясняет бабушка.

На углу Первой линии и Среднего бабушка покупает мне эскимо на палочке – и себе тоже. Мы медленно идем по Съездовской, и бабушка даёт мне первые уроки безвредного, с её точки зрения, бытового конформизма. «Ну зачем же дразнить гусей. У тебя же были стихи, что-то там такое: «...только он один в Кремле не спит, / он над картой Родины стоит»... Очень

бы подошло». «Ну, всё, всё...», – я взмахиваю примирительно портфелем и слизываю с руки сладкий ручеек. И мы идём дальше, наслаждаясь мороженым, жизнью и обществом друг друга.

Бабушка придерживалась того мнения, что если существует двойная мораль, то пусть правильная будет дома. А что касается «не дразнить гусей», то она сама этим изошрённо занималась. Когда у бездетной Софьи Николаевны исчез муж, известно, куда, бабушка, вынося на блюдечке рыбки огрызки их любимому коту, причитала над ним на глазах у мрачно молчащей коммунальной кухни: «Ешь, сиротинушка, ешь...», – а мне было приказано выносить теперь Софьино мусорное ведро и ходить для неё, разбитой радикулитом, неизвестно с каких радостей, в булочную. А что делать. Бабушкины приказы не обсуждались.

Когда умер Сталин, я училась в шестом классе. За несколько дней до пятого марта бюллетени о его здоровье вывешивали на углу Среднего и Восьмой линии, на стене того дома, где на втором этаже была жуткая столовая, настоящая тошнилловка, потом в просторечьи – «Лондон», ударение на последнем слогe. Народ толпился, высказывал соображения. Немолодая тетка в мужской шапке трясла кулачком: «Я – врач. Если бы меня пустили, я бы его вылечила». – «Тебя там только не хватало. Знаем мы вас, врачей...»

Утром пятого плач стоял повсеместный. От коридора коммунальной квартиры до актового зала школы.

Первый урок, естественно, отменили. Взволнованная классная руководительница поминутно выбегала из класса, оставляя нас одних. Девочки сидели тихо, заливаясь слезами. Что будет дальше – никто не знал.

Меня же волновала не будущая жизнь, а второй урок. Система у меня была такая – я готовила всегда только первый урок, а второй урок делался на первом, третий на втором и так далее. Вторым уроком в этот день должна была быть география. Новая тема. «Животный мир Африки». И вот, на всякий случай, я учу географию, и крупные слезы капаят на карту Африки – Сталин, конечно, умер, но «пару» получать не хо-

чется. Но слезы капают – общий плач заразителен, как кашель на концерте старинной музыки.

Второго урока тоже не было. Можно было не учить африканских животных. Всех повели в актовЫй зал. Там быстро уже был сооружен траурный уголок – бюст вождя, черно-красные ленты, почетный караул из лучших пионерок. Завуч Юлия Борисовна взобралась на трибуну, говорить не смогла, задохнулась в рыданиях, махнула рукой. Кто-то другой, покрепче, сменил её, и все, что положено, нам было сказано. Девочки стояли с опущенными головами. Потоки слез. В прямом смысле. На паркете долго высыхали лужицы, оставляя соляные разводы. А сверху лилась тревожная музыка скорби.

Некоторые безумные мамы студенты устремились в Москву, на похороны Сталина – без билетов, на подножках, на товарняках. Вернулись, к счастью, живые. Только позже стало известно, как много погибших, раздавленных толпой было в Москве. В Дом Советов, конечно, они не попали. Помню, перебивая друг друга, рассказывали у нас за столом, уже со смехом, что самый из них пронырливый был замечен издали в составе коммунистической арабской делегации, шел к заветному входу со спокойным торжественным лицом вдоль узкого коридора оцепления, на голове его была накручена чалма.

Бабушка собирала для будущего журналы и газеты. Люда Силенко плакала, рассматривая черно-красый журнал. «Я его теперь никогда не увижу». Такая у неё была мечта – увидеть его и умереть от восторга на месте. (Совсем немного прошло с тех пор времени, мы купили на всю компанию замечательные куртки, двусторонние, одна сторона – черная с красными полосами на плечах, вывернешь на другую сторону – красная с черными полосами, называли мы эти куртки «смерть вождя»).

«Как жить дальше?» – по-видимому, этот вопрос действительно все задавали друг другу. Учителя, родители, соседи, вообще – взрослые. Хорошим тоном, должно быть, считалось бурно отчаиваться, хвататься за голову и всячески сокрушаться. Одна лишь домработница профессора Тихомирова, невозмутимо снимая пену с медленно кипящего бульона, ответст-

вовала: «Да хуже уж не будет», – и с некоторым даже презрением зыркнула на всех стонущих в коммунальной кухне и снова отвела глаза. В общем, она оказалась права (хотя...есть ведь еще и такое соображение – никогда не бывает так плохо, чтобы не могло стать еще хуже). А домработница Аня знала то, что эти университетские люди не знали. Одна из всей семьи спаслась Аня, убежала, мать сказала: «Беги, Нюточка», – она и убежала, послушная была, мать и отец и братья маленькие все сгинули. «Какие они кулаки! Неленивые просто, умели работать, дружно жили и деток любили, приданое мне собирали. У меня коса – во какая была». Никакой косы у Ани к тому времени, конечно, не было. Я с сомнением поглядывала на ее реденький серый пучок на затылке и вежливо кивала.

Не думаю, чтобы этот вопрос возникал в головах моих одноклассников – сила молодости в неумолимом поступательном стремлении все дальше и дальше в жизнь, несмотря ни на что, в биологическом всепобеждающем эгоизме.

Году, кажется, в семидесятом я вернулась с Соловков, где в монастыре и на острове Муксалма еще видны были лагерные следы – камеры, «глазки» в железных дверях, «колючка», нары, какой-то ужасный мусор, гнусный запах неволи и запустения – и рассказывала об этом на веранде, на даче у друзей. Незнакомая мне интеллигентная старушка, сидящая в уголке, вдруг встрепенулась и призналась, что провела на Соловках шесть лет. Я почувствовала неловкость и начала извиняться, что заставила её вспомнить это неприятное время. «Что вы, деточка, это были лучшие годы моей жизни. Я там встретила своего будущего мужа. У нас была любовь. Замечательное, замечательное было время». Вот так. Пойми этих людей.

А Татьяна Гнедич на семинаре Виктора Андронниковича Мануйлова поведала нам, что если бы не благословенные два года тюрьмы, она никогда бы не перевела «Дон Жуана» Байрона. А следовательно заслужил особую благодарность переводчицы. Восхищенный её памятью – сознание его с трудом вмещало, что она знает «Дон Жуана» наизусть, да еще и по-аглицки, – этот странный чекист приказал дать ей бумагу в камеру и следить, чтобы она действительно работала, а не от-

лынивала (точно так и жена какого-то известного писателя поступала – закрывала мужа на ключ, чтобы писал, и с ключом в кармане отправлялась на базар за покупками к обеду). Может быть, именно следователю нужно было бы этот перевод и посвятить, хотелось мне спросить Татьяну Гнедич, но я сдержалась.

Палачи и жертвы легко менялись местами, это уж нам потом объяснили, известно, «по какой дорожке ушел нарком», но даже и не меняясь местами, они оставались в странных, непостижимых стороннему уму отношениях. Моя подруга была еще школьницей. В дверь позвонили, девочка, наученная взрослыми и, не расслышав ответ на «кто там?», навесила цепочку, осторожно приоткрыла дверь и увидела на площадке крупного мужика с рюкзаком у ног. Мужик довольно искренне представился охранником из лагеря, откуда недавно вернулась мать. Девочка в ужасе захлопнула дверь, но мужик не уходил, зудел за дверью, просил позвонить матери на работу и сказать, что приехал такой-то. И девочка позвонила, и мать ахнула и приказала: «Впусти немедленно, если бы не он, меня бы не было».

К весне в Эрмитаже открылась выставка китайского искусства.

Фарфор «селадон», красные чешуйчатые драконы, резные деревянные шкатулки, дивные акварели с нежными цветами и бабочками и такие же изысканные иероглифы. Надо всем в вышине – два огромных портрета Сталина и Мао Цзедунa – это вышивка невообразимо мелким китайским крестиком. «Сталин и Мао слушают нас...»

Наш класс ведут на выставку, называется культпоход, на выходе каждой девочке торжественно вручают красивый каталог, в отдалении стоят посольские люди – сладко, по-китайски улыбаются. Дома я рассматриваю каталог и замечаю, что портрет Мао есть, а портрета Сталина нет, на его месте едва заметная узкая полоска бумаги, то есть он был, но... его вырезали. Я соображаю, что оригинал не выставить, а тем более уничтожить невозможно. А вот подправить каталог, который напечатан до смерти Сталина, да еще и по-русски, это в

нашей власти. «Некрасиво подозревать, когда совершенно уверен». До двадцатого съезда еще далеко. И я садистически пристаю к учителям и взрослым, показываю узенькую полоску на месте вырезанного портрета Сталина и прошу пояснить. Каждый отбивается как может. Убедительнее всего звучит ответ: «Много будешь знать, Агеева, скоро состаришься.» Но, видимо, и старостью меня не испугать. Сосед наш, профессор Тихомиров, посмотрел на меня с любопытством и серьезно сказал: «Знаешь, что? Давай подождем».

В школе появляются университетские студенты-филологи, у них педагогическая практика. Несколько уроков литературы ведет тощий, остроносый Эрлен Киян и так в нашей школе и остается – устраивает драмкружок. Мечта у него не литературу преподавать, а стать режиссером. И вот теперь почти каждый вечер мы мчимся в школу и проводим время не столько в репетициях «Старых друзей», сколько в доверительных разговорах. Это были первые такие «круглые столы», мы действительно кружились вокруг Эрлена (непонятно, что означало его имя, может быть, «эра Ленина», классом старше училась девочка по имени Марксена, т.е. «Маркс-Энгельс», красавица, между прочим), настораживая этим кружением подозрительных родителей. Он мог, например, сказать: «Ну что это такое? На призыв партии и правительства рабочие Кировского завода откликнулись... труженики села откликнулись... творческая интеллигенция откликнулась... Откликнувшееся какое-то гуляет по стране». Но и мы удивляли его, мы были уже свободнее, чем школьники, которых он помнил. Ревнивая учительница Елена Адольфовна, которая ставила с нами на английском языке пьесу собственного сочинения – «Том Сойер» называлась пьеса – поджимала губы и про наш кружок говорила так: «Mutual admiration society» – *общество взаимного восхищения*. Но это были не политические разногласия с Эрленом, а грусть обиженного женского сердца. Он тайно проводит нас на филфаковский диспут – обсуждают «Не хлебом единым» Дудинцева – какое кипение страстей, какая злость и порыв по поводу вещей еще таких отвлеченных и для нас странных.

Постепенно в школе появляются новые учителя, одного за другим представлял нам их тоже довольно новый директор, человек загадочный и хромой, очень хотел, чтобы они нам понравились. Все эти новенькие были, как правило, бывшие сидельцы. По-видимому слух был верный, что с нашим директором связывало их арестантское братство. Истории их откуда-то стали всем известны. Физик, говорили, загремел с четвертого курса физического факультета за рукописный журнал, учительница литературы за верность мужу. Математик...не помню уже за что..., но по тому, как он вел уроки, как был ироничен и остроумен, понятно было, что не для этих школярских стен он предназначен, и это только временное пристанище для него. Так оно и вышло. Очень скоро стал профессором и преподавал уже на матмехе. Но и для нас кое-что успел сделать, первые места на городских олимпиадах по математике долго еще были наши, а в голове моей мелькала время от времени даже безумная мысль поступить на матмех, что объяснялось, впрочем, не математическими способностями и не склонностью к математике, а обыкновенной ленью, то есть возможностью ходить на лекции, не надевая пальто, не выходя на улицу: дверь из квартиры напротив, где жила моя подруга Галя и дружественная семья Платуновых, вела прямо на третий этаж матмеха. Мы жили в доме 31 по Десятой линии, переехали туда, покинули «петровские своды», когда начали постепенно расселять университетские дворы. Матмех был – как раз соседний, дом номер 33. И школа у меня была тоже уже другая – тридцать третья школа на Двенадцатой линии, между Средним и Большим.

«Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском, удивительно вкусно, искристо и остро...», «В том лесу белесоватые стволы выступали неожиданно из мглы...», «Мне на плечи кидается век-волкодав...». В учебнике этих стихов не было, мы запоминали их моментально с голоса Александры Алексеевны, кое-кто приносил из дома старые книжечки с пожелтевшими ломкими страницами, на перемене показывали Александре, хвастались. «О! – восхищалась она, – я бы не разрешила такие книжки из дому выносить...». Александру

любили – мы не были для неё временным пристанищем, она пришла в школу ради нас и тех, кто придет после нас. Ну и что, что программа и «Мать» Горького – между прочим, тоже люди... справедливости хотели... Декабристы, «Русские женщины».

Вечер посвящен декабристам. Играем отрывок. Александра Алексеевна в первом ряду в страшном волнении непрерывно поправляет у горла свою бело-розовую камею.

Губернатор (Дима Барков, наш красавец, наше «национальное достояние», стал, кстати, актером, играл у Игоря Владимирова) не пускает княгиню Трубецкую к мужу, в Сибирь: *Подумайте, дитя: О ком тоска? К кому любовь?*

Княгиня (это я, на плечах роскошная, с кистями, чуть изъеденная молью шаль соседки Софьи Николавны) с гневным достоинством: *Молчите, генерал!*

Губернатор: *Когда б не доблестная кровь текла в вас – я б молчал. Но если рвётесь вы вперед, Не веря ничему, Быть может, гордость вас спасёт... Достались вы ему с богатством, с именем, с умом, с доверчивой душой (зал почему-то хихикает), А он, не думая о том, Что станется с женой, Увлёкся призраком пустым...И вот его судьба! И что ж?...бежите вы за ним, как жалкая раба!*

Княгиня: *Нет! Я не жалкая раба, Я женщина, жена!* (в зале снова звуки придушенного смеха и повизгивания) *Пускай горька моя судьба – Я буду ей верна!*

Александра Алексеевна сама была вроде этой княгини – не отказалась от мужа. Это мы понимали. Сорные семена абстрактных гуманистических ценностей прорастали под слабым солнцем оттепели..

Нежданно старый генерал, Закрыв рукой глаза, – это высунулся из складок занавеса автор. *«Как я вас мучил...Боже мой!»*, – это всхлипывает Барков. И снова автор комментирует: *Из-под руки на ус седой скатилась слеза.* Старый генерал, верный служака, но вот ведь человек, оказывается. Дима непрошеную слезу снимает с уса и показывает публике. В зале смеются, но потом хлопают нам яростно и от души. Александра и сама могла смеяться ни с того ни с сего. Проходим Блока,

не знаю уж, был ли он так подробно обозначен в программе. К доске выходит Домнин, читает, слегка набычившись:

Я послал тебе черную розу в *стакане*
Золотого, как небо, аи.

И от этого *стакана* наша Александра, зная, что такое холодный карцер, схватилась сначала за сердце, потом закрыла глаза и вдруг начала хохотать как ненормальная.

Мальчик Петя Домнин, безукоризненный отличник, зная уже, что аи – сорт шампанского, все-таки полагал, что это вино, а из чего пьют вино – ну, из стаканов, конечно, какие еще бокалы, такая устойчивая ассоциация, тем более, он был из детского дома.

Англичанка, кроме пьес, придумала еще и азартную игру «на деньги» (о ужас!). Раз в неделю мы должны были на переменах говорить только по английски, если не выдержишь и вырвется русское слово – плати штраф. Назначались специальные дежурные, изверги, не знающие пощады, которые очень рьяно эти копейки собирали. На собранные деньги весной отправлялись всем классом в поход, снисходительно прихватив кой-кого из учителей, помирившегося с англичанкой Эрлена, иногда и математика с неприлично молодым биологом, который свой первый урок в нашем классе начал коротким выкриком – «а ну, закрыть рты» – такой мощной громкости, что мы остолбенели и затихли надолго. В походе, естественно, пылали нормальные юношеские страсти. Однажды мальчик по имени Рудик, один из трех немецких мальчиков из детского дома, выскочил передо мной на скользкой тропинке – я несла к озеру стопку алюминиевых мисок, – прошипел: «Если я тебе не нужен, ты мне тоже не нужна», толкнул в грудь, выбил из рук моих миски, рассыпавшиеся с колокольным звоном, и скрылся в буреломной чаще. Стыдно признаться, но я прокричала ему в спину «фашист» и принялась собирать эти миски без всякой обиды, но с некоторым непониманием, поскольку с этим Рудиком – Рудольф было его имя – я вообще никогда и словом не перемолвилась.

А у костров велись такие разговоры, узнав о которых родители еще долго перезванивались и с ужасом пересказывали

друг другу идеи Эрлена о простой двухпартийной системе в нашем незыблемом государстве. Очень хорошо помню, идея была удивительно проста и понятна: ту партию, которая есть, разделить на две по четным и нечетным номерам партийных билетов, и чтобы они друг за другом наблюдали, и проверяли, и контролировали. Вообще говоря, разговор этот был из подслушанных – после отбоя, когда у костра остались биолог, Эрлен, неистовая англичанка и кто-то еще из взрослых.

Биолог вообще не был похож на учителя, слишком уж молод, переступив порог нашего класса и прорывчав «а ну, закрыть рты», уставился на вечный лозунг, висевший над доской в кабинете биологии, – в школе были кабинеты: кабинет физики, кабинет химии.... Нормальный лозунг, никто и не замечал его давно, якобы фраза Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача». Как бы сам с собой разговаривая, биолог задумчиво произнес: «...Странно, как это милость можно взять. Какая же это милость тогда...». (*Сожаление новых времен – «мы не можем ждать милостей от природы после того, что мы с ней сделали» – звучит, во всяком случае, более логично, чем этот памятный нашему поколению лозунг*).

Потом биолог велел открыть тетради на чистой странице и написать крупными буквами: *ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ*, что мы, ничего не понимая, и сделали. «Имейте в виду – в учебнике этой темы нет, но сдавать будете мне». В новый, таинственный мир вошли мы вслед за этим молодым человеком, и некоторые так и не вышли из него и поступили на биологический, на ту самую кафедру, где в самые темные годы продолжал висеть на стене портрет Николая Ивановича Вавилова.

Физик Анатолий, красавец с печальными глазами, напротив, тихим голосом убеждал, что прекраснее и главнее физики нет ничего на свете, однако обожал живопись, и часто вместо лабораторных часов, на которых по программе мы должны были с помощью стареньких проводочков, амперметра и вольтметра бесконечно проверять закон Ома, водил нас регулярно в Эрмитаж, решив, по-видимому, что закон Ома уже достаточно надежно проверен. Это было явным нарушением,

и все мы вместе, Анатолий больше всех, боялись попасться на глаза завучу Щуке в момент выскальзывания из школы, и никому в голову не приходило отказаться идти в Эрмитаж. А там как раз открылась первая скандальная выставка Пабло Пикасо, и случилась известная драка, которую мы, к сожалению, не застали.

Странные у нас были учителя, просто какие-то подвижники, парили в облаках и задыхались от свободы, чего только не придумывали. «Времена были хуже, а люди лучше, ей-богу...». Кто-нибудь, возможно, кинет в советскую школу справедливый камень. Я – не кину. В мою школу – не кину. Кто-то, может быть, в другой школе учился. Я их понимаю.

В результате, по окончании экзаменов на аттестат зрелости, нам полагалось слишком много золотых медалей. В РОНО ахнули и побежали в ГОРОНО. В общем, подсчитали – прослезились. «Вы что – хотите забрать всё золото?» И вышел такой устный, тихий приказ. Золотые – по обстоятельствам исключительным, а всех остальных переделать, так и быть, в серебряные, а лучше всего что-нибудь придумать и обойтись вообще без медалей.

В кабинете директора мне предложили выбрать предмет, по которому оценка шла в аттестат из прошлых лет, чтобы не давать золотую – результаты экзаменов переделать-то было уже затруднительно, все-таки какие-то протоколы имелись, наверное. Я согласилась на четверку по черчению и получила серебряную. Как-то даже по-человечески пытался действовать директор. Но в коридоре рыдали лишенцы и их родители. Медаль давала право поступить в институт без экзаменов, вне конкурса. А золотая медаль досталась мальчику из детского дома – Пете Домнину, что, в общем-то, справедливо, ему – нужнее.

«Не растраивайся», – сказал мне директор и, сильно хромая, даже вышел из-за стола, чего обычно не делал, – хромые, как известно, стараются поскорее сесть – погладил меня по плечу: «Эта история мне самому неприятна (я догадалась – его тоже унизили); но видишь, я сохраняю равновесие», – и кивнул головой в сторону двери. За дверью слышались до-

вольно громкие стоны и всхлипы обиженных. Завуч по прозвищу «Щука», несменяемый парторг, сидела у торца директорского стола, шевелила какими-то бумажками и позой своей и подрагиванием вечно мокрого щучьего носика выражала явное неодобрение. Непонятно, кому оно предназначалось – директору с его «китайскими церемониями» или мне, которую, будь её воля, она выпустила бы из школы не с медалью, пусть даже и серебряной, а с «волчьим билетом» (так она говорила) за дерзость и наплевательское отношение к этому самому страшному и непонятному билету, символу её жалкой власти.

«Уроки только начинаются, девочка», – сказал мне хромым директором. Всё, что он мог мне сказать на прощание под взглядом Щуки, мутные глазки которой в этот момент испустили быстрое злорадное свечение, а беззубый ротик растянулся в мстительной гримаске. И я ответила ей самой спокойной из своих улыбок – за спиной были уже кой-какие тренировки в столь необходимом, как оказалось, чувстве равновесия.

Феномен хронопаузы

Каждому ясно, что события, происходящие в нашем мире, явно необратимы. Другими словами все происходит так, а не наоборот.

Ричард Файнман.

Мессенджеровские чтения. Лекция № 5

Извивается речка Смоленка среди окраинного городского хлама, мимо задворок телевизионного завода и бумажной скучной фабрички, вдоль уродливых строений ничейной замусоренной земли, огибает лютеранское кладбище со свежерыкрашенным жёлтым входом, инвалидную бензоколонку с незамысловатым бензиновым бизнесом, покачивает на мутной глади своих гниловатых вод неопрятные пряди зеленых водорослей, радужные нефтяные разводы, пивные банки, бутылки, палки, самодельные суденышки самых невероятных конструкций.

Далее течет река Смоленка к огромному Смоленскому кладбищу, заросшему случайной неухоженной зеленью, возносится оттуда чистый звон Смоленской церкви, призывая прохожих зайти под намоленные своды, оставить за порогом житейские раздражения, идут одинокие люди к часовенке Ксении Блаженной несут записочки с молитвенными просьбами.

Поизвивавшись под дряхлыми согбенными ивами, оставив позади грустные кладбищенские пространства, речушка неожиданно выпрямляется, лишается своей убогой живописности и перед впадением в бледную Маркизову лужу превращается в неинтересный сдавленный новым светлым гранитом канал, тупо прорезающий искусственные намытые земли.

Отделяет Смоленка от тщательно исчисленного Васильевского острова остров совершенно хаотического устройства

с повелительным названием Голодай, и мало кто из обитающего здесь простого люда пожелает разделить книжные заумствования, что идет это название якобы от английского Holiday – праздник, каникулы, отдых. Посудите сами. Взгляните. Вот ползет вдоль краснокирпичного фасада к пивному ларьку ночной сторож кожевенного завода, и, по правде сказать, денег у него на пиво нет, и еда за ночь кончилась, и домой не хочется, хотя и хочется спать и есть, но гонит его в путь бессмысленная надежда, что пивка поднесут и угостят иссохшей закрученной воблиной.

Нет уж, Голодай и есть Голодай.

Странное это и, в общем, печальное место, вот именно что глушь и закоулок блистательного города, равнодушно отделившего от себя плоскую болотистую окраину, – ни дворцов, ни шпилей, ни арок, ни колонн, ни тем более квадриг. Это там, вдали плещутся парковые кущи вокруг надменных статуй, вечный обезумевший конь несется под властным седоком, сосредоточенные сфинксы чинно рассматривают друг друга, струятся пилоны, распахиваются площади, вздымаются мосты – торжествует Гармония. Здесь же все как-то бедно, непрезентабельно, второпях. И трудно поверить, что совсем рядом, на Васильевском, там и сям сияют следы вдохновенных перстов Трезини и Кваренги.

«Позвольте», – говорит Наташа и поворачивается спиной к северо-восточному неумеренному ветру. Дикие, душу выдувающие ветры безумствуют над островом во всякую пору дня и года, особенно ночью, особенно осенью, сбивают с ног слабых пешеходов, воят в трубах переулков, в купинах оголенных ив, заливают горло реки темной высокой водой.

«Но позвольте», – говорит Наташа, и длинные волосы ее несутся по ветру, залепляют глаза и рот, она сдувает их, отводит руками и языком перепутанные пряди. «Но позвольте, это не совсем так», – она вырывает свою руку у спутника, нового знакомого, обводит этой рукой площадь. Они стоят на полукруглой площади, за спиной у них пропилеи Лидваля.

«Ведь это же дома Лидваля, – говорит Наташа, – если хотите знать, это новый Петербург». Призрачное облачко дыха-

ния относит ветер от чудного личика, призрачное облачко жизни отлетает в темноту, серые глаза ее огромны и черны. «Это место должно было стать Новым Петербургом, чтоб вы знали, русский Манхеттен. Вот, вот здесь должен был быть его центр», – указывает Наташа крошечным пальчиком.

Мрак и вихрь. Вихрь и мрак владеют островом в осеннюю пору. Так где же этот светлый город под боком у роскошной столицы, где забытая мечта Рикардо Гуалино, где эти воздушные аркады, прозрачные галереи, огни в садах, где шесть улиц-лучей от Большой площади? До слез жаль стараний маэстро Ф., что лежат в архитектурных архивах, присыпанные книжной пылью, на желтоватых огромных листьях с закругленными лохматенькими углами.

А не гиблое ли это место, а земля ли это, впрямь, а не островные ли хляби поглотили Новый Петербург, или мрак и вихрь укрыли, умчали, унесли за стекленеющий горизонт дивный город невиданной красоты со всеми его обитателями?

Ничем не стала эта местность, кроме как тоскливым знаком роковой неблагоприятности судьбы ко всем ее владельцам. И ведь именно в этом скудном краю зарыты кости пятых повешенных, благородных мучеников непонятной идеи, а над лютеранским кладбищем в мелкой осенней мороси растворено одиночество княгини Ухтомской и графа Ламздорфа, профессора Сакеллари и девицы Катарины Рютинг.

Черный мраморный склеп адмирала Грейга мрачно возвышается среди родственных могил потомков предводителя знаменитой эскадры, увлекшего обманом из солнечного ласкового Ливорно к жестоким российским берегам несчастную княжну Тарakanову.

Нет, неудобна могила адмирала Грейга, холодны черные мраморные плиты. Никогда они не выпивали на могиле адмирала. Другое дело – могила Ивана Сергеевича Будкина. Покосившийся древний столик и две потемневшие, но крепкие еще скамеечки очень располагали к дружеским посиделкам под ожившей трепетной листвой, к импровизированным доверительным пирушкам с вином типа «Агдам» или другими такими же дешевыми и безобразными напитками,

вынесенными из близкого от этих мест магазинчика завода «Марксист».

Однако, зазывая всю компанию к себе, в тот самый дом на проспекте Кима 4, который известен был в округе под именем Китайской Стены, Наташа непременно влекла всех по центральной аллее, мимо членов Государственного Совета, статс-секретарей, действительных тайных советников, генерал-адъютантов – все равно покинуты, забыты, отнесены прочь холодными водами времени – именно к адмиралу Грейгу, якобы обласканому могущественной императрицей за выполненный долг противу совести и сострадания, чтобы погрозить неизвестно кому нетрезвым пальчиком и добиться у всех, случившихся рядом, осуждения мужского предательства и коварства и, надо сказать, не добивалась.

Да и что уж, действительно, этим голодайским клошарам до мучений и гибели сомнительной княжны. Давно это было.

Так вот, Сергей и Наташа жили в этом длинном доме по прозвищу Китайская Стена, который тянется вдоль новой части Смоленки и концом своим, наполненным, по слухам, квартирами повышенной комфортабельности для разной прошлой обкомовской челяди, как раз оказывается в удобной близости от метро «Приморская».

У них был, что называется, открытый дом, утрата которого бывшей сайгонской публикой, состарившейся и рассеявшейся со временем в пространстве, как на просторах Родины чудесной, так и в зарубежной дали, до сих пор вспоминается с ностальгическими вздыханиями.

Они были заметной в городе парой. Сергей – очень высокий микроцефал с детским лицом неизменно прекрасного цвета, остроумный, иногда даже несколько утомительно, невероятно уверенный, как уверены бывают только тайно слабые, вечно сомневающиеся в своих достоинствах люди, постоянно обуреваемый разнообразными увлечениями – то он учит латынь, то японский язык, то ударяется в буддизм, то тачает бумеранги; меж тем сделано несколько диссертаций, которые так и не оформлены за утратой к ним интереса самого творца и пропадают втуне, не давая семье кандидатской надбавки.

Что можно сказать о Наташе? «Ах, какая очаровательная маленькая женщина», – с изумлением сказал ей вслед очень старый и очень старомодный научный руководитель Сергея.

Что скрывать – они были бедны, и одежда их, по-видимому, была неказиста, но когда они шли по Невскому к своему клубу, к знаменитому месту всех тусовок (отметим – тогда не было этого слова), к Сайгону, когда летели по ветру её волосы и концы черного шелкового платка, и к Сергею было поднято её бледное смеющееся лицо – да, ей сильно приходилось закидывать голову, чтобы вот так на бегу не сводить с него глаз, ведь ростом она была едва ли ему до локтя – когда вот так, сцепив руки, они неслись по Невскому, невозможно было встречным не остановиться и потом еще раз не оглянуться, чтобы уже со спины рассмотреть эту промчавшуюся светящуюся пару.

Да, в пору их любви глаз невозможно было от них оторвать. Это был невыдуманный сюжет, это был спектакль высшей естественности, это был непрекращающийся балет взглядов, улыбок, ужимок, касаний в сиянии немыслимой радости и влечения. Они были всеми обожаемы. Они имели дом. Казалось, они открыли формулу счастья.

Когда же этот дом начал разваливаться? Но не будем отвлекаться – не это цель нашего исследования. Да и можно ли исследовать все эти психологические переливы, все эти совместности-несовместности, охлаждения-воспламенения, ревности-измены, пресловутые комплексы, порожденные крошечными происшествиями детства, разные романтические глупости, приводящие порой к чувствительным мучениям. Пожалуй что и нельзя. Ну, что это за исследование, результат которого нельзя приспособить к жизни, что это за диагноз, который не помогает излечить больного. И придется подозревать, что «венский шаман» был изрядным иллюзионистом.

Нет, наша задача другая, тем более, что в их дом, в котором происходили интересные для нас явления, мы вошли как бы на излете его существования, когда это скорее был уже её дом, а не их общий дом, хотя Сергей пребывал в нем почти постоянно.

Свидетели утверждают, что самые главные события случились, когда забрела к ней чета, чуждая несколько этой компании, из приличных, так сказать, людей, владельцы соседней большой благопристойной квартиры, в которую, вернувшись после позднего спектакля, не смогли попасть, поскольку в ригельный замок чья-то хулиганская, злонамеренная рука затолкала, как выяснилось впоследствии, проволочки и раскрученные скрепки.

И раньше к ней в дом попадали высоколбонаучные с ползновениями в сторону Филармонии, модной литературы и элитарного театра, дружно ненавидимые её рыцарями и её девочками скукоженные снобы, хотя она и сама была снобка порядочная. И бывало, что, весь вечер друг перед другом снобруя, они разгорячали друг друга до остервенелых криков и даже драк, а порой и до стремительной, скоропалительной, скоропостельной любви.

Похоже, что-то с этим гладким, благонравным мужем своей ухоженной жены у Наташи было. Он безотказно возил её на своей машине и раньше на этой кухне сиживал, принося непростые напитки и замечательную, никогда невиданную здесь закуску, беззастенчиво и моментально поедаемую безусловно враждебными к нему постоянными гостями. Но сам по себе этот факт не очень важен, то есть факт предполагаемой близости, как, впрочем, и качество и стоимость приносимых им напитков и красной, допустим, рыбы. А вот что стоит отметить, так это вынужденность ночного прихода к ней этих гладких нарядных людей и некоторый распloch, отразившийся на её прелестном личике и заставивший замататься всех в поисках неразваливающегося стула и какой-нибудь относительно чистой тарелки и, желательно, нетреснувшей чашки, нет не для него, конечно, а для его все-таки очень красивой жены, которая надолго застыла в микроскопической прихожей в своем светлом английском пальто, стараясь не прикасаться к стенам в каких-то странных маслянистых пятнах, поскольку мгновенно заприметила острым взглядом хорошо устроенной в жизни женщины, что повесить эту элегантную вещь, то есть пальто, здесь некуда.

Оставим пока эту наблюдательную женщину стоять в своем замечательном пальто там, где она стоит, тем более, что в этот поздний час никуда она не денется, и попробуем, чтобы разобраться в происшествиях, случившихся в этой неприбранной квартирке в упомянутую ночь, а, может быть, и под утро, чтобы придумать этим явлениям хоть какое-то приблизительно научное объяснение, потому что ведь нельзя же, невозможно ведь совершенно отказаться от понимания взволновавших всех невероятностей, попробуем несколько вернуться назад.

Хотя что это? Куда это назад? Позволительно ли в обратную сторону вращать шестеренки этой жестокой машины? О нет, в этом есть какая-то опасная неосмотрительность, как, между прочим, и в том, чтобы заставлять их крутиться вперед с излишней скоростью, непредусмотренной естественной земной гравитацией. И что характерно – и тем и этим, как вы впоследствии увидите, злоупотребляла наша маленькая беспечная женщина, неосторожная остроумица, искусительница одиноких и искушательница собственной судьбы.

И, может быть, вот в этой беспорядочной смене направлений вращения – как додумался своими смутными теоретическими мозгами завсегдаей её продавленного диванчика, лучший друг её мужа, физик по образованию, а по прозвищу Геродот – и кроется разгадка случившегося.

Но если не злоупотреблять, не переступать дозволенных пределов, не подходить близко к краю этого зловещего темного водоворота, к центру которого стремительно несутся все наши блаженства, муки и стенания, немедленно превращаясь в былое, в ничто, в пепел и тлен, а может быть, и не в ничто, а в музыку и вздох, а может быть, в пыльцу небесных космических семян, носимых разумным небесным ветром – ах, как хочется утешить безутешную душу, – если не нарушать предписанных мироустройством правил, а вспомнить лишь для того, чтобы понять суть происшедших явлений или хотя бы описать, по возможности с наибольшей полнотой, уже необратимо тускнеющую картину скандальных нелепостей, то следует сразу признать, что за ней и раньше кое-что замечалось. Вот

именно что замечались какие-то странные способности. В чем они проявлялись? Во многом они проявлялись. Так сразу даже трудно сказать.

Вот и глаза у неё были необыкновенные. Пробегая мимо, быстро и невнимательно глянув на неё, можно было бы сказать – серые глаза, широко расставленные, всегда чуть-чуть излишне распахнутые. Но это не серые глаза были, это были глаза цвета извивающегося, пульсирующего дыма, цвета дымчатого опала. И вы ведь знаете этот камень – опал, там всегда есть светящаяся точка. Но и черная – зрачок, который внезапно расширялся, моментально заливая страшной темнотой её устремленный на вас взгляд. Проникновенно и настойчиво вглядывалась она в вас, в ваши глаза и лицо и, вообще, во все вокруг.

Да, так в чем же проявлялись эти её способности ?

Она, например, очень хорошо искала. Она всё могла найти, любые потери – ключи, кошельки, деньги, кассеты, квитанции, разные мелкие, но необходимые вещицы, всякую ерунду, утрата которой бешено раздражает и лишает спокойствия.

Такую рассказывают историю. Они попали в дом к одной даме, довольно богатенькой, в Комарово. И дама за ужином говорит: «Представляете, я потеряла кольцо с бриллиантом на собственном участке. Вон под той сосной. Два года назад. Всё перерыли. Ни-че-го. Я видела, как оно падало, катилось. И всё. Провалилось сквозь землю». И вот Наташа выходит. Правда, никто не обратил внимания, как она исчезла с веранды. Болтают, пьют чай, кричат друг на друга, смеются. А вот как она вернулась, увидели все. Идет к хозяйке. Протягивает к ней открытую ладонь – кольцо.

И еще. Гадала она замечательно. Но никто из старых друзей уже не хотел у неё гадать – страшно было. А кроме того, давным давно она всем всё нагадала, и всё предсказанное сбывалось так неотступно, и детали были столь буквально и подробно предвидены, что слёзы подруг лились не переставая, и несчастные эти кулёмы в горестных происшествиях своих, как это водится, обвиняли загадочную и весёлую гадалку.

Да, она была весёлая, но не разбитная, легкая, но не легкомысленная. Нет. Впрочем, конечно, она была беспутная, беспечная, но не бездумная. Как раз она и занималась в жизни преимущественно тем, что думала. Неторопливо созерцала внутренним взглядом невидимые пространства, вот именно что свивая и развивая своё красивое тельце на старом облезлом диванчике, на своей маленькой закопченной, чудовищно запущенной кухне, среди остатков засохшей еды, грязной посуды и огромного количества пустых бутылок, почитывая очередной толстый роман. Представляете в наше время она любила читать романы, причем это необязательно была русская классика, которую она непрерывно поминала и перемешивала с обыденной речью. Это мог быть Диккенс, Ивлин Во или даже Филдинг.

Вот так – почитывая, покуривая, постанывая от литературного наслаждения – проводила она в размышлениях дивные часы своего дневного одиночества, без дочери, кое-как отправленной в школу, без мужа, вытолканного на работу, без еженощных друзей, ещё не пришедших в себя в далеких пристанищах своих в разных концах города после вчерашней совместной ловли кайфа.

Надо сказать, что компания эта была типично люмпен-интеллигентская, все они, в общем, откровенно бедствовали, но – свободно, роскошно, вызывающе. Ели что попало, пили всякую дрянь, затягивались травкой, клубились вокруг Сайгона, кое-кто даже и учился бесконечно долгие годы, работали в котельных, археологических экспедициях, писали стихи, рисовали, ювелирничали, вяло диссидентствовали, предавались индийской философии и буддизму, но каждый вечер, в час, как будто бы назначенный, рыдали у неё на кухне, складывая к её грязноватым ножкам всю свою сердце разрывающую любовь, смертную тоску и тщетные порывы. Впрочем, не всегда такие уж тщетные. И тогда уж – полёт, тогда уж восторги и паренье над её дымными сияющими глазами, над её волшебными песенками, над её плавающими в воздухе беленькими ручками, над жалким рваным бельишком, над нищей, убогой квартиркой, пропахшей кошками и ещё кое-чем и похуже, над

грязью, рванью и дрянью, чем заволакивает энтропия окружающую действительность, данную нам в ощущениях, как известно, преимущественно неприятных.

«У, ведьма...» – шипел Сергей, выворачивая ей руку, ничего уже не ожидая от неё – ни доброго, ни нежного, ни верного, одного лишь желая в безмерном безумии своем – пусть болью, простой физической болью искривить божественную линию ненаглядного рта. Вы думаете – она плакала, вырывалась, кричала. Вовсе нет. Ни звука. Вот, пожалуйста, ещё одна её особенность – она быстро теряла сознание. Если действительность была ей невыгодна или уж очень неприятна, она моментально выпадала из неё, ненадолго умирала и лежала с таким же безмятежным, невозмутимым личиком, хотя и очень бледным, с каким только что пела, остроумничала и глумилась над зависимыми от неё мальчиками и не только мальчиками, вот капитан первого ранга, подобранный ею на пляже в Солнечном, не мальчик был, но это другая история, это гала-история, это уж как-нибудь после.

Так что она была главная в этом замурзанном, закопченном салоне с выбитым стеклом в кухне, в которой газовая плита никогда не мылась, как, впрочем, и полы в этой однокомнатной Аркадии без занавесок на окнах, но зато с антикварной рухлядью по углам и японскими миниатюрами на стенах, с вечнотекущим унитазом, с вечнозелеными лицами утренних голубоватых мальчиков – да, и такие водились у неё, и они, кстати, чрезвычайно к ней липли – с воющей по ночам собакой и двумя гадящими где попало кошками.

Сергей – муж нашей суетной шутницы и грязнули – в периоды семейного согласия тоже участвовал в этих довольно истеричных ночных посиделках, приобняв какую-нибудь верную подружку своей жены, какую-нибудь пупырчатую, жадущую ласки всеми своими пупырышками, прокуренную кулёму, а иногда, что выглядело даже несколько порочно, и свою шёлковую жену, шёлковую не в смысле послушания, а в смысле вот именно гладкости и нежности кожи.

Была здесь и дочь лет, по-видимому, восьми-девяти, очень бледненькая, разумеется, тоненькая, по утрам переступающая

через спящих на полу, не всегда ей знакомых людей, – находила на кухне что-нибудь склизкое, холодное, надкусанное – завтракала, уходила в школу, а скорее всего, и не в школу.

Но центром была она, приходили к ней, на её легкую, журчащую болтовню, на её гаданья и столоверченья, и волхованья, летели на этот огонь, этот жар, на эти пылающие опалы.

Да, и вот еще что – хоть мы и зареклись касаться капитана первого ранга, но маленький случай, связанный с ним и Наташей, невозможно не вспомнить. Дело в том, что он был ещё и скульптор. Да, представьте себе, настоящий капитан первого ранга, каперанг (ах, какое слово!), красивый, хотя и со свернутым на сторону носом, немолодой, но с длинной и стройной спиной, молчаливый, совершенно из другого мира. Непонятно, правда, как это всё сочеталось – морской простор и резец скульптора, хотя на нашей памяти он занимался мелкой пластикой, во всяком случае мастерская у него, а может быть, у его друга была на набережной Смоленки. Приходил очень редко, ни с кем не разговаривал, ни с кем не пил, ничего не ел в этом доме, надевал огромный грязно-зеленый фартук, доставал из полиэтиленового мешка хорошо вымешанный шпат глины и начинал лепить Наташу.

Сергей бывало подсаживался к нему со стаканом вина, с любопытством наблюдал за ловкой беготнёй длинных пальцев, доверительно интересовался, а что, если бы Наташа покрылась прыщами, как бы это было хорошо. Повидимому следовало полагать, что она при этом стала бы более духовной, возвышенной и добродетельной. Каперанг-скульптор сдержанно отвечал, что для его, мол, искусства, прыщи или не прыщи – не очень существенно. Геродот, как-то посетивший мастерскую на набережной Смоленки, уверял, что вся она заставлена изображениями Наташи.

И вот такая фигурка, такая глазированная Наташа, игрушечная Наташа в виде лежащей девушки – одна ножка чуть согнута в колене, другая вытянута – упала, и ножка, которая вытянута, сломалась в щиколотке. И в этот день, катаясь на лыжах, Наташа сломала ногу в этом месте, то есть именно в щиколотке.

Морской Скульптор, между прочим, хоть и молчал, но каким-то явным образом выказывал неприязнь и пренебрежение к играм с блюдечком и картами с последующими глубоко-мыслиями по поводу изречений бестактных духов, ко всякой гороскопической чепухе и многозначным предсказаниям, принимая, однако, целительные возможности Наташиных рук, неоднократно избавлявших его от тяжких приступов головной боли.

Особую интенсивность её экстрасенские забавы приобрели как раз перед уходом Сергея, когда рыжая Марина уже возникла, уже кружила над их непрочным, давно покосившимся, растрепанным гнездом, уже шли от неё безумные, хотя в своём роде просто прекрасные письма, в чем легко было убедиться каждому приходящему, поскольку писем было так много, что они переполняли квартиру, они уже не помещались в квартире и часто просто валялись на площадке перед дверью, так что особо деликатные гости подбирали их и снова приносили на кухню, и бывало, кто-нибудь, особенно в рассветную пору, начинал их читать вслух не с целью что-то там перлюстрировать, а как образец чудом сохранившейся эпистолярной культуры и полнейшего любовного сумасшествия.

К этому времени беременность Наташи была уже столь велика, что некоторые предусмотрительные гости задавались мыслью, а где же будет стоять детская кроватка и не сделать ли какой-нибудь частичный мини-косметический ремонт, а дочь Танечка, обнимая мать за талию и приныкая ухом к её тугому животику, говорила: «Можно я послушаю, как он развивается?»

И вдруг разнеслись слухи, что Сергей ушел. Один из слухов утверждал, что Сергей ушел после неудавшегося японского ужина, который он готовил вместе с двумя блаженными японистами из университета, с детским воодушевлением приговаривая: «ритуалы – это очень важно, ритуалы имеют глубокий смысл» (а Наташа не любила ритуала, ей скучны были ритуалы, хотя она и приняла участие в создании изящной икебаны из каких-то бамбуковых тростиночек и кривоватых ветвей), и который, ужин то есть, просто-таки растоп-

тали шумно явившиеся разнузданные алкоголики – Васенька и Леха-физик-невъездной, растоптали в самом прямом примитивном смысле, прошли по циновке в грязных ботинках, раздавили керамическую тарелочку, сломали бамбуковые тростиночки, съели в один миг, даже не распробовав, изысканнейшее рыбное блюдо, поставили в центр японского низенького стола грубую бутылку русской водки, запели дурными голосами что-то в высшей степени неуместное. Конечно, Наташа не могла быть виновата в неожиданном приходе друзей дома, но обиден показался Сергею её бестактный смех.

Другой слух, напротив, свидетельствовал, что в этот вечер был вовсе не японский ужин, а как раз первое испытание изобретённого Сергеем прибора для исследования спектрального состава излучаемой каждым человеком ауры, и присутствовавший при этом и налаживавший аппаратуру Леха-физик-невъездной был абсолютно трезв и деловит.

Настроив оптическое устройство на Танечку, тихо рисующую в углу, Сергей покручивал колёсико фокусировки, ахал и восклицал, что Танечкина аура это чистый ровный розовый свет.

– А у меня какая аура? – спросила заглянувшая в комнату Наташа.

– У тебя-то? Да с какой-то гнойной зеленцой.

– А вот мне никакой прибор не нужен, – похвасталась Наташа, – я и так всё вижу и могу сказать, что у тебя, дорогой, никакой ауры практически нет.

– Действительно, – заклокотал придурковатым утробным смехом Леха, направив зрительную трубу на Сергея, – чрезвычайно хилое излучение, дружок, надо как-то собраться, милый.

По одной версии – он просто ушел в чём был, даже не сдернув с гвоздя в прихожей столь необходимую в скитаниях одинокого мужчины тёплую куртку, не сказав ни слова, и уехал с Мариной в Прибалтику, по другой – он очень сдержанно объявил: «я ухожу», и по тому, как некоторое время еще после этих слов он сосредоточенно перебирал свои бумаги, увязывал книги и обстоятельно рассматривал на свет носки, мыл

в ванной резиновые сапоги и заталкивал в рюкзак пуховик, можно было догадаться, что уходит он не в булочную.

А еще по одной версии – как раз таки был оглушительный скандал и обычное в таких случаях битье посуды и бросание об пол и друг в друга кой-каких предметов и оскорблений, и после какого-то «ну и иди к чёрту» он выскочил из дома и действительно ушел вдаль без вещей.

Но ни в одной из версий не содержалось каких-либо замечаний Сергея по поводу общеизвестного уже состояния его жены, никаких его соображений касательно средств предполагаемого дальнейшего существования её, никаких, хотя бы устно сформулированных, обещаний относительно оставляемой Танечки и ожидаемого нового ребёночка.

Компания как бы затихла, затаилась, как бы ожидала чего-то, и естественным образом смолкли звуки чудных песен в бедной квартирке, иссякли запасы еды, перевелась выпивка, отключили телефон, перегорел телевизор, и впечатлительное сердце зашедшего как-то вечерком верного Геродота сжалось от явившейся ему картины печали, запустения и беспомощности, озвученной немолчным шумом унитазного водопада.

Синие звёзды газовых горелок трепетали в пересекающихся потоках разнообразных сквознячков, наполняя пространство убогой кухни непрочным ядовитым теплом.

На известном диванчике среди вороха тряпья, укрытая старыми одеялами лежала на спине Танечка с неестественно запрокинутым бледным личиком, устремив на вошедшего спокойный страдающий взгляд.

Похожим взглядом, только еще более усталым и безразличным, взглядом, обращенным внутрь, слушающим себя, прячущим темное пламя внутри, скользнула по нему хозяйка и снова склонилась над плитой, помешивая какое-то едкое вариво. «У Танечки был приступ», – сказала она, не глядя больше на Геродота.

И тогда наш странный Геродот сделал вот что – схватил топор, стоящий рядом с газовой плитой, неизвестно откуда взявшийся в городском жилище, открыл хлипкую дверь в комнату, откуда вырвались вихри промозглого холода, подсту-

пил к широченному супружескому ложу, которое Сергей смастерил когда-то из замечательных толстых досок, и изрубил его с бесжалостным остервенением.

На другой день появилась искусствоведческая тетка – резкая, уверенная курящая женщина, набросала несколько тезисов предстоящих испытаний, которые надлежало поскорее пройти, из последних сил сжав зубы и сердце.

И первым таким испытанием были искусственные роды. Какое счастье, что мы живём внутри возвышенной русской литературы, какая удача, что не нужно описывать унижительные осмотры, оскорбления и хамство сестёр и врачей и их же жалость и сострадание, все эти пыточные средневековые манипуляции. Не будем раскрашивать эти картинки, подальше спрячем эти картинки, пока сами собой не проступили на них красные и синие зловещие пятна.

Через неделю она вернулась в свой пустой, поверхностно прибранный подругами дом, прилегла на прежний привычный диванчик, поискала, пошарила рукой по низенькой полочке над диванчиком, попереставляла любимые романы, вытащила синий томик и прочитала: «Приветливые ласки хозяина дороже всяких удобств» – и задрожала, засодрогалась в безудержном смехе и всё повторяла на разные лады: «приветливые ласки, ах, приветливые ласки», склоняла голову, словно любуясь одной ей слышными звуками.

К вечеру потекли струйки гостей, запорхали виноватые и нежные улыбки, закурлыкали витиеватыми комплиментами записные лицемеры-поклонники, забурчал на плите фасолевый суп, запахло апельсинами и новыми томлениями, и померещилось, что жизнь вот-вот опять качнётся вправо, так ужасающе качнувшись влево.

Ещё через неделю вернулся Сергей. Рябь недоумений пробежала и улеглась. Возмущенные вскрикивания искусствоведческой родственницы долго еще колыхались в воздухе и в передразниваниях Сергея, но со временем забылись совершенно.

Сергей пребывал в семье почти неотлучно. У Танечки случились ещё два приступа крайне загадочной этиологии, зато

она начала рисовать воспаленной гуашью космические пейзажи, всклокоченных монстров и зубастых ухмыляющихся рыб, чьи зубы были вынесены из разинутых пастей и плавали как бы отдельно, наподобии вставных челюстей, среди фантастических подводных растений.

Исполнить следующий теткин тезис о немедленном устройстве на работу в реставрационные мастерские Русского музея Наташа категорически отказалась. Место, между прочим, выбитое теткой ценой хитрейших махинаций на грани взяточательства, и, кстати, очень даже престижное место, несмотря на удручающую малость, как говорили в компании, оклада жалованья. Да и действительно, невозможно было представить, чтобы Наташа приходила куда-либо в назначенный утренний час.

И вот уж в который раз тётка махнула рукой на эту безумную семью, избравшую уделом своим сознательную нищету, убогость быта и принципиальную идеологическую бесперспективность. И здесь можно постоять и поспорить, сами ли они вышли из социума вместе с дружной компанией легкомысленных кайфоловов, или этот пресловутый социум выдал их из себя за непригодность к жизни, руководимой начальными практическими, здоровыми и, в этом смысле, вечными, хотя и окрашенными в меняющиеся цвета современности.

«Ну что ж, – возможно сказал Сергей, – живём дальше». А она, возможно, и промолчала. Она вообще стала с ним не очень разговорчива – всё уж давно было переговорено. Она лишь к вечеру заметно оживлялась, разбалтывалась, распускалась, как ночная роза, расчёсывала свои шёлковые волосы, усилием воли разглаживала морщинки на лбу и вокруг глаз, всё тем же усилием убирала боль из головы и поясницы, включала в глазах пока ещё приглушенный свет – готовилась вновь царить, прельщать, остроумничать, всеми этими лицедейскими, прозрачными приготовлениями раздражая Сергея невероятно.

«В чём секрет этой маленькой женщины?» – вскрикивал, бывало, Васенька и вскакивал стремительно, чтобы протянуть ей сигарету, огонек зажигалки или просто чмокнуть в плечико.

И все потом сходились во мнении, что всегда был какой-то секрет. Нет, не в красоте было дело, приходили к выводу, совсем не в красоте, хотя красота, конечно, присутствовала.

Впечатление бывало такое, что она уже умерла и теперь ей ничего не жаль – ни тела своего, ни души, ни дочери, ни мужей, ни нерожденных своих детей, а уж тем более ни старинных крупных кораллов погибшей на лесоповале бабушки, надетых на шею первой же подружке-проходимке, лукавой мерзавке, ни серебрянных семейных стаканчиков, раздариваемых встречным-поперечным грустным пьяницам, ни последней еды, нерасчётливо выставяемой на стол перед бездельными гостями.

Но эта мысль только промелькивала и исчезала, потому что радостная, живая и приветливая она открывала вам дверь, издавала ликующий вопль, зажигала газ под огромной кастрюлей с любимой фасолевою похлебкой – у неё всегда стоял на плите какой-нибудь суп для кормления жданных и неожиданных, – а иногда дверь уж давно была распахнута, и она лишь манила вас белой ручкой своей с продавленного диванчика, не смея столкнуть лежащую на коленях у неё многодневно хмельную голову ушедшего из семьи Васеньки или дико встрёпанную платоника Геродота, или сам Леха-физик-невыездной стоял перед ней на коленях, охватив её кругленькие бедра цепкими руками известного экспериментатора.

А теперь пора, пожалуй, вспомнить про эту чистенькую красотку, стоящую у них в прихожей в своём роскошном английском пальто и с брезгливой растерянностью оглядывающую изодранные кошками обои в поисках какой-нибудь вешалки, гвоздя или выступа, пока Наташа, присев на корточки, судорожно ищет в груди скомканного светлого тряпья, вывалившегося прямо на пол из распахнутого стенного шкафа, что-нибудь хотя бы отдаленно, хотя бы по размерам напоминающее постельное бельё для устройства на ночлег столь неожиданно появившихся высоких гостей.

И вот эта непривычная для компании женщина по имени Вероника снимает, наконец, своё роскошное пальто, перекидывает его через руку, садится на специально принесённый

для неё очень приличный стул и весь вечер сидит, как королева в изгнании, неестественно выпрямив гордую спину и практически молча, изредка надевая на своё прекрасное постороннее лицо вежливую улыбку.

А муж её Виталий, напротив, очень легко включился в обычную горячую беседу, благодушно увертываясь от грубой определённости прямых вопросов, показав поразительную неуловимость и просто-таки ум в избегании всех этих дурацких российских перепалок и споров, самые невинные из которых, случается, приводят к огорчительным разрывам и крушениям стариннейших дружб.

Приближение часа закрытия метро заставило некоторых гостей спешно засобиравшись восвояси, а другие как раз намеренно остались, не в силах превозмочь интереса к беседе и общей своей расслабленности, а может быть и по другим причинам.

Высоким гостям было постелено на кое-как составленных остатках супружеского ложа, разрубленного ранее, как вы помните, впечатлительным Геродотом в припадке необъяснимого неистовства. Однако, гордая посторонняя женщина спать отказалась и осталась сидеть на кухне, якобы читая принесённую с собой газетку.

Тут же в кухне на диванчике давно уже спал беспокойным сном Васенька, свернувшись в компактную эмбрионную загогулину, вздрагивая и перебирая ногами, как прилежная гончая, вспоминая во сне азарт и восторг погони. Хозяин спал на стульях, накрывшись с головой знаменитой универсальной курткой, Наташа прикорнула рядом с дочерью, Геродот и кто-то ещё, такой же неприхотливый, устроились на полу на расстеленных спальнях мешках.

Первым проснулся деловой гость Виталий, человек хоть и сравнительно молодой, но, в общем, очень ответственный, привыкший вставать рано и не опаздывать в свой научный, но строгий институт, глянул на часы, увидел на них двадцать минут седьмого, обрадовался, что можно еще слегка подремать, отметив, однако, что в комнате слишком светло для столь раннего ноябрьского утра.

Но не спалось ему. В тяжелой голове крутились тревожные мысли, предстоящие дополнительные хлопоты по взламыванию двери в собственную квартиру окончательно лишили сна.

Отсутствие жены рядом совсем не удивило его. Стараясь никого не разбудить, он привстал с разваливающегося бывшего супружеского ложа. В сером рассветном полумраке комната имела вид жалкой перенаселенной ночлежки, набитой спящими в разнообразных позах людьми. И что характерно – с удивлением отметил Виталий – никто почему-то не храпел. Все спали тихо, как ангелы. И если мужчины спали, как тихие, но некрасивые и скрюченные ангелы, то спящая Наташа и обнимаемая ею спящая дочь являли глазу зрелище истинно ангельской красоты и нежности, и застывший в любовании ими Виталий, казалось, поймал за хвост отлетающую комету прозрения и разгадки и тот час же потерял, и вспомнилось, что, вот именно, прелести какой-то там секрет разгадке жизни равносильны.

Однако, необъяснимая тревога царпалась где-то внутри Виталия, под левой ключицей, но выше сердца. Обойдя спящих на полу, он выглянул в кухню. Жены Вероники в кухне не было. Но это, по правде говоря, не очень его обеспокоило. Он прислушался к спазмам тревоги в себе. Нет, не исчезновение Вероники было причиной её.

Переступив через свисающие с дивана ноги затихшего под утро Васеньки, он подошел рассеянно к окну – из окна открывался печальной живописности вид на затянутое осенним дождичком Смоленское кладбище, Смоленскую церковь и часовню Ксении Блаженной.

Но что же это происходит? Какая странность. Реденькая цепочка людей торопливо тянулась к дверям какого-то учреждения, раскинувшего свои невысокие корпуса как раз на берегу невзрачной речки Смоленки.

Виталий понял всё моментально. Глянул на часы – на них попрежнему было двадцать минут седьмого. Часы стояли. Он катастрофически проспал. Тревога залила всю грудь. Зачем-то схватил расслабленную руку Васеньки – Васенькины часы

показывали четверть пятого. Будильник на Наташином столике был беззвучен и демонстрировал половину шестого. Виталий кинулся к телефону, но телефон молчал, в чем как раз не было ничего странного – его давно отключили за неплату.

Вместо того чтобы истерично метаться по чужой квартире в поисках какого-либо действующего устройства, измеряющего время, Виталию следовало немедленно одеться и нестись в свой институт, опоздание в который именно в этот день было не то что нежелательно, а попросту губительно для его столь тщательно выстраиваемой карьеры.

Однако он был в шоке. Он растолкал и переполошил всех. С трясущейся от волнения челюстью он подступал к встрепанному, непроснувшемуся Геродоту с требованием объяснить немедленно физический смысл всей этой нелепицы.

– Да что произошло-то? – вяло интересовался Геродот, думая, что этот научный службист мечется в поисках утраченной жены, но осознав, что нет, отнюдь, что да, вот именно, в поисках Утраченного Времени, коротко указал ополоумевшему Виталию направление движения в пространстве, шумно повернулся на другой бок и попытался уснуть. Не тут-то было. Услышав, как Виталий мучает Наташу, выясняя какие еще часы есть в доме, Геродот сел в своем тряпье, сжал руками наполненную болью голову, посмотрел на Виталия ласково и тихо сказал:

– Слушай, ты иди, ладно? Ну все часы стоят. Это бывает. Приходи вечером, я объясню. Магнитная буря. Это бывает.

– Да почему у всех разное время-то? – взвыл уже в сильном отчаянье Виталий, разбудив и перепугав Танечку.

– Слушай, ну иди, пожалуйста, я тебя прошу, – снова взмолился Геродот, исподтишка бросив взгляд на свои электронные часы – никаких цифр на них не было, табло было совершенно темное.

Впоследствии почти все владельцы в расночасье остановившихся часов остановку именно своего хронометра объясняли причинами в высшей степени разумными и реалистическими, но в целом картина оставалась, согласитесь, дикой.

Подозрение не то чтобы пало на Наташу, подозрения, вобщем, никакого не было, была полная уверенность, что это всё её дела.

«У, ведьма...» – тонко взвыл Сергей над своими бездыханными командирскими часами, а четыре часа спустя добавил ещё несколько резких, но уже практически радостных слов, когда в затхлой подвальной мастерской лучшего в городе ювелира-часовщика достал своё сокровище и с безумным удивлением увидел, что часы идут, показывая при этом совершенно точное, так называемое московское время.

– Ну что, теоретик хренов, – закричал Геродоту ворвавшийся в свою квартирку Сергей, как всегда стукнувшись головой о притолоку, – как ты это объяснишь?

Но, как известно, объяснить любой экспериментальный факт, а в особенности единичный, не представляет для науки такого уж труда, тем более, если явления природы и работа механизмов протекают в психологическом поле неуравновешенных человеческих существ.

– Ну, не знаю, – развел руками Геродот, – может ты в беспаметстве стрелки перевёл. Вот послушай-ка, кстати, – и он раскрыл тоненькую потрепанную книжицу: «В теории относительности утверждается, что если вы считаете, что два события произошли одновременно, то это всего лишь ваша личная точка зрения, а кто-то другой с тем же основанием может утверждать, что одно из этих явлений произошло раньше другого, так что понятие одновременности оказывается чисто субъективным...»

С непонятной резкостью вскочил Сергей, вырвал у Геродота книжицу и точным баскетбольным броском зашвырнул её в пыльную тарелку затрепыхавшейся люстры.

Вопреки утренней тревоге у Виталия в институте всё обошлось. В тот же день удачной интригой он двинул вперед юркий челнок своей карьеры и врезал новый, исключительной надежности замок в дверь своей квартиры.

Высокомерная женщина Вероника не захотела объяснить своё ночное исчезновение, лишь подавая красивый ужин мужу и сыну (вот его мы не будем описывать, и так всё ясно –

английская школа, математические способности), подняла брови, вся передёрнулась: «Не понимаю, как люди могут жить среди собственных отходов». Рассказ же мужа о массовых хронометрических волнениях сопровождала кратким замечанием: «Чушь какая! Этого не может быть. Зачем я буду думать над тем, чего не может быть». Однако на часы свои посмотрела. С её индивидуальным временем всё было в порядке. Часы шли правильно.

Геродот свои электронные часы просто выбросил. Леха понес часы в знаменитую мастерскую на Невском, где сухонький лысый часовщик долго ковырялся во внутренностях тихого механизма, потом поднял на голый лоб сильную биноккулярную лупу, сказал: «странно...», но квитанцию выписал на очень приличную сумму. Васенька подарил часы семилетнему сыну; конечно, очень хотелось бы мальчику, чтобы они тикали, но и так было интересно отжимать головку и переводить стрелки, и дразнить этим мать, которую этот подарок, несвоевременный и нелепый, как всё, что делал её неуёмно щедрый муж, привел в страшное негодование и вызвал новую ссору в семье, что не помешало Васеньке в тот же вечер вдохновенно читать в Сайгоне только что приготовленные свеженькие сонеты, к сожалению, им же немедленно потерянные и забытые восхищённой публикой, но вот последние терцины остались: «...И Время встало и сказала: хватит, на чепуху себя не буду тратить, мне безразличен человеческий род, но дорога Природа, мать родная, и чтоб спасти её, я объявляю во взглядах на себя переворот».

Вечеру же, словно услышав пренебрежительные слова Вероники или в безнадежной попытке смыть разрастающиеся безобразные пятна распада, зловещие его цвета и потеки побежалости, Наташа внезапно вымыла полы, у порога положила большую аккуратную тряпку, присела к столу накручивать замысловатые глиняные бусы. Меж тем, тихие слёзы давно уже текли по её лицу.

О чём плачут женщины? Господи, Боже мой! Да о совершеннейших пустяках – сами знаете. О том, что любовь уходит, куда – неизвестно, но нет её больше, лишь сухая память

припоминает, что была; о том, что кожа теряет свежую гладкость, и на руках появляются еле заметные коричневенькие пятна, а на тоненьких розовых ноготках – некрасивые выпуклости и бороздки, и самые любимые изменяются и изменяют, пренебрежительное презрение пустых людей царапает душу, легкомысленное предательство венчает беззаветную дружбу, темными глазницами смотрит из угла одиночество, а на правой ноге растёт ужасная косточка, и привычное средство взаимных платежей – обман и жестокость.

Кошки спали, обнявшись, на старом пледе. Странно молчаливая собачка подошла, трепеща хвостиком, нежно прислонилась к её колену.

Дочь рисовала. Сергей отсутствовал, гостей не ждали.

Время, покачавшись на затухающих волнах – скажем так – магнитного возмущения, пошло себе дальше, в ту единственную сторону, куда всегда направлена пронзительная стрела этого мистического вектора.

Без промаха бьёт эта стрела. Никто не избежал удара.

Наташа и Сергей вскоре окончательно расстались. Танечка в пятнадцать лет бросила школу, ушла из дома с летаргически спящим мутантом и делит с ним этот его сон, плохую еду и случайное пристанище.

Наташа остригла шелковые сияющие волосы, поседела, работает в реставрационных мастерских, живёт в прежней квартирке то одна, то не одна, но мы уже там не бываем. Красота её изменила свой облик, но непостижимым образом сохранилась.

Изменил ли свой облик остров Голодай, нам судить невозможно – мы всё ещё находимся внутри пейзажа, всё ещё гуляем порой, сцепив руки, по кривым кладбищенским тропинкам мысленно, конечно, потому что нет давно даже могилы Ивана Сергеевича Будкина – закатана бугристым небрежным асфальтом пожарной площадки, всё ещё гуляем, всё ещё летаем над этими помойками, всё ещё думаем, что мы молоды, всё ещё встречаемся у могилы адмирала Грейга – она есть, она как морская твердыня, черная твердыня Времени – спешим, оглядываемся, что у вас в сумке, «Технология власти» или «Док-

тор Живаго»? Да что вы, смеётесь? «Доктор Живаго» прочитан еще в детстве, давным-давно, в ранней юности. Как это? Вы же говорили, что бедный «Доктор» сломал жизнь гениальному Геродоту, да, можно и так сказать, его тогда за это и исключили. О да! В сущности все мы вечно молоды, как и те старики, что слезящимися глазами грустно моргают из проезжающего трамвая, вспоминая райские места обитания знаменитых голодайских пивных ларьков, как и те страшные, изъеденные молью, со следами недоедания и идиотизма на серых лицах, зловеще колышущие у Казанского старинные красные знамёна и портреты усатых и красивых, бесконечно обожаемых отцов-людоедов. Какие ещё архивы открыть перед ними, какие разрыть могилы, какие черепа с аккуратными дырочками в затылочной кости показать. Не трудитесь! Всё напрасно – они вечно молоды! Вечно разинуты их беззубые рты в едином ликующем вопле на фоне доми и турбин, на фоне золотого колосающегося Утра Родины.

Так и нам всё-то кажется, что ничего не изменилось, так, какие-то чешуйки времени, шелуха его, отлетающая кожура, незначительности – то засветится нелепо свежими огнями витрина частного магазина среди облупленных и смрадных подворотен и тот час же со звоном погаснет, разбитая камнями раздраженного и мстительного пролетария, а, может быть, и работающего, исполнительного рэкетира, то вдруг замигают, закрутятся в Китайской Стене на месте грязного овощного магазина безумные колёса таинственного казино, то загремят страшные оглушительные выстрелы у метро «Приморская», и поволокут милиционеры по асфальту человека в наручниках. Поневоле застынешь и скажешь себе – не бывало ведь этого раньше, уж как хотите, а не бывало, чтобы стреляли среди бела дня.

Мало ли что бывало, а чего не бывало. Бывало, на остров Вольный переплывали на лодочке. Где теперь остров Вольный? Спит, укрытый душным глинистым одеялом, среди искусственных просторов намытых земель. Нет такого острова. А был там яхт-клуб, по весне мы там красили нарядные яхты – готовились к счастливому лету.

Так что давайте прижмём руку к груди, уймём сердцебие-ние, забудем ужасные выстрелы – не в нас это стреляли, не в нас, – пройдем памятной Железноводской улицей от станции метро к двум симметричным домам Фредерика Лидваля, в одном из которых ждёт нас друг и уже смолот настоящий кофе и смотрит в окно. Да, вот видите, и наш остров коснулось архитектурное вдохновение, и скромные знаки петербургского модерна на стенах этих домов между окон верхних этажей можно явственно различить, если остановиться и посмотреть повнимательней.

По правую руку останется Китайская Стена с Наташиной квартиркой. Туда ни ногой. Распалась связь. Хотя, с кем общается Наташа, интересно было бы знать. Говорят, её часто можно видеть на Пушкинской, 10 и торопливо проходящей по Невскому, мимо бывшего Сайгона, где скучают теперь зеркала, диваны и сантехника неопикуемой заграничной привлекательности, а вообще, нашу подругу стали забывать, как забыли Сайгон и остров Вольный.

Однако завистливые злоязычницы до сих пор шепчут, что появление Наташи в любом доме обязательно приводит к остановке каких-нибудь часов и механизмов, к неожиданному замолканию телефонов, перегоранию утюгов, миксеров и кофемолок, а то и телевизоров. Отмечались даже якобы отдельные взрывы банок с огурцами, внезапные сдыхания холодильников и немотивированные уходы мужей.

И последнее. Следует признаться, как ни занимали нас эти давние события, как ни старались мы приспособить к ним хитроумные теории, как ни заигрывались в конструировании причудливых гипотез, понимание достигнуто не было, построения наши разваливались на наших же глазах, и всё изложенное имеет ценность разве что феноменологическую в расчете на тех, кто пожелает разобраться в мешанине причин и следствий, зёрен и плевел, магнитных линий, невидимых излучений, сердечных страданий, да, вот именно, в тайном расчете на тех, в ком пульсирует напряженно этот непреодолимый и губительный человеческий инстинкт – стремление понять.

СНЫ АЛИНЫ

На углу Садовой и Сенной, у входа в магазин «Диета» подошел к ней жуткий мужик и хриплым от похмельной болезни голосом спросил:

– Хозяйка, убить-зарезать никого не надо? Чё смотришь? Ёбнуть, спрашиваю, никого не надо? На полном серьёзе. Дешево выйдет.

Алина вздрогнула, обошла мужика стороной, дивясь чудесам спроса и предложения.

– А то я всегда тут, – крикнул вслед мужик и плавно покачал над головой растопыренной пятернёй.

Раз в неделю тайком от мужа и подруг Алина покупала продукты на Сенной, малодушно подчиняясь неаристократическому здравому смыслу и неистребимой привычке бывшей бедноты экономить, выкручиваться, выгадывать на пустяках. Давно уже могла она не пользоваться своим замечательным умением, мало того, ей как бы запрещалось ходить по дешевым дальним магазинам, непрезентабельным лавкам, диким рынкам и ларькам, – но не пропадать же исключительному хозяйственному таланту.

Машину обычно Алина оставляла в неприметном переулочке за мусорными смрадными баками, но зато под зарешеченными окнами банка на виду у двух скучавших охранников. Цепляла на руль замок, проверяла окна, опускала кнопочки, на правую руку нанизывала все пустые сумки, выкидывала еще очень стройную ногу, вслед за ней вытягивала из машины своё крепкое крупное тело – охранники делали одобрительные гримасы, Алина была красивая женщина, – отправлялась гулять по грязному, шумному, опасному торжищу. В ларьках покупала зеленый горошек, рис, паштет (облагораживался нехитрыми приемами, подавался на стол как фирменная «намазка»), кофе (пересыпался в дорогую банку «Maxwel House», никто и не замечал), сыр колбасный (перемалывался, добавлялся чеснок, кинза, подавался с гренками – вторая фирмен-

ная намазка). Алина всегда удивлялась – вот, говорят, голодают, кто голодает, бездельники тупые, немного выдумки, старания и не лениться, не лениться.

Вечером предстояло принять на даче гостей, муж позвонил утром, в одиннадцать: «Никаких шашлыков, просто еда. Деловая встреча. Свежих овощей, хороших, побольше. Будут два штатника. А еще? С нами восемь человек. Ничего грандиозного затевать не надо. Часам к семи-восьми».

Времени оставалось не так уж много. На покупки часа два, себя привести в порядок – час, до дачи около часа. На готовку-сервировку часа три, очень мало времени. Но уже включилась отлаженная энергичная программа, понеслись одна за другой короткие команды – гараж, обменный пункт, в «Аякс» за мясом – иноземные гости, может быть, и вегетарианцы, но нашим-то без мяса никак нельзя, – на Невский за проверенной водкой, коньяком, соками, пивом, на Кузнечный за сияющими отборными овощами, травками, фруктами и все-таки на Сенную – мало ли что подвернется.

Подвернулся вот этот мужик. Долго стоял потом перед глазами. Подумалось, вот ведь как просто. И еще – надо будет рассказать вечером, повеселить гостей. Но... не рассказала.

Приехали на двух машинах. Муж вышел из своего ненаглядного «Форда» без улыбки, посмотрел сквозь, взгляд угрюмый, сосредоточенный на внутренней печали. Она очень хорошо знала этот взгляд. Приучена была не задавать вопросов.

Отметила, что Ольга сидела на переднем сиденье. Задние дверцы, как крылья, синхронно распахнули американцы – гладкие, высокие, беспечные – они как раз широко улыбались.

Из второй машины вывалился нахмуренный Павлюкевич, за ним незнакомый, озирающийся молодой человек, почти мальчик – москвич, менеджер американцев. Анохин все-таки приветственно скривил рот, чмокнул в щечку.

– Что случилось? – шепнула ему Алина.

– Да-а-а, – махнул рукой, – неприятности у нас. Вчера вечером убили Веселовского.

Игорь Веселовский – директор подмосковного стекольного завода, статный, наглый, веселый блондин, самоуверенный ариец, но он ей нравился за то, что смотрел искренне восхищенным взглядом, целовал умело ручки, вообще отмечал, замечал, видел её красоту. Муж, например, уже не видел, или видел, но через других, всегда изумленно вскидывался при словах Веселовского: «Алина, вы с таким божественным лицом по улицам ходите?» – «Нет, я в машине», – простодушно отвечала она, осторожно расставляя кофе и печенье среди вороха их бумаг.

– Как убили?

– Да, вот так. Как убивают теперь. Пальнули из нового «Вольво», когда входил в подъезд. И всё.

Жаль стало Веселовского, но слезы из глаз не брызнули. И печаль приехавших тоже была, по-видимому, не только о гибели человека, но, скорее, по поводу беспокойств в их общих делах. Веселовский гнал реактивы из Москвы – дешево и безотказно. И прибыль от кварцевого стекла делилась между всеми честно, контракты с американцами вытягивались страшным напряжением, но выполнялись неизменно.

– Ну, ничего, – сказал Анохин, – Андрей что-нибудь придумает.

Шефа он любил, восхищался его способностями

– А для вас..., – запинаясь, спросила Алина, – для вас это не опасно

– Да, нет, – но не слышна была в голосе Анохина убедительная уверенность, – мы же государственное предприятие. У Веселовского много было разных дел.

Как-то за скобками оставалось то обстоятельство, что и завод Веселовского числился совершенно государственным.

– Алина, сейчас что-нибудь перекусить. И пиво. Серьёзно есть будем после. Мы еще поработаем.

Устроились на большой веранде. Ольга раскрыла и подключила Notebook, все окружили её, рука Андрея легла на Ольгино плечо.

Алина принесла ветчину, сыр, большое блюдо с крупно нарезанными помидорами, огурцами, открыла соки и пиво.

На легкую еду набросились яростно, в несколько минут всё подмели до последнего ломтика. Так же жадно выпили быстро всё пиво. Алина принесла еще.

Американцы уже без улыбок, серьезно, с некоторым даже неудовольствием о чем-то спорили, не соглашались, тыкали пальцами в текст на экране, обсуждали придирчиво каждый пункт контракта. То что это новый контракт, Алина понимала, но более не понимала ни слова, а муж шутил на английском, время от времени раздавался дружный хохот. Это было обидно.

Ольга тоже болтала свободно, текст набирала быстро и без ошибок – больше года была на стажировке в Беркли.

Впервые Алина могла её рассмотреть так подробно. Выглядит даже моложе своих двадцати семи, никакой косметики, короткая стрижка, цвет волос невнятный, кожа смуглая, но тонкая, губы бледные, хорошо очерчены, в улыбке открываются ровные зубы, удивительны только глаза – очень светлая серо-зеленая радужная оболочка окружена темным, четким кругом. Смотрит умно, внимательно, очень уверенно, но без вызова. Из русских «яппи» – Анохин так говорил, – закончила университет и сразу в аспирантуру, когда уже никто и не шел, а она как раз и пошла, защитилась у Андрея быстро и рьяно, выиграла какой-то конкурс, поехала на стажировку в Штаты, привезла оттуда контракт, все поцокали языками, взяли к себе. И сына успела родить на заре студенчества, растет в отдалении, на руках у бабушки; муж-однокурсник растворился в пошлой торговле лесом, разошлись мирно, дружелюбно.

А вот Алина так и не родила. Испугалась. Андрей предупредил: – «Дети меня не удерживают. Родишь – разведемся».

И действительно, из двух предыдущих своих семей он уходил сразу же после рождения ребенка. Однако, детей любил, много им помогал, но жить с женщиной, родившей ему дитя, почему-то не мог, был в нем какой-то тайный изъян.

Десять лет назад надо было родить. Вот когда. Получилось бы как раз через полгода после их быстрого, будничного, сквозь зубы (Андрея) бракосочетания. Нет, она никуда не

жаловалась, не писала письма в слабеющий институтский партком, но образ поруганной невинности, вскрывающей себе вены прямо на своем секретарском месте в приемной директора, вызвал столь сильный спазм общественного мнения, что комиссия в парткоме образовалась сама собой, практически стихийно, а возбуждающие волны скандала разбежались так широко, что из Москвы в министерском телефонном разговоре у директора мимоходом было спрошено: «А что это за суициды у тебя?» И под стук директорского кулака и под его рычанье – «...это единственный выход, через некоторое время улягутся вопли и разведешься, начальником отдела останешься и меня спасешь от этих недоумков...» – Андрей склонил голову и женился. Но поставил условие.

И вот теперь в случае развода он откупится от неё какой-нибудь ерундой, вроде однокомнатной квартирki. Ничего больше не заработала, голубушка, за эти десять лет. Был бы ребенок, не так-то просто стряхнул её с себя.

Так, значит, всё отдать – этот дом, эту лестницу, эти диваны и кресла, эти корзины, картины, картонки и эту теплицу, и эти гладиолусы, и все эти цветные стеклянные треугольнички на веранде, вставленные собственными ручками. И квартира в городе, и «Форд», и её маленькая любимая «Тойота» – всё так хитро оформлено, никакие суды не помогут. Десять лет она продержалась потому, что стала незаменима, невозмутима, загадочна и спокойна и тем совершенно непобедима. Почти разгадала его тайный изъян – он не знал любви к женщине, совсем не понимал, что это такое. А тогда зачем все ревности, скандалы, выяснения, выслеживания. Увлечения его, свершив обычный ритуальный круг, заканчивались одним и тем же. То есть ничем.

«А сейчас, что уж так сейчас тебя беспокоит, Алина?» – спросила она себя. «Просто чует сердце». – «Не выдумывай, пройдет. И это пройдет». – «Но ведь не проходит. Сил нет...»

У Андрея повышенная раздражаемость последнее время. И только на неё, на Алину. Когда же он смотрит на Ольгу, лицо его приобретает выражение неопишное, то есть в буквальном смысле Алина не в состоянии описать это бурное косме-

тическое явление – кожа лица его меняет цвет, светлеет, разглаживается, исчезают мешки под глазами и складки вокруг губ, сияющий взгляд наполняется влагой умиления (несколько портит эффект небольшое отвисание нижней челюсти). И ухо Алины постоянно обострено – подслушивает странные фразы. По какому поводу, например, с веранды донесся циничный хохот Павлюкевича: «Путь к телу женщины лежит через душу ребенка», не оттого ли, что Андрей привез сыну Ольги детский компьютер?

Потихоньку и накрепко подобралась Ольга к Андрею. Всегда рядом. Ничего с этим поделать невозможно. В марте Алина узнала, что в строгую мужскую компанию преуспевших друзей, с которыми Андрей уезжал в горы, в Швейцарские Альпы, странным образом затесалась Ольга, – проговорился Павлюкевич и выдал одинакового оттенка медовый загар на их лицах. Алина сделала сцену. Андрей даже не пытался отпираться. «К тебе это не имеет никакого отношения. У тебя своя роль. Не выпадай из своей роли».

И ведь знает, мерзавка, что Алина знает, но ведет себя непринужденно, смеется... Смеется совсем по-детски, откидываясь назад, машет руками, захлёбывается, вытирает слезы. Американцам она явно нравится.

«Над чем можно так смеяться, слушая иноязычную речь?» – обиженно изумляется Алина. Однако, при вспышках их хохота, если случится быть рядом, она тоже выуживает из себя сдвоенную светскую улыбку. Нет ей входа в их мир, а её мир им неинтересен.

Снова перекинула глаза на Ольгу – нет, красоты никакой в ней нет, просто молодая, гладкая, длинная кобылка. «О, как это много», – закатился бы в дурашливом восторге Анохин, если бы случилось с ним пооткровенничать. А это можно. Так уже бывало. Тем более, что отчетливо Алина понимала – Ольга гина спортивно-американская молодость на Анохина не действовала, поскольку он предан был именно ей. К такому уж типу мужчин относился Анохин, на которых лицо Алины действовало убийственно и навсегда, что-то такое им мерещилось неземное, сладостные кущи юных мечтаний, мелькаю-

щие в них шелковые локоны Мальвины, нежный овал Золушки, ангельские глазки Дюймовочки и другая трогательная чушь. В легком подпитии Анохин грустно гладил её по голове, вернее, гладил воздух вокруг её головы: «Ты заблудилась среди нас, как Красная Шапочка в темном лесу».

Но нынче Анохин отводил от неё взгляд, все норовил глянуть куда-то мимо, в бок, не помогал, как обычно, убирать со стола и мыть посуду, словно боялся посмотреть ей в глаза, только благодарно пожал локоток, когда она поменяла ему тарелку.

Ольга уже интенсивно развлекала американцев альбомом новгородских икон.

Андрей вышел в сад с московским мальчиком, мрачно учительствовал перед ним, тот ритмично кивал вдумчивой головой.

Они стояли на фоне чудных гладиолусов, которыми Алина так гордилась. Никто даже и не взглянул на цветы.

Когда подоспело мясо, все оживленно расселись за круглым столом, Ольга кинулась: «Давайте поассистирую...», замельтешила локтями и коленками.

Американцы с наслаждением умяли сочные лучшие куски, похвально покивали Алине, откинулись с бокалами, снова засветились благодушием. К тому, кто постарше, наклонился Андрей, увел за собой в кабинет – дела продолжались.

Отсутствие мужа ощутилось почему-то как облегчение, как будто действительно отключили источник напряжения. Алина закурила – наплевать на молодого американца, пусть потерпит, присела рядом с Анохиным. «Устала? – взял её руку, погладил, – ты ангел, мы тебя обожаем». Подумала: «Дурак какой. Почему сказал «мы». И тут же поняла, что это именно «я». Если бы сказал «я», была бы дежурная ирония, шутка, никакого значения. Не смеет сказать «я». Потеплело на душе. Всем поулыбалась – и молодому американцу и всем. За спиной возник голос Андрея: «Ну вот, стоит на минуту отлучиться, и жена уже в совершенном разгуле. И курит! Ты же не куришь.»

Анохин моментально развернулся к нему: «Ну, что?» – «Я был блестящ», – ответил Андрей, подошел к столу, налил себе водки, выпил один, стоя, без всяких тостов.

Павлюкевич тоже встал во весь свой сутулый рост. «Свисток – вбрасывание!», отвел локоть, выдохнул громко, закинул в себя полстакана, не меньше.

Судя по тихому восхищению на лицах Анохина и Павлюкевича, что-то успешное сделал с американцем наедине Андрей.

Ольга лишь обозначила улыбку, сделала спокойные, понимающие глаза.

Потом все пошли гулять. Перед сном американцам был показан буйно пылающий закат в холодеющей дали залива, грозно освещаемые последними лучами купола недавно восстановленной церкви, невзрачные остатки дома знаменитого полководца – короткие облупленные колонны, провалившаяся оранжерея, распавшаяся беседка.

Поселок спал тихим, беззвучным сном – ни лая собак, ни музыки из окон, ни женского смеха из шуршащей ночной зелени. Внезапная тоска пала на сердце, словно ватный, волокнистый туман в болотистую долину.

Алина схватила за руку Анохина. «Пойдем, ты мне поможешь». Он высоко поднял плечи, прижал согласно подбородок к груди. Они пошли вперед быстрым шагом, намного обогнали медлительную компанию.

Собственно, к ночлегу всё давно уже было готово, но что-то толкало Алину, и она неслась по бугристой сосновой тропе, поминутно хватаясь за Анохина, к дому, скорее домой, под защиту его деревянного тепла и уюта, прочь от призрачного обманного света истлевающей белой ночи, от пронизывающей прохлады белесых небес, от равнодушной непонятности чужой речи.

Американцам отвели две верхние комнаты, куда они и удалились через некоторое время послушно, как дети. Москвич давно уже залег на широкой тахте веранды и сказал, что откуда-то сюда не тронется. Ольга, перекинув через плечо большую сумку, заявила, что хотела бы спать в летней кухне, потому что утром, проснувшись, должна увидеть из окна линию горизонта и залив, поутру ей необходимо, оказывается, видеть «пространство воды». Стало ясно, что расположение дачи

ей знакомо вполне. Анохина с Павлюкевичем ждали их обычные места в угловой комнате над лестницей, но они еще долго сидели у Андрея в кабинете.

Алина, наконец, ушла в спальню, не зажигая света, упала ничком на шершавый плед, застучала вокруг себя кулачками, зарычала тихонько, заскрипела отчаянно зубами, но не заплакала, чем себе неожиданно понравилась и за что себя тут же и похвалила. Как будто одна Алина сказала другой: «Молодец! Молодец и умница. Чтоб никаких слёз и впредь. Только спокойствие. Побеждает спокойствие. В первый раз что ли?» Год назад с Ирочкой справиться было легче, слишком уж раскрылась, юность залила глаза, самоуверенность до полной потери меры, да и Анохин помог добросовестно, подловил и продемонстрировал всем шедевры безграмотности, небрежности и плебейства.

Снова увидела замедленный жест Андрея, рука его мягко сжимает плечо Ольги. Вдруг разглядела выражение его лица – нежность, гордость и беззащитное упрямство, – не имеющее отношения к мельканию на экране слов и цветных прямоугольников, за которыми следят его внимательные глаза. Ладонь его охватывает голое, гладкое плечо, сжимает, легонько оглаживает – занята своим делом. Какие-то посторонние люди, какие-то незнакомцы, мужчины и женщины секретарского офисного вида заходят, окружают Андрея, заслоняют его и Ольгу, шелестят бумагами, перешептываются, оглядываясь на Алину. «Избавь меня от этих забот, – зло говорит Андрей, – я уже не могу слышать про этот баллон».

Алина чувствует слезную обиду не от слов, от его интонации, но нужно открыть ворота, но нет ключа, не может найти ключ, за воротами надывается грузовик газовщиков, она беспомощно мечется по дому, бежит к воротам, а ворота открыты. Медленно въезжает грузовик. Широкоплечий мужик, пятясь, вращает перед собой баллон, разворачивается, застывает, придерживая баллон одной рукой, смотрит ей прямо в глаза, отвратительно хрипит перегаром, чешет шею свободной рукой. «Хо-хо, – говорит мужик с Сенной, – ну и дура! Куда же ты?» – тянет к ней огромную руку.

Алина отшатывается, просыпается, обнаруживает себя не ловко лежащей поперек неразобранной кровати, в одежде, с затекшей, подвернутой рукой, в темной спальне, скудно освещенной ущербным овалом луны. С трудом приподнимается, трёт помертвевшую руку, пошатываясь, нетвердыми ногами добирается до выключателя, отвратительный яркий свет заливаает глаза, но она уже нащупала кнопочку маленькой пузатой лампы под зеленым абажуром, гасит верхний плафон и постепенно приходит в себя.

Далее Алина тихой тенью скользит по всему дому, заглядывает во все комнаты, бесшумно поднимается по лестнице. В угловой грубо храпит Павлюкевич, свесив из-под одеяла большую волосатую ногу, Анохин негромко посвистывает во сне, обмякнув лицом в подушку.

Кабинет Андрея распахнут настеж и пуст. Она проходит вдоль книжных полок, слегка касаясь их вытянутой рукой. Оскал угреватой луны смотрит в окно, лунные мутные квадраты легли под ноги, освещают путь. За окном шумно сгибаются деревья, визгливо поскрипывает и сильно качается створка окна.

«Не подходи к окну! – шепчет одна Алина другой. – Пусть разобьется стекло. Не твоё дело. Не подходи к окну. Не смотри вниз».

Внизу, из окна летней кухни льётся слабое, притушенное свечение, намёк на свет, отблеск дальнего маяка, посверкивание ночной листвы в лунном луче.

С веранды прямо в сад, в холодную белую ночь ступает Алина. Высокая мокрая трава впивается в тело, одна роса сменить другую спешит, то ли дождь мимолетный прошелестел. С деревьев, шурша, сползают крупные вязкие капли.

Не помогают уже никакие уговоры. «Стой, Алина! Вернись!» Не слышит. Глохнет от стука сердца. Задыхается. Нечется через сад. Пробирается к летней кухне. Обжигает ноги морозная крапива.

Свет идет из окошка, едва пробивается. Лампа прикрыта цветастым платком Ольги. Окно плотно занавешено, но осталась крошечная щёлка.

Ольга не спит, откинулась на высокие подушки, поджала под себя ноги, нежно улыбается, склонив голову к плечу, перебирает волосы Андрея. Другую руку её прижал к лицу своему Андрей. И лежит голова его у Ольги на коленях. То ли спит, то ли просто закрыл глаза.

«Это сон, – говорит одна Алина другой, – ты проснешься, и это будет сон.»

Пока всё происходит бесшумно, огненная картинка распускается алой розой постепенно, медленно наливаются пламенем тугие лепестки, один за другим разворачиваются всё стремительней на дымном стебле, пробивают с легкостью тонкую пленку занавесок, стекол и стен, выбрасывают извивающиеся побеги на крепкую еще черную крышу.

Из темной влажной пещерки меж двух молодых елей смотрит Алина, никем не замечаемая, на хорошо освещенную сцену, которую начинают заполнять мечущиеся полуодетые человечки. Пытается руководить сосед, дядя Толя – без брюк, но в длинных трусах и старинном ватнике, от которого поднимается пар. «Баллон! Елы-палы! Я ж когда предупреждал...» Поодаль, скрестив руки, укутанные шерстяным платком, столбенеет жена его Валентина, что-то талдычит ей толстая темная тётка в махровом халате. «...Чего им сделается, у прошлом годе машину угнали, так через неделю новую купили. Брус-то хороший, жалко...»

Павлюкевич с Анохиным тоже здесь, одеты тщательно, как всегда, крутят головами, кого-то высматривают, показывают друг другу на оседающую крышу летнего домика.

На крыльцо выходят с теннисными ракетками американцы в белых шортах, застывают, любуются, их тут же заслоняют ревущие одна за другой пожарные машины. «Они там, там», – спотыкаясь, бежит навстречу невозмутимым пожарным Анатолий, пальцем показывает в сторону огня, но деловитые неуклюжие люди отводят его рукой, ловко разворачивают плоские рукава, никого не слушают, делают, что положено.

И вот уже грубые мощные струи хлещут по стене дома, по окнам второго этажа, по стеклам веранды, превращаясь в розовый клубящийся туман. Громко лопаются цветные стекла

веранды, острый осколок с шипением падает к ногам Алины, она отскакивает, и другой осколок впивается ей в плечо.

Она слышит свой крик и открывает глаза.

– Ты что? С ума сошла, – больно трясёт её за плечо Андрей, – нам пора выезжать. Пить надо меньше. Давай-давай. Через полчаса мы уедем и спи, хоть до вечера. Ну, быстренько, возьми себя в руки. Ольга тебе поможет.

Алина берет себя в руки, сомнамбулически плывёт от холодильника к столу, к буфету, к водопроводному крану и газовой плите, на мгновение застывает над мерцающей астрой фиолетового пламени, ставит две больших сковороды, льёт масло. Анохин и Ольга быстро готовят бутерброды, режут ветчину, помидоры, перцы, лук, разбивают яйца, трут сыр.

Ольга полна сочувствия:

– У меня тоже сегодня болит голова, просто как угорела, а ведь я не пила вчера ни капли.

– А я вотпил и чувствую себя прекрасно, – бахвалится Анохин, расставляет на подносе чашки и вдруг натывается на тяжелый больной взгляд Алины, словно грудью на колючую проволоку, отводит глаза, отползает с подносом в сторону веранды.

Позавтракали в полном молчании, быстро, сосредоточенно. Американцы старательно жевали, усердно пользовались ножом и салфеткой. Ольга выпила только кофе с сыром, отодвинула чашку, вскочила на ноги, перекинула сумку через плечо.

– Спасибо, было очень вкусно.

Алина коснулась рукава её куртки:

– Оленька, приезжайте почаще. Мужчины в вашем присутствии становятся такими замечательными... джентельменами. Правда! Летний домик у нас стоит пустой. Привозите сына.

– О, спасибо, обязательно, непременно. Вы так добры.

Павлюкевич с набитым ртом побежал заводить машину.

Анохин чмокнул ручку, плечико и щечку. Старший американец задержал Алинину руку и сказал (перевела Ольга), что такие прекрасные женщины сохранились только в России.

Потом еще что-то добавил, и все с готовностью рассмеялись. Оказывается, за попытку поцеловать у женщины руку в некоторых штатах можно попасть под суд.

– А ничего смешного, – сказал менеджер.

В девять, ну может быть, в самом начале десятого темно-вишнёвый, то есть цвета гнилой вишни «Форд» уже мчался по Приморскому шоссе, далеко оставив позади обиженный «Оппель» Павлюкевича. Анохин сидел на заднем сиденье, морщил лоб над новыми бумагами, бормотал английские фразы с придурочным произношением, изредка взглядывал на бледного сумрачного менеджера («Перепил вчера, бедолажка?» – ласково подмигнула ему Ольга за завтраком, он был самым младшим в компании, младше Ольги), пытаясь понять за какие-такие дивные, но непонятные качества держат мальчика при себе американцы. Мальчик внимательно читал тот же контракт и ставил на полях какие-то значки.

Прошло два часа. Алина перемыла посуду, достала чистое льняное полотенце, задумчиво глядя в окно, тщательно вытерла все тарелки, чашки, ложечки, вилки, потом всё расставила по своим местам в огромном буфете за зеркальными толстыми стёклами, пропылесосила все спальни, лестницу, кабинет, веранду, аккуратно сложила использованное постельное бельё, отнесла в чуланчик, приготовила к стирке. Потом вышла в сад, нарезала большой букет гладиолусов, обернула стебли мокрым полотенцем, завязала в пластиковый пакет, отнесла в машину, положила у заднего стекла, встала под ледяной душ минуты на две.

И вскоре уже со спокойным светлым лицом крепко держа руль, летела в город.

Машину поставила на прежнее место. Но долго из машины не выходила, сидела неподвижно, откинувшись.

Когда она пересекла Сенную, еще издали среди круженья и крика неприятных лиц увидела у входа в магазин «Диета» вчерашнего мужика.

На Большом проспекте В. О.

Давно уже Большой проспект Васильевского острова является собой зрелище бессмысленно разоренного и погубленного места, давно уже никуда не ведет эта дорога-просека, и не может теперь вспомнить окрестный люд, с трудом пробираясь через канавы и колдобины к Андреевскому рынку, когда же промчались по проспекту невидимые орды разрушителей: взрезали асфальтовую гладь, вывернули зеленую глинистую землю, насыпали там и сям горы песка и щебня, разбросали в беспорядке чудовищных размеров бетонные трубы и сгнули безвозвратно и безнаказанно.

Плохо переносят изменения старые люди. Самой себе уже не верила Ольга Васильевна, что были времена, когда Большой проспект был чист, широк и роскошен – со стремительным шуршанием проносился по середине проспекта десятый троллейбус, отражая в сияющих стеклах трепещущую листву, смеющихся прыгающих детей, степенных прохожих. Сочная густая трава газонов подбегала к домам, прерываясь в нужных местах желтыми песчаными дорожками, свежеевыкрашенные белые тяжелые скамейки с изогнутыми спинками разумно расставлены были по краям детских площадок.

И розы, настоящие розы, уверяла Ольга Васильевна, высаживались каждую весну вдоль Большого проспекта напротив классического фронтона двухэтажного здания типографии Академии наук.

Всю жизнь Ольга Васильевна прожила в Ленинграде, на Васильевском острове, вот в этом месте, и хоть ей немало пришлось поехать по стране (если вспомнить где она родилась, то это вовсе будет город Кенигсберг), она любила повторять: «Я всю жизнь здесь прожила», при этом губы ее поджимались и совсем исчезали, а глаза устремлялись в эту прожитую ею даль.

Уже давно Ольга Васильевна жила одна. Когда-то у нее была семья и дети, но нет их больше, и неизвестно куда ушед-

шие их лица мутно сереют на стене над кроватью и томят ей душу в бессонные июньские ночи.

Воспитала она племянницу – дочь своей младшей сестры, погибшей в блокаду. Девочка отыскалась после войны чудом, по странному невероятному везению. Ольга Васильевна забрала Наташу к себе, мечтая о новой семье, о новом теплом доме. Но девочка росла мрачной, замкнутой и невзучей. С трудом поступила в Политехнический институт, очень скоро оставила тяжкое для нее учение, вышла замуж за невзрачного однокурсника, уехала в Челябинск и с тех пор писала своей тетке оттуда редкие вежливые письма.

Комната у Ольги Васильевны очень узкая, окном своим выходит как раз на Большой проспект, но подходит к окну Ольга Васильевна нечасто, чтобы не видеть творящегося внизу безобразия.

Все вещи в комнате поражают случайно вошедшего сюда человека какой-то убогой старушечьей чистотой и полной ненужностью никому, кроме хозяйки; да и самой хозяйке непонятно, зачем понадобился мраморный столик для умывания с треснувшей столешницей, ободранный трельяж с тусклыми зеркалами, и хлипкая этажерка, тесно набитая нотами, при совершенном отсутствии в комнате каких-либо музыкальных инструментов. Почему не избавилась хозяйка – поудивляется случайный гость – от громоздкой металлической кровати с никелированными шишечками, покрытой белейшим, изрешеченным штопкой покрывалом, а заодно и от кожаного арабского пуфика, на котором, кажется, никто никогда не сидел.

Не вещи, а знаки вещей или происшествий, вроде войны, уплотнений, ссылок, любовных печалей, фортепьянных концертов и даже, представьте себе, детских елок наполняют комнату и жизнь Ольги Васильевны, а, может быть, и нашу с вами. Разве не приходилось вам, наводя порядок в своем жилище или увязывая и перебирая разнообразный скарб перед переездом, удивляться бессмысленности этого пустого флакончика, неинтересных уже писем, глупых дневников, перегоревшей кофемолки, театральных программ и что-то рвать и выбрасывать, а что-то разворачивать и перечитывать и впа-

дать в столбняк воспоминаний, и снова хранить, хранить до следующего раза ?

Как бы там ни было, но ничего по-настоящему старинного и ценного – ни мебели красного дерева, ни бронзы – у Ольги Васильевны, к сожалению, нет.

И оставим на ее совести утверждение, что еще бабушкино девичье бюро и столик-«бобик», а также комод-«жакоб» стоят у одного человека, бывшего блокадного управдома, который живет в этом же доме, в соседней парадной и много еще имеет хороших вещей. Лучшая подруга Ольги Васильевны – Татьяна Тимофеевна, Татоша – говорит про этого управдома, однако, совершенно уж последние слова, хотя вместе с ним дежурила в блокадные ночи на крыше, ловко сбрасывая вниз ужасные зажигалки.

Татоша живет с незамужней дочерью совсем недалеко, на Восьмой линии, в том доме, где внизу, помните, был колбасный магазин, но посещает Ольгу Васильевну редко, поскольку, обладая тромбофлебитом и невероятной толщиной, передвигается с большим трудом. Несмотря на неуклюжесть, житейские беды и бесчисленные болезни, Татоша дама чрезвычайно уверенная, властная и громкая, постоянно поучающая не только свою хрупкую подругу и сорокасемилетнюю дочь, но и всех, кто попадет под руку.

Соседи Ольги Васильевны, семья Поповых, люди спокойные, интеллигентные, занимают две прекрасные, хотя и смежные комнаты, и всегда очень любезны с одинокой старушкой. Однажды, правда, милая Мария Гавриловна попросила Ольгу Васильевну убрать из коридора громоздкий шкаф, забитый, как справедливо полагала Мария Гавриловна, жутким барахлом. В другой раз она, постучавшись вежливо, но настойчиво, вошла к Ольге Васильевне и, интенсивно улыбаясь намазанным кремом лицом, заговорила чуть гнусавым от хронического насморка голосом:

– Ольга Васильевна, миленькая, у меня к вам большая просьба. Нельзя ли немного передвинуть ваш столик в кухне?

В результате перестановки семья Поповых приобрела в кухне уютный уголок, можно сказать, столовую у самого окна,

к которому тянулись тополиные ветви, а в июле летел тополиный пух, серый и нежный, вызывая легкие приступы астмы у Марии Гавриловны.

Кухня стала также чем-то вроде кабинета для Сергея Александровича Попова, химика-технолога и большого любителя политики. Между холодильником и окном было поставлено покрытое пледом старое кресло, в котором он увлеченно шелестел газетами, смущая этим шелестом и угрюмым молчанием бедную Ольгу Васильевну. Иногда, заслышав шорох, Сергей Александрович вздрагивал и, увидев тень тихой старушки, с трудом, казалось, вспоминал кто это, во всяком случае восклицание его: «Боже, как вы меня напугали» – всегда было полно искренним, слегка раздраженным удивлением.

Единственная дочь Поповых, Леночка – очень хорошенькая девушка, хотя и несколько вялая, беленьким чистеньким личиком своим и большими темными глазами, выражающими загадочный несовременный покой и необыкновенно женственную лень, заставляла вспомнить портрет малоизвестной титулованной особы, висящий, кажется, в Павловском дворце и умершей, по всей видимости, от туберкулеза в совсем юные годы.

Леночка, однако, была совершенно здорова, доставляла родителям одну лишь радость, без особого труда закончила Технологический институт, куда поступила по желанию и протекции Сергея Александровича, имела большое количество поклонников, из которых выбрала под незаметным руководством Марии Гавриловны самого способного и любящего, и год назад, сразу же после защиты диплома, вышла за него замуж.

Теперь Леночка ждала ребенка, и ничто так не занимало Марию Гавриловну, как неотложное решение квартирного вопроса. Обстоятельства были таковы, что зять Виталий, обладая замечательными личными достоинствами, жилищные условия имел самые невнятные и явно недостаточные: был прописан в комнате в четырнадцать квадратных метров в большой коммунальной квартире в центре. Комнату эту надлежало к чему-то немедленно приспособить и наивыгоднейшим образом использовать.

И вот бесконечные комбинации – многоступенчатые обмены, доплаты, покупки еще каких-то комнат, выгодные прописки, поиски маклеров и посреднических фирм – разламывали несчастную голову Марии Гавриловны.

Беда была еще и в том, что Мария Гавриловна не желала расставаться с единственной дочерью, а Леночка не стремилась начать самостоятельную жизнь.

Меж тем время шло. Виталий крутил какой-то свой не очень прибыльный околонаучный бизнес, Сергей Александрович смаковал на кухне последствия непродуманной конвенции, Леночка позволяла себя нежить и лелеять, лишь одна Мария Гавриловна металась, тревожилась и не находила себе места.

Но однажды Мария Гавриловна проснулась просветленная, словно очнувшись от тягостного и бестолкового сна, огляделась новыми глазами вокруг себя и представила, что эта большая трехкомнатная квартира с двадцатиметровой кухней, широким коридором, огромной прихожей, четырьмя стенными шкапами, со всеми, словом, удобствами, в красивом особнячке, охраняемом якобы государством, принадлежит только им. При этом кухня превращается в прекрасную настоящую столовую, детям с младенцем отдаются две смежные комнаты, родительская спальня переносится в комнату Ольги Васильевны, в прихожей устраиваются дополнительные антресоли, ванная комната облицовывается наконец кафелем, газовая плита переносится к другой стене в один ряд с холодильником и сервантом, настилается новый линолеум, а сама кухня перекрашивается в какой-нибудь веселенький солнечный цвет.

Многими, очень многими переделками, не считаясь с безумными по нынешним временам затратами, наполнило квартиру радостное воображение Марии Гавриловны.

Через некоторое время, в некий удачный день, когда домашние отсутствовали и не могли помешать тонкому предприятию, Мария Гавриловна пригласила Ольгу Васильевну к себе, «составить компанию».

Она так и сказала:

– Ольга Васильевна, прошу вас: зайдите ко мне – составьте компанию.

Ольга Васильевна в смущенном недоумении вошла в комнату Поповых, где сразу увидела накрытый на две персоны стол: тонкие фарфоровые чашечки, кобальтовый кофейник, сливки и замечательно вкусное финское печенье.

Беседу вела Мария Гавриловна непринужденно и напористо, заряженная своей простой и блестящей идеей, ничуть не сомневаясь в успехе, и потому все обстоятельства дела, включая малозаметную пока Леночкину беременность, а также размер предназначенной Ольге Васильевне компенсации за обмен на комнату Виталия, были изложены ею с естественной откровенностью бесхитростной души.

– Но я как-то совсем не думала об обмене, – тихим голосом проговорила Ольга Васильевна, с явным страхом прикасаясь к чашечке из прозрачного фарфора.

– Да и мы не думали. Вот давайте и подумаем вместе.

– Но вот знаете, улица Марата, там одни дома, камень сплошной, нет зелени...

– Что вы, что вы, там чудесный район, старый Петербург, Достоевский, центр, прекрасные магазины. Нет, Ольга Васильевна, вы должны посмотреть, завтра мы вместе поедem туда. Потом можем погулять, поговорить, посидим где-нибудь вдвоем.

Мечтательная улыбка покрыла морщинами лицо Марии Гавриловны и быстро исчезла, словно ее промокнули бумажной салфеткой.

– И потом небольшая сумма на старости лет придаст вам уверенности. А если вы заболете... – Мария Гавриловна слегка даже выпучила глаза, – вы знаете сколько теперь будет стоить день в больнице...

Буквально на следующий день зять Виталий приехал на какой-то потертой казенной иномарке и повез наших дам по солнечной набережной, через мост Лейтенанта Шмидта, через Театральную площадь на улицу Марата.

Ольге Васильевне сразу же не понравился этот чужой скучный дом с низкой подворотней, не понравились кучи мусора, оставшиеся после капитального ремонта, тоскливые проход-

ные дворы, узкая крутая лестница и сама комната с чужим запахом и окном, глядящим в крохотный дворик-колодец.

Она всюду покорно следовала за Марией Гавриловной, тихо с ней соглашалась, кивала головой, изнывая от собственной покорности и неловкости, от своей потрескавшейся клеенчатой сумки, старого вытертого пальто, которое выглядело совсем нищенским в этом солнечном свете, так неожиданно залившем февральский город.

Почти весь обратный путь они проделали пешком. Вышли на Невский, многолюдный и шумный даже в этот будний день. Какая-то бодрая юность обгоняла Ольгу Васильевну, не останавливая на ней взгляда – бодрая, веселая, уверенная, хорошо одетая. Куда-то бежали молодые здоровые ноги, улыбались свежие лица, люди толкали друг друга – спешили. Больными, растерянными, слезящимися глазами смотрела на них Ольга Васильевна, осторожно шаркая по по сухому асфальту словно по тонкому льду, старыми суконными ботинками. С изумлением разглядывала многочисленные иностранные вывески на знакомых с детства домах, с грустью отмечая общую какую-то обшарпанность, грязь, мусор, нищих в подземных переходах.

Многие протягивали руку за подаванием, предварительно навесив на себя плакатик, объясняющий этот отчаянный жест: «Люди добрые, помогите. Дети умирают с голоду», «Собираю деньги на операцию сыну в Германии» или совсем просто: «Подайте погорельцам». Но подавали очень мало. Почти не подавали.

Мария Гавриловна даже задержалась у какой-то страшной тетки совсем не старого еще вида, сидящей с тремя детьми – один на коленях у нее, другие приткнулись по бокам – прямо на грязном, заплыванном асфальте перед Гостиным. Пустая коробка из-под обуви стояла перед ними – туда нужно было бросать деньги, к коробке прислонена была картонка: «Мы беженцы из Молдавии. Потеряли все. Помогите». Никто не помогал. Коробка была практически пуста.

Тетка тупо смотрела перед собой, слегка покачиваясь. Грязный малыш на коленях у тетки, напротив, заинтересованно тарачил глаза, сосал конфету на палочке – «чупа-чупс».

Мария Гавриловна возмущенно всхлипнула, переполнилась раздражением, не поверила тетке и дальше повлекла Ольгу Васильевну, начавшую было щелкать ридикюльным замочком в побуждении бросить в коробку какую-нибудь мелочь.

Ольга Васильевна и раньше наблюдала картинки этой «перевернувшейся», как говорила Татоша, жизни. И на подступах к Андреевскому рынку теперь тоже стояли нищие и клубился неряшливый и бедный торговый люд, разложив на перевернутых ящиках тарелки, вязаные носки, электрические счетчики, старые детские шубки, сигареты, лекарства, транзисторы, а внутри рынка вдоль крепких молодцев, что стояли за апельсинными горами, за помидорными россыпями, оперевшись расставленными руками на мраморные прилавки, бродили свои постоянные старухи, выпрашивая яблочко или морковку.

Но здесь, на Невском, зрелище несчастной и некрасивой нищеты, то ли намеренно и бесстыдно выставленной на обозрение приличной публике, то ли, действительно, дошедшей до последнего предела, пронзило сердце Ольги Васильевны и переполнило ее глаза слезами.

Но, видно, мало было неизвестному режиссеру, и на повороте к новому ослепительному отелю «Европа» поставлена была еще одна живая картина: тощий, одноглазый и вообще безобразного вида мужик в грязном тряпье, стоя на коленях, непрерывно крестился и клал земные поклоны. Над ним нависал молоденький милиционер и, воровато оглядываясь, бил по ногам мужика носком своего начищенного сапога. Впрочем, бил, вероятно, не очень сильно, как пинает под столом заботливая жена не в меру разошедшегося и развеселившегося мужа, потому что мужик не переставал креститься и кланяться добрым людям иностранного происхождения, испуганно спешащим мимо, к своему пятизвездочному убежищу.

«Как жить на этой земле, Господи?» – невозможно не вскричать в сердцах, проследив направление ошеломленного взгляда Ольги Васильевны, но, в отличие от нее, не позволим слезотечению испортить чудесную силу нашего глаза, затянуть ее текучей пленкой, ухудшить оптическую силу этой

божественной линзы. Нет, не для слез наши глаза, не для слез. Они исказить могут картину мира, предьявленного нам для наблюдений. А это было бы ужасно.

И все-таки старое сердце Ольги Васильевны трепетало и радовалось, оглядывая родные камни, колонны, площадь и дворец, и нарядные купола Спаса на крови.

Мария Гавриловна крепко прижимала к себе старушкин локоток, плохо представляя, что происходит в ее голове, какие туманные картины вызвали сначала слезы, а потом тень улыбки на этом маленьком морщинистом лице, но очень хорошо сознавая, что комната Ольге Васильевне не понравилась, и она туда не поедет.

Оставалась, правда, утешительная возможность упрашивать, уговаривать, предлагать побольше денег, чтобы согласилась поменяться, устраивать тройные, четверные, шестерные какие-нибудь обмены, но только получить собственную отдельную квартиру с высокими потолками, немалогабаритную, на зеленом Большом проспекте, который приведут же когда-нибудь в порядок, и среди новых газонов можно будет гулять с ребенком, и рядом будет сад Академии художеств, и можно будет пойти к Неве и смотреть на корабли.

Вечером следующего дня Мария Гавриловна пригласила Ольгу Васильевну вместе посмотреть по телевизору мыльный мексиканский сериал, и, когда усталая старушка отказалась, сославшись на головную боль, успела все-таки пролепетать, загораживая ей выход из кухни:

– Ах, Ольга Васильевна, если бы вы только согласились... Знаете, ведь возможны варианты, ну пусть не эта комната, можно найти другую. Любое ваше требование будет выполнено, я уже поговорила с Сергеем Александровичем... Любая сумма...

– Ну, уж и любая, – грустно улыбнулась старушка.

– Да, да – любая, зная вашу порядочность, я смело говорю – любая. Дело не в метраже. Мы вынуждаем вас к такому беспокойству, такие моральные потери. Мы понимаем.

И так почти ежедневно Мария Гавриловна заводила разговоры об обмене, предлагала посмотреть какие-то другие

комнаты, обижалась на Ольгу Васильевну, дулась, но недолго, и снова начинала свою ласковую, убийственную осаду. Но однажды она все же сорвалась, заплакала, закричала:

– Да что же вам надо, наконец ?

Но и тогда Ольга Васильевна не смогла объяснить, что ничего ей не надо, лишь бы оставили ее в покое, в этом доме, где жила когда-то их многочисленная семья, но не в этой квартире, а в соседнем флигеле, напротив которого простоял однажды всю ночь продрогший мальчик – Костя Крылов из бывшей гимназии Майского, не сводя глаз с ее потухшего окна, не могла рассказать доведенной до отчаянья Марии Гавриловне, что здесь неподалеку и ее гимназия, что здесь рядом Соловьевский садик, нянька упорно называла его Соловьевским, а никак не Румянцевским, где она гуляла ребенком, а теперь изредка сидит со знакомыми старушками, и хоть речи их неинтересны, но они одни могут понять ее болезни, обиды и бессонные страхи, что из этого дома проводила она на фронт своего тихого и честного мужа, а потом своего ненаглядного сына, отсюда бежала на дежурство в госпиталь, который занимал тогда клинику Отта, и как-то раз, когда она была уже на Менделеевской линии, начался обстрел, и метрах в пятидесяти от нее убило осколком шедшую навстречу молодую женщину в красивой шубе.

Ничего не смогла объяснить Ольга Васильевна своей необычайно огорченной соседке еще и потому, что свет и так неяркого пасмурного дня вдруг совершенно померк в ее глазах, мучительная тошнота заполнила грудь, все закружилось вокруг с невероятной скоростью, и сама она стала медленно оседать на пол.

С Ольгой Васильевной случился тяжелый гипертонический криз, отвезли ее в Василеостровскую районную больницу, и она пролежала там больше месяца в огромной, душной палате, страдая от клопов, запаха мочи и храпа соседок, очень побледнела, еще больше высохла, но познакомилась со многими хорошими людьми.

Мария Гавриловна регулярно навещала ее, рискуя столкнуться с Татошей, которой боялась почему-то необыкновенно

но. Приходили к ней молоденькие учительницы из школы, где последние годы перед пенсией преподавала она французский язык. Пришли даже две старушки из Соловьевского сада, неизвестно каким образом узнавшие о ее болезни.

Выписали Ольгу Васильевну в середине мая. Нянечка помогла ей спуститься вниз в вестибюль, где уже толпились чьи-то родственники с вещами. Ольгу Васильевну усадили в сторонке на неудобную белую скамью под учебным плакатом, изображающим человеческий мозг, чудовищно похожий на бугристую сердцевину грецкого ореха.

Когда толпа вокруг рассеялась, в дверях показалась тяжелая задыхающаяся Татоша, сгребла свою бледную подругу вместе с ее чахлой улыбкой и многочисленными полиэтиленовыми пакетиками, поблагодарила нянечку так величественно, что та еще долго кланялась ей вслед, и две эти разные старухи вышли на весенний и дождливый Васильевский остров и медленно побрели к зеленеющему, несмотря ни на что, Большому проспекту.

Снова началось лето. Поповы собрались на дачу, предварительно загромоздив широкий коридор новой нераспакованной мебелью. «Это очень ненадолго, – твердила Мария Гавриловна, – через несколько дней Виталий закажет машину и перевезет к себе». Однако семейство уехало в Сестрорецк, а мебель так и осталась стоять в своих прозрачных облочках, зато квартира наполнилась совершенной тишиной.

Давно уже Ольга Васильевна не чувствовала себя такой спокойной – она много гуляла, поддерживала больничные знакомства, занималась французским с очень милым молодым человеком. На каждый урок он являлся с маленьким букетиком каких-нибудь простеньких цветов. Ольга Васильевна подозревала, что все это устроено Татошиной благотворительностью – и деньги на уроки и цветы дает юноше Татьяна Тимофеевна, продающая потихоньку замечательную коллекцию минералов своего умершего мужа.

Между прочим, Ольге Васильевне как раз к лету повысили пенсию, и первые дни после этого радостного события она гордо семенила в молочный магазин или к Андреевскому

рынку, крепко прижимая к себе ридикюльчик с заветной тысячей, пока не обнаружила, что на эту огромную тысячу нельзя купить то, что покупалось раньше на старую десятку.

В конце июня, когда за окнами уже завивалась сухая тополиная метель, приехала с дачи помолодевшая, загорелая Мария Гавриловна, весело постучалась, лучась доброжелательством, поставила перед Ольгой Васильевной эмалированную мисочку с первой очень крупной клубникой и торжествующе сказала:

– Ольга Васильевна! У меня потрясающий вариант. Хотите жить в отдельной однокомнатной квартире?

Ольга Васильевна прожила еще несколько месяцев, не выходя почти из своей комнаты, и умерла в дождливую октябрьскую ночь. Просто уснула и выдохнула из себя жизнь, счастливо избегнув больничных стен и никого не обеспокоив.

Вот собственно, и все.

Ну и к чему, скажите пожалуйста, рассказана эта житейская история, скривит губу читатель, что в ней интересного или поучительного?

И я не смогу ему ответить. Да что читатель! Я и себе не могу объяснить, почему оказалась на поминках Ольги Васильевны, с которой была знакома чрезвычайно поверхностно, зачем вызвалась помогать энергичной Татоше в печальных похоронных хлопотах, отчего внимательно вглядывалась в слегка отечное лицо Марии Гавриловны, замечая, как изобильно и расточительно подает она на стол старинные селедочницы с красной нежной рыбой, хрустальные розетки с икрой, несет зачем-то еще постную ветчину, заливное, помидоры и зелень, и много, слишком много выставляется на стол бутылок с хорошей дорогой водкой. «Зачем это, зачем...», – бурчит недовольно Татоша, каменея лицом над скудной кутьей. «Мама, мама, – говорит ей унылая дочь, – что тебе положить?». «Оставь», – строго отводит Татоша руку дочери.

Да и что мне до этой семьи Поповых, которая, все признают, очень пристойно повела себя в ситуации смерти и похорон и последующих поминок, да и что с того, что по прежним социалистическим законам комната Ольги Васильевны от-

ходит к Леночке с новорожденной дочерью, а квартира, отдельная квартира приобретает совершенно другую ценность и цену, и теперь комната Виталия на далеком проспекте Марата может просто сдаваться и даже за валюту.

Что я пришла сюда подсмотреть – как переносят люди неожиданное везенье, как стараются не позволить радости своей просочиться сквозь глаза, сквозь кожу, зазвучать в голосе, выскочить каким-нибудь опрометчивым словом, что будет потом перепето, пересказано, изукрашено, как с трудом сдерживают свою неуместную щедрость в этих скорбных обстоятельствах и в опасной близости от мрачной, грозно молчащей Татоши?

Кого и в чем уличить пришла я сюда? Неужели этих бедных людей, не знающих завтрашнего дня своего?

Чужие, в сущности, случайные люди, собрались помянуть Ольгу Васильевну.

Вот они грустно сидят за поминальным столом, вспоминают, молчат, вдруг оживляются, говорят о ценах, о детях, о страшных преступлениях, о квартирных кражах, иногда утирают слезы, и снова о ценах, о нищете своей и страхе.

Косит глазом в сторону Сергей Александрович Попов, прикидывая, удобно ли уйти к себе, включить телевизор, там должны показать ему интересное. Полностью отсутствующее лицо демонстрирует сытый зять Виталий.

Сидит почему-то за столом бывший управдом, тихо, но много ест. Какие-то соседки с первого этажа принесли миску салата. Две никому неизвестные старушки чинно шепчутся.

Все едят блины. Пьют, не чокаясь. Хвалят заливное. Стоит на бедной белой скатерти Ольги Васильевны рюмочка с водкой. Лежит на ней кусок черного хлеба. Долго сидят за столом чужие люди. К концу дня кусок черного хлеба высыхает, утоньшается, края его загибаются кверху.

Чужие люди никуда не уходят – они теперь здесь живут.

Одна лишь своя Татоша. Вдруг говорит: «Увезли Оленьку с Васильевского острова», шумно дышит, выбирается из-за стола, заматывает голову черной кружевной шалью и выходит на Большой проспект.

Бедная Лиза

От залива к дому нужно было идти вверх по крутой осыпающейся дороге, которая у местной детворы так и называлась – Горка. И Коленька, бывало, зимой, едва приехав на дачу, тут же вытаскивал из сарая высокие финские сани с длинными трепыхающимися полозьями и кричал: «Я на Горку!». Трудно осилить теперь Горку Елизавете Павловне, страшно спускаться неуверенным ногам, даже летом. А подниматься совсем невозможно – толчками бьётся сердце, не давая вздохнуть, железный спазм охватывает голову. Давно уже не ходит она к заливу, а раньше часто ходила. Уходила от них. От фальшивого хохота Ларисы, от уверенного Виктора, от растерянных глаз Кирилла Ивановича. Шла по сырому плотному песку у самой воды, вдоль колеблющегося края тихой волны, улыбалась. Теперь уж совсем не улыбается Елизавета Павловна. Разве что Коленьке.

Из окна кухни виден кусочек залива. Быстро снуют спицы. Коленька читает наизусть, запинаясь, иногда подглядывая в учебник. «Что ищет он...Что ищет он...» Елизавета Павловна подсказывает: «...в стране далекой...». Коленька замолкает и смотрит в окно. Холодная осень. Линия горизонта размыта туманом. Небо и вода одного бледного туманного цвета. «Уж небо осенью дышало», – говорит Елизавета Павловна. «Уж не белеет парус одинокий», – поддакивает Коленька. Они смеются. «А почему Маркизова Лужа?», «Ну, лужа потому, что очеь мелко... а маркиз – был тогда в морских министрах один маркиз, француз, служил при царе Александре, водил здесь корабли, так люди и назвали залив». Быстро снуют спицы, один носок уже готов. Елизавета Павловна улыбается – на днях соседская старуха рассказала – внук её узнал, что у бабушки глаукома, «А что это такое», – спрашивает. – «Это болезнь такая, ослепну я». – «Ой, – взволновался мальчик, – довязывай скорее мне носки, а то не успеешь». Нет, Коленька не такой, он нежный, тонкий, боится обидеть, всё

понимает, а если не понимает, то спросит потихоньку, «а смерть очень опасная болезнь?» – спросил шепотом, когда все уже знали, что Кирилл Иванович умирает. Хорошо бы успеть второй носок до приезда Ларисы.

Лариса обычно привозит Коленьку в пятницу вечером, торопливо вытаскивает из багажника сумки с продуктами, ставит их на крыльцо, даже и в дом не заходит, раздраженно разворачивает машину, взывает мотором, уносится в город, а возвращается в воскресенье, обычно более спокойная, но, как всегда, замкнутая, холодная, отсутствующая, обходит лениво дом, пьет кофе, торопит Коленьку, отрывает его от потеплевшего сердца Елизаветы Павловны. «Спасибо Лиза, – говорит наконец Лариса, – деньги я оставила на холодильнике. Газ заказать не забудьте».

«Лизочка, – говорит Коленька, – как ты тут будешь одна? Ты скучать будешь. Поехали с нами». – «Садись в машину, – велит ему Лариса, – бери свой рюкзак и садись в машину».

Конечно, будет скучать. Тоска и скука – привычное дело. Будет скучать, вспоминать, перебирать его слова, жалеть, что не поцеловала на прощанье, не вышла даже на крыльцо, не махнула вслед рукой уносящемуся от неё бледному личику в заднем стекле машины. Вспоминать будет разговоры с ним с теплой печалью, с тайным торжеством. Над кем? Над Ларисой, над кем же еще. Поминутно вытирая слезу, бесцельно будет шаркать негнушимися ногами по опустевшему дому.

«Ты, Лиза, маме не говори. Мама думает, что это глупости. Но теперь папа ко мне часто приходит, то есть снится, конечно, я понимаю, что это сон, но такой ясный, там всё как в жизни, как здесь. И я так не хочу просыпаться, а если открою глаза случайно, снова стараюсь заснуть, закрываю глаза и начинаю с ним разговаривать, и он иногда возвращается, мы гуляем, катаемся на лодке, я держу его за руку и думаю: вот проснусь. Ты, правда, веришь, что он где-то есть? Как бы мне хотелось...»

Почему-то Елизавете Павловне кажется, если бы Лариса подслушала эти слова, то перестала бы привозить Коленьку на дачу, расстроила бы эти вечерние разговоры за долгим ужином, за круглым столом, под старым низким абажуром. Шеле-

стит по жести мелкий дождик, ветер царапает голой веткой окно, догорают последние угольки в горячей печи, бьет по ним черной кочергой Елизавета Павловна. Так хорошо им сидеть вместе.

«Конечно, есть, – говорит она твердо. – Как он мог исчезнуть?...» И действительно, как мог исчезнуть Кирилл Иванович, куда подевались его добрые глаза и все его таланты, знания языков, смешные словечки, его тихое сосредоточенное лицо, и голос, его единственный голос? Елизавета Павловна отворачивается от Коленки, крепкой рукой разбивает в печке синие огоньки.

Незадолго до смерти постучался он к ней, вошел как-то боком – бледный, худой, тяжело уперся двумя кулаками в стол, шумно и длинно вздохнул, повесил голову на грудь, посмотрел исподлобья несчастными глазами и сразу же отвел взгляд.

«Вот что, Лиза... Ты прости меня, если можешь».

«Боже мой, за что? – изумленно всплеснула руками. – За что, Кирюша?». Только наедине называла она его так.

«Сама знаешь... Давно надо было тебя прописать. Но я завещание оставил. Эта комната теперь твоя...»

Сразу же после похорон Лариса удалила Коленку к тетке, вызвала бригаду морить тараканов, устроила вместе с Елизаветой Павловной основательное перетряхивание всего дома и выбрасывание на помойку вполне еще хороших, добротных вещей, и мимоходом, пристально разглядывая какие-то листочки, объяснила, что никакого завещания, вообще говоря, не существует, то, что Кирилл Иванович называл завещанием, – бумажка, негодная ни на что. Конечно, Елизавета Павловна может обратиться в суд, но в тот же день ей придется покинуть их дом. «Но если хотите, Лиза, всё останется по-прежнему, будете жить в своей комнате, Коленку встречать после школы, кормить его, ну и всё как раньше».

И все осталось по-прежнему. Не с кем было посоветоваться Елизавете Павловне. Племянники, которые вытеснили её давно из собственной квартиры, как бы уже не существовали ни в её жизни, ни в её памяти, сестра умерла семь лет назад, так и не помирились с ней, муж сестры стал совсем посторонним жал-

ким стариком, с институтскими сослуживцами связи почти не было. Одна лишь старуха из соседней парадной, с внуком которой Коленька учился в первом классе, горько качала головой: «Ой, милая ты моя, не найдешь управу. Куда в суд? Адвокаты деньги берут немислимые. Хотя и грех это – не исполнить последнюю волю. Да кто об этом теперь думает?»

Виктор почти открыто поселился у них в доме, засел в кабинете Кирилла Ивановича, дописывал докторскую, но иногда исчезал, несколько дней пропадал где-то. Лариса ходила мрачная, злая, раздраженно кричала на Коленьку, молча отставляла тарелку, без всякого «спасибо» вставала из-за стола, удалялась в свою комнату, откуда с безумными глазами выскакивала на каждый телефонный звонок, вырывала трубку у Коленьки, толкала его в спину: «Иди к себе». Потом Виктор появлялся снова, Лариса мгновенно расцветала как осенняя роза, шутила, смеялась, в непрерывном двигательном возбуждении металась из столовой в кухню и обратно – готовила какое-то мясо по особому рецепту. Елизавета Павловна, сдерживая себя, подавала ей специи, вообще ассистировала – не знала Лариса, где что лежит.

Совсе не сразу заметила Елизавета Павловна, что Лариса практически с ней не разговаривает, просьбы и указания оставляет на маленьких записочках, приклеивая их к раме зеркала в прихожей. Прояснилось всё бессонной ночью, почти под утро, когда вернувшиеся из гостей Виктор с Ларисой затеяли на кухне поздний чай. «Ужин, переходящий в завтрак», – засмеялся Виктор и неосторожно хлопнул холодильником. Потом слышался только бурный неразборчивый шепот. И вдруг Лариса визгливо вскрикнула: «Значит, у меня будет коммунальная квартира». Тихонько сползла с высокой кровати Елизавета Павловна, не могла удержаться, приложила ухо к холодной двери. «Потом она еще каких-нибудь племянников пропишет. Ну, придумай же что-нибудь». И еще Нобеля поминала Лариса недобрим словом. При чем тут Нобель? И ничего уже не было слышно, только позвякивание посуды, шум воды, звук отодвигаемого стула. Задыхаясь, с бьющимся сердцем отошла Елизавета Павловна от двери, не зажигая света, накапала себе

двадцать капель корвалола на фоне светлеющего окна, запила приготовленной на ночь водичкой, дрожащими руками взбила обе подушки, откинулась на спину и долго так лежала совсем неподвижно, смиряя дыхание и даже не пытаясь заснуть.

Давно не была в институте Елизавета Павловна. Последний раз – семь лет назад, на шумном праздновании Государственной премии Кирилла Ивановича. Тогда институт еще делал вид, что жизнь его продолжается. Еще пишут приборы под внимательными взглядами молодых научных людей сложные и длинные спектры, и, поднатужившись, волокут по коридорам смешливые дипломники тяжелые дьюары с жидким азотом, но гелия уже нет, гелий совершенно исчез, как исчезнут скоро из института и молодые лица – уйдут со свежими университетскими дипломами шустрые мальчики и девочки в риэлтеры, менеджеры, в крутой принаучный пиар. А быстро постаревшие профессора угнездятся в своих кабинетах перетряхивать, перелопачивать, переосмысливать результаты давних экспериментов, вплотную приникая нездоровыми лицами к драгоценному монитору подаренного Соросом компьютера в жажде поймать какую-то тонкую структуру, спектральный провал или квантовую дыру. «Мне бы ваши заботы», – думает главный бухгалтер и подшивает грант в специальную папочку.

На проходной толстая старая охранница долго и удивленно рассматривала пропуск и паспорт Елизаветы Павловны. «Куда идёте?» – «В дирекцию». – «А почему без сопровождающего?» – «Да знаю я дорогу, я же тридцать лет здесь проработала».

От проходной до дирекции, на длинном пути через весь огромный двор не встретила она ни одного человека. Гигантские створки гаража были почему-то распахнуты – безлюдье и пустота внутри. Брошенные машины мокли под открытым небом. Всюду валялись непонятные механизмы, мертвое железо, мотки проволоки, разбитые аккумуляторы. Когда-то цветущий ухоженный круг перед главным зданием порос высокой дурной травой («Сократили садовников» – догадалась Елизавета Павловна), растрепанные головки чертополоха успешно поднимались по ступеням центральной лестни-

цы. Фасад обветшал и ослепел. Исчезли куда-то старинные скамейки из вестибюля, а знаменитые зеркала потускнели и расслоились. Туалеты были заколочены грубыми досками, и оттуда вытекал застарелый смрад. На мраморных подоконниках, ступенях, периллах – на всем горизонтальном и плоском лежала толстая пушистая пыль.

В директорском коридоре, однако, происходило некоторое шевеление – звучали голоса, звонили телефоны, свирители принтеры, хлопали двери, пробегали каблучки.

Встретил её часто бывавший в их доме Владимир Андреич – улыбочивый, грузный заместитель директора по общим вопросам («замдиректора по общим ответам» – называл его Виктор), взял под локоток, распахнул двери кабинета, усадил в кресло, заказал секретарше чай. Долго мялся, хмыкал, перекладывал на столе какие-то бумажки, спрашивал о здоровье, о Коленке. Обошел стол, сел напротив в такое же громоздкое квадратное кресло, сцепив руки на широком животе, несколько раз шумно втянул в себя воздух и также шумно выдохнул. «Ну, не знаю, просто, что и делать...» – и выложил перед ней завещание Кирилла Ивановича. «Вы читайте пока, читайте».

Секретарша ловко внесла на подносике два стакана бледного чая с лимонными колесиками, улыбнулась приветливо и равнодушно.

Слова проплывали перед глазами Елизаветы Павловны, не образуя смысла. Понятно только стало, что Кирилл Иванович оставляет ей комнату и просит кого-то произвести необходимые формальности. Это место было в тексте помечено, и на полях стоял восклицательный знак. И еще одно место отчеркнуто было жирным – Кирилл Иванович передавал институту свои рукописи, библиотеку, вообще весь архив и почему-то портрет Вавилова. Тут же вспомнился ночной визгливый шепот Ларисы: «...чтобы всё разворовали подчистую, у них собственная библиотека давно не работает».

Владимир Андреич близко придвинул своё лицо, пахнуло нехорошо от старых зубов: «Он ведь и гонорары свои институту оставляет – на поощрение молодых. (Где они молодые-то?) И мы обязательно устроим премию его имени». И снова

в ушах голос Ларисы: «...сумасшедший идеалист, всю жизнь жил как на облаке, Нобель выискался».

«Но вот ведь что... – понурился Владимир Андреич и долго держал паузу. – Комнату она ведь нипочем не отдаст.»

Елизавета Павловна поморщилась и отодвинулась, откинулась в кресле подальше: «А что вы, собственно, от меня хотите?» Вышло строго.

«Вот, вот, вот, – залопотал Владимир Андреич, – завещание-то неправильно оформлено. И доведет оно нас до суда. Да юрист наш крепенький. Вот он советует вам подписать одну бумажку, что не претендуете. Зачем вам претендовать? Вы и так живете. Зачем что-то менять? Всё обострять? А так мы будем отстаивать интересы института. Тут дело ясное».

Вышла из кабинета с прямой спиной. Ноги сами понесли к оптическому цеху. Тихо и пусто. Людей нет, станки не крутятся. Душный холод и запустение. Но где-то в глубине слышны голоса, звяканье и смех. Толкнула дверь. Чужие настороженные, незнающие глаза. Все лица обернули к ней. И вдруг крики, вопли визг: «Батюшки, царица небесная. Кто это к нам? Лиза, ты ли это? Ты жива еще моя старушка. Да на тебе лица нет».

Толстая Амалия да рыжая Валентина кинулись к Елизавете Павловне обнимать и обливать слезами. Амалия стала еще толще, но как-то оплыла книзу, как осевшее тесто. Валентина была уже не рыжая, а пегая и сморщенная. Вспомнилось, как Кирилл Иванович называл Валентину «венцианская красотка», и это было обидно, а она у него была всего лишь «Бедная Лиза». Ух, как ревновала она Валентину, не позволяла прикасаться к образцам Кирилла Ивановича, все знали, никто с ней и не связывался. В те времена жива была еще мать Кирилла Ивановича. Должность у неё была такая – секретарь Ученого секретаря, однако, облако почтения, окружавшее её, было совершенно с этой должностью несоизмеримо. И даже высокое положение её бывшего мужа не могло объяснить трепета, уважения и зависимости от неё собственного начальства. Ученый совет затихал при её появлении, как расшумевшиеся шестиклассники перед властным директором школы. И никто не удивлялся, что раз в неделю Валентина убирала её огромную квартиру. А

потом появилась Бедная Лиза – тихая, неразговорчивая, грустная. Говорили, что пошла в оптический цех из-за общежития. («Образованная наша». Больше всего не могли ей простить неоконченного Библиотечного института.) И что уж там произошло, никто не знал – сплетни и версии были самые разнообразные, но Валентина умылась слезами и потеряла еженедельный приработок, а Елизавета Павловна перешла оптиком в лабораторию Кирилла Ивановича и всем на удивление воцарилась в сердце его строгой матери. Очень скоро они без неё уже не могли обходиться, так что естественно было ей собрать вещички и, наплевав на амурные намеки, переехать из общежития к ним, в связи с чем профсоюзные дамы злорадно и немедленно вычеркнули её из институтской очереди на комнату. Поздняя женитьба Кирилла Ивановича на Ларисе, его аспирантке, вызвала новые пересуды, но положение Елизаветы Павловны как домоправительницы ничуть не изменилось. С рождением Коленьки она окончательно ушла на пенсию и в институте почти и не появлялась.

Все забыла добрая Валентина, трясущейся рукой выгребает для Елизаветы Павловны из литровой банки домашний салат. Накормили, обласкали, утешили – непостижимым образом о завещании здесь уже знали.

Амалия потом вела под руку до самой проходной, тревожно заглядывая в лицо.

«Я тебе так скажу – Коленьке твоему ненаглядному сейчас девять, через три года на хрен ты ему будешь нужна. И куда ты денешься? Никого у тебя нет. И угла своего нет. А Лариска, сука, пусть денег тебе даст, купишь себе комнатенку. Если квартиру менять не хочет, пусть денег даст. Понятно тебе? Денег требуй, денег, а бумаг никаких не подписывай».

А подписать пришлось совсем просто. И никто особенно на неё не давил. Легко и как бы между прочим сделал это Виктор, протянул ей трепещущий листок, улыбнулся ласково: «Вы ведь не хотите нас покинуть, Елизавета Павловна. Тогда надо вот это подписать».

И подписала. А в дверях стояла Лариса, обняв Коленьку за плечи. И все улыбались.

В июле перевез Виктор, наконец, Елизавету Павловну с Коленькой на дачу и в тот же день вернулся в город – в квартире начинался грандиозный ремонт.

Эти полтора месяца до начала сентября были самым тихим и спокойным временем, хотя стояла жара, днем поднималось давление, и даже ночью нечем было дышать – в открытые окна несло дымом дальних горящих болот. Но Коленька был рядом, даже когда носился на велосипеде по поселку. И принадлежал только ей.

После ремонта квартира волшебным образом преобразилась, но стала чужой, непривычной. Узкая комната Елизаветы Павловны растворилась в большой столовой, которую аркой соединили с кухней, вообще везде были эти арки вместо старых честных дверей.

Спальное место определили Елизавете Павловне в столовой, на антресолях, куда подниматься надо было по узкой и скрипучей деревянной лестнице, а место в шкафу для её вещей оказалось в другом конце квартиры, рядом с кабинетом. В кабинете тоже появились антресоли, навесной потолок с яркими точечными лампочками, новые книжные полки и новый ковер, а со стен совершенно исчезли фотографии Кирилла Ивановича и его родителей. Старый портрет Кирилла Ивановича с «Доски почета» двадцатилетней давности нашла Елизавета Павловна среди своих бумаг, вставила в деревянную рамочку под стекло и повесила в Коленькиной комнате, но и портрет и рамочка через некоторое время тоже куда-то подевались, а на этом месте распахнула голубые океаны огромная карта мира. Сокрушенной Елизавете Павловне Коленька ничего объяснить не мог, а Лариса надменно подняв бровки отрезала: «Давайте уж интерьером в этом доме буду заниматься я».

Безжалостно вымела Лариса из всех углов бедные тени умерших, стихли их голоса и вздохи под глянцем евроремонта, так и старые кладбища заливают асфальтом, и расцветают там огнями новые бензоколонки, и проносят мимо стремительные колеса опрометчивую жизнь, отбросившую прочь лишние раздумья.

Довольно удачно продала Лариса несколько дедовских картин, а оставшиеся, как нарочно, перевесила в такие темные и невыгодные места, что разглядеть их стало совсем невозможно. На одной был молодой Кирюша, ясным и умным взглядом смотрел он из дедовского кресла, которое, кстати, первым улетело на помойку. На другой – рано умершая первая жена деда. Тонкая талия, широкополая шляпа, вьётся вдоль щеки пепельная прядь. Стоит у окна, на фоне шевелящейся белой занавески. И опять это спокойное лицо и ясный взгляд. «Теперь и лиц-то таких нету», – говорила Елизавета Павловна. Было еще несколько пейзажей с финскими домиками на взморье в Териоках. «Зеленогорск», – поясняла Елизавета Павловна для забывших. И не потому оставила Лариса эти картины, что нравились ей больше других, просто нужно было приберечь что-то и на черный день, для следующих великих распродаж. С той же целью были припрятаны подальше рисунки Репина и маленький холст Шагала.

В октябре у Коленьки случилась простуда, а потом начался жестокий бронхит, испугались астмы, повезли на дачу, на свежий воздух, тем более, первая четверть кончалась, наступили промозглые осенние каникулы, но на даче было хорошо, топчили печку, кололи дрова, гуляли.

Очень скоро бронхит действительно прошел, а Елизавета Павловна осталась жить на даче – в городской квартире поселилась на недолгое время Коленькина тетка, потом и тетка уехала, а Елизавета Павловна так и живет в потрескивающем по ночам доме, никто её в город не зовет. Похоже, оставили её сторожить. Окрестные дома все уже ограбили и не по одному разу, у соседа-актера даже мебель вывезли – среди бела дня подогнали машину, долго грузили, пересмеивались. По вечерам одно лишь её окно горит в поселке.

Елизавету Павловну нашли не сразу. Никто не догадался заглянуть в колодец, хотя к нему вели по тонкому снежку глубокие следы.

«Господи, зачем старуху-то убили», – недоумевали тетки в магазине. «Может, долго открывала или сказала что-нибудь не то. Кто знает». Крестились и вздыхали.

В том краю

1.

«...Дорогая моя, ну что без толку заламывать руки, не хочу я знать, кто живет в моей квартире и кому они её продали-перепродали, это не мой дом, успокойся и не ходи под моими окнами, не высматривай занавески, это даже не мой бывший дом – просто стены и потолок, довольно-таки низкий, не такой низкий как у тебя, конечно, но и не такой же роскошный – с алебастровыми грушами и виноградом – как в детстве на Кировной, а двери у нас вообще были ужасные, думаю, однако, что двери они уж точно сменили на какие-нибудь дубовые, филенчатые или с витражами. Нет, уж. Сердце моё не там, знать ничего не хочу, главное – Володенька в безопасности. А сердце моё с вами, дорогие мои. Знаю, что побуждения у тебя самые добрые, но обсуждать эту тему больше не желаю. Царствие Божье известно где... и Дом, по-видимому, там же.

Тетя Зина встретила нас замечательно, и хотя не было у меня сомнений по этому поводу, но когда я увидела её на вокзале, старенькую и трясущуюся, ищущую нас глазами, прижимающую к кружевной груди маленькие коричневые ручки – так похожа на маму, ты себе представить не можешь, как она теперь похожа на маму, – подумалось вдруг, что именно Домой я вернулась, что мой истинный Дом сейчас откроется мне. И я заплакала, совершенно не стесняясь.

«Деточки мои приехали, – повторяла тетя Зина, хватаясь за наши жуткие тюки и чемоданы, – деточки мои ненаглядные приехали!»

Я глянула на Николая, и показалось мне, что его глаза наполняются какой-то сумрачной влагой.

В Доме, как в детстве, были намыты полы, полосы вечернего солнца лежали на тряпочных, цветных половичках, и пахло пирогами. «Всё, больше плакать не буду», – сказала я себе и отщелкнула замки нашего главного чемодана.

Вот так мы и зажили у тети Зины.

Город, возможно, не самый привлекательный, просто большая, богатая, разросшаяся станица, но виделся он мне из Петербурга сквозь украшающую его мерцающую дымку далекого детского лета.

В первый же вечер Николай взял меня за руку – это был такой забытый, такой юношеский жест, – и мы пошли в Город, куда глаза глядят, рассматривали каждый дом, заглядывали в окна, слушали уличных музыкантов, даже подавали нищим, как везде, много нищих, и, конечно, эти знакомые приметы – ларьки с яркой дребеденью: бутылки, сигареты, шоколадки, турецкие шмотки, меняют видеокассеты, «Эммануэль», «Орхидея», «Рэмбо». В бывшем Доме книги автосалон, стоят «мерседесы», всё как у людей. Но мы почему-то не обращали внимания, как бы не видели, не раздражались. Бродили по незнакомым улицам до полной темноты, пока лиловые холмы, окружающие город, не превратились в черную извилистую грядку. Казалось, что ж, замедлим бег, поживем здесь, отдохнем от ударов Северной столицы, успокоим сердце в неторопливом чтении, в трудах и размышлениях, остановим мгновение, хотя оно и не очень прекрасно. В Центре мы обнаружили очаровательные особнячки с башенками, балконами, зеркальными окнами, увитыми плющом, волны осенних садов, террасы в осенних цветах, несколько церквей со свежими сияющими крестами, мрачноватый костел, старинный университет в чудесном парке – не такая уж провинция, есть даже органнй зал, приезжают, судя по афишам, иноземные органисты.

Наш дом, однако, стоит на окраине, и это именно и хорошо, отделен от улицы глухим забором, высокими воротами с козырьком, калитка узкая, с глазком и тремя засовами. На окна тетя Зина совсем недавно поставила решетки, но не простые, а с каким-то растительным извилистым узором, стиль модерн, уверяет, что это вполне красиво, но я этими решетками была потрясена поначалу более всего, теперь-то привыкли. За домом сад, в детстве он казался мне огромным, фантастическим, непроходимым, припоминается даже какой-то сводчатый грот с бьющим фонтанчиком внутри. Сейчас же это запущен-

ные беспорядочные заросли одичавшей малины, ежевики и кизила, среди которых возвышаются серые скелеты засохших яблонь, срубить-то некому. Так что на Николая у нас большие надежды. Вообще Николай начал постепенно оживать, сбрил наконец свою случайную клочковатую бороду, перебирает и читает свои конспекты, вчера сам погладил брюки и ходил в Университет, какие-то там получил обещания и после ужина, напевая, чинил старый ламповый приёмник. Между прочим, приёмник, молчавший лет двадцать, теперь работает. Каждый раз, когда Николай что-то чинит, прибывает, завинчивает, тетя Зина ходит вокруг, задыхаясь от восторга – «Боже мой, мужчина в доме». За садом раньше был непроходимый овраг, ни один человек, мне казалось, не добирался до его дна, но там были такие тропиночки, такие площадочки, по которым мы пробирались от дома к дому, где происходили самые важные события, тайные встречи, обжигающие прикосновения, стремительный поцелуй и бег по склону вверх, где таились «секреты» замысловатых композиций, помнишь, как устраивался «секрет» – вырывалась ямка, очень хорошо получалось между корней дерева, дно тщательно вычищалось и выстилалось листьями, мог подойти лоскуток ткани, бархата, например, или серебрянная бумажка от шоколадки, а затем на этом фоне выкладывались лучшие морские камешки, черепки синей чашки, сломанная брошка, цветные стеклышки, перепелиное яичко, блестящие военные пуговицы, сухие ломкие цветы бессмертников – это уж ваша фантазия – наконец, поверх всего помещался осколок прозрачного стекла, и всё это засыпалось песком, чтобы потом можно было приходиться, разрывать руками заветный холмик, протирать пальцем окошко в запорошенном стекле, любоваться и снова засыпать. «Секрет» показывали только лучшей подруге или верному надежному другу. Так вот теперь там возвышается бетонная стена, отделяя сад от буйного оврага и подмяв под собой все наши тропиночки, поцелуи и секреты. А поверх стены, можешь мне не верить, идет колючая проволока (идет ли по ней эл.ток, не знаю, врать не буду). Вся улица, оказывается, скинулась и выстроила эту бетонную стену. «Так все-таки спокойнее», –

говорит тетя Зина. Кстати, тетя Зина до сих пор работает в своей библиотеке, можешь представить, какую она наработала там пенсию. На что будем жить мы, не представляю, пока тратим остатки валюты (с обменом нет проблем – на каждом углу менялы). Думаю, что в школу-то устроюсь, если не биологию, то английский, в этом здесь большая нужда, многие богатеи хотят детей образовывать, так что, может быть, буду просить тебя помочь мне со всякими пособиями, кассетами и т. д., чем руки над нами ломать и слезы бессмысленные лить, будешь мне помогать. Лишь бы пришел в себя Николай, а там мы горы свернем... »

2.

«Прости, моя дорогая, что не сразу тебе ответила, но не по ленности, честное слово, а просто за день так устаю, что к ночи, когда наступает единственное время для разговора с тобой, нет уже сил ни физических, ни моральных.

Со школой пока ничего не получается, во-первых, середина учебного года, а во-вторых, никаких распростертых объятий навстречу мне нигде я не обнаруживала, наоборот, смотрели как на безумную – им самим не платят зарплату уже много месяцев, почему не уходят – отдельное социологическое исследование, выживают преимущественно всякими неправдами, в основном сдают помещения. И вот хождения мои все-таки принесли пользу. Одна из школ сдала спортзал и несколько классов охранному предприятию, и я теперь там по утрам убираю. Что это за охранное предприятие, и кого они охраняют, понять невозможно, все помещения забиты коробками и ящиками, к которым прикасаться не велено (может, оружие?). Это место досталось мне по исключительному везению, а возможно, им нужна была именно такая, как я – чужая, потому что жаждущих вокруг очень много, я каждое утро мимо таких прохожу, то есть не прохожу, а прорываю плотную колючую сеть завистливых взглядов учителей – мне ведь платят! Каждую неделю! А еще я убираю один маленький магазинчик, но уже

вечером, после закрытия. И еще! У меня два частных урока английского с очень славными малышами – тетя Зина устроила. И хотя знаний моих на этих ребят достаточно, но к урокам я готовлюсь необыкновенно тщательно, я ведь раньше с детьми никогда дела не имела, а дети это такие особые люди, должна тебе признаться, я ими искренне увлечена. Только сейчас понимаю, как много я не дала Володеньке, как виновата перед ним (это только тебе я пишу эти слова, язык не повернется их выговорить Николаю). Когда Володька рос, я занята была своей дурацкой наукой, Николай всегда говорил: «Ваша наука – это клуб, у вас там в лаборатории происходит обычная клубная жизнь». Так что видишь, я уже готова признать, что это был такой образ жизни. «Наука как образ жизни» – хорошее название для статьи. Дарю тебе, ты ведь теперь социолог. Действительно, у нас было своё общество, все знали, кто чего стоит, гамбургский счет был очень строгий, ученые степени совершенно не имели значения, по всему миру велся счет, и если ты побеждал, пусть только семнадцать человек во всем мире понастоящему могли это оценить, это была твоя истинная победа, тебя поздравляли, тобой восхищались, приглашали на конгрессы, заказывали доклады, а вокруг всего этого и поездки, и награды, и наряды, и беседы, и романы, конечно. (Какая-то *Элеги Мас-нэ* у меня получается.) Так что Николай, возможно, был слегка прав, когда считал, что все эти статьи, доклады и симпозиумы в некотором роде побочный и необязательный продукт такого образа жизни и слабое его оправдание. Он-то был всегда одиночкой, себя и свою науку принимал всерьёз, слово «менеджер» в его устах звучало ругательством, сейчас же процветают те, кто варит околонучную похлебку совместно с иностранцами. Николай всё это делать не желает. Можно им гордиться по этому поводу, но чаще получается злиться на него за полное неумение думать о своих близких и о жизни обывденной.

У нас стихла, наконец, непривычная осенняя жара, и близится зима. Здесь всего два времени года – лето и зима. Зима длится месяца два, не больше. Задули сухие ставропольские ветры. Ветер дует непрерывно три или шесть, или девять, а иногда и двенадцать дней подряд, потом наступает некото-

рое затишье, и снова вскипает пыльная буря. В такие дни к нам залетает, то есть в прямом смысле её заносит к нам ветер, одинокая подруга тети Зины, словно высушенная этим ветром старушка, бывшая чтица областной филармонии Ксения Матвеевна. У неё странный вид депрессии – в ветренную погоду она не может быть одна.

Тетя Зина последнее время всё болеет – хроническое воспаление легких, артрит, диабет, печень, гипертония, – всё сразу навалилось на неё после нашего приезда, а может быть, она просто расслабилась, почувствовала, что можно на кого-то переложить часть забот. Так что хозяйство теперь на мне, а ведь это не городская квартира, и топить печи надо самим, дрова припасены еще с августа. Готовить тетя Зина просит на плите, поскольку газ у нас привозной, в больших баллонах. Газ тетя Зина очень экономит. Электричество тоже стало чрезвычайно ненадежное, и ввечеру бродим по дому со свечами. Нашли и настроили керосиновую лампу, но керосин не всегда бывает в городе. Хуже, что внезапно вырубается телевизор, и если это случается во время «Вестей», тетя Зина топает ногами и чуть не плачет – давление поднимается моментально. Впрочем, давление у неё поднимается, если и не отключают электричество, а «Вести» и «Время» идут до конца, но при этом голос у диктора прерывается от волнения, а лицо меняется от экстренного сообщения по телефону. Кроме того, после передач у них начинаются ужасные споры с Николаем. Наша тетя Зина вовсе не бессловесная старушка, не замшелая пенсионерка, никаким коммунистическим бредням, вроде пресловутой колбасы за два двадцать, не подвержена, но и она заражена усталостью и злостью этого города (или не только этого) и вдруг начинает кричать на Николая: «Ну что твои реформаторы тебе дали, квартиру в Ленинграде отняли?» (она упорно не желает произносить Петербург, хотя, когда Ленинград был Ленинградом, она бывало всё твердила, что восемь поколений наших предков похоронены именно в Петербурге). Николай бледнеет, задыхается, глаз его дергается. Меня они уже не слышат. «Это несчастный случай. Вы не смеете», – кричит он, отталкивая меня. «Ах, скажите, пожалуйста, несчаст-

ный случай. Что-то мне некоторые параллели на ум приходят. Знаешь, сколько таких большевиков я встречала в лагере. И каждый уверял, что вот с ним, только с ним произошел несчастный случай». Николай бессознательными скрюченными пальцами тянет скатерть на себя, сахарница опрокидывается на бок, высыпается песок, качается ваза с печеньем, горячий чай льётся ему на брюки, и он кричит уже от ожога, вскакивает, несется в нашу комнату, по дороге хлопнув дверью кухни так, что звенят стекла в буфете и долго еще трепещут жалкие бумажные салфеточки на подоконнике. «Не знала, что твой муж такой идиот», – спокойно говорит тетя Зина и с медленным достоинством ковыляет в свою спальню. Я остаюсь одна прибирать дымящееся поле битвы, мою посуду, вытираю пол, закладываю в печь растопку на завтрашнее утро, закрываю все двери, проверяю все засовы и, когда доползаю, наконец, до кровати, с подушки поднимается всклокоченная голова Николая. «Старая дура, – шипит голова, – старая дура». Возможно, это относится и ко мне, но я не отвечаю, молча накручиваю дребезжащий будильник, мне вставать в шесть, главное, не сказать ни слова. «Это надо каменное сердце иметь, чтобы вонзить жало в самое больное, – он явно путается в метафорах, – ядовитое, злобное, каменное сердце. И ты такая же. Господи, на старости лет я живу с двумя каменными бабами» «Но эти каменные бабы тебя кормят и за тобой подтирают», – очень хочется сказать, но я молчу. Николай прыжком поворачивается ко мне спиной, накрывается с головой. По-видимому в каждой семье должна быть только одна истеричка, и на эту роль назначен наш гениальный Коля, а я почему-то служу уборщицей и выгребаю грязь за своими охранниками после их ночных гуляний, а он бы не смог, с голоду бы умер, а не смог».

3.

« Спасибо, что не забываешь меня, радость моя, когда увидела конверт в руках у тети Зины, выхватила его с такой поспешностью, что оторопевшая тетюшка высказала предполо-

жение о любовном происхождении письмеца и пообещала не говорить Николаю.

Ничего особенно радостного за это время не произошло. Николай изредка навещается в Университет, но каждый раз возвращается всё более угрюмый, и я не задаю никаких вопросов. Итак, всё ясно. Физика его никому здесь не нужна и математика тоже. Частные уроки он найти не может, потому что никому здесь не известен, учеников расхватывают местные преподаватели, даже давал объявление в газету, но позвонил только один сумасшедший, который хотел подучить физику, чтобы оформить несколько мировых открытий, и сгинул, Николай говорит, что по голосу ему не менее шестидесяти. Володька, паразит, не пишет и не звонит, один звонок был за всё время, правда, у нас очень долго был отключён телефон – перерубили кабель какие-то пришлые строители, строят неподалеку от нас фантастический замок, с флюгерами, бойницами, зубчатыми башнями и, конечно, с арочными окнами, какой «новый русский» не любит арочных окон. Выстроили уже целую улицу этих замков, являя населению разные стадии архитектурного безумия. Недавно проезжая в автобусе мимо такого домика, слышу за спиной разговор: «Ну, ничего, когда *наши* придут, камня на камне не оставят». Оглянулась. Два парня студенческого вида. Похоже, кто такие *наши*, мальчики знают. Близость войны ощущается постоянно. Охраняют больницы, охраняют школы, на въезде в город образуются чудовищные пробки – проверяют каждый автомобиль, и всё равно оружие, кажется, есть у всех (кроме нас). На первой перемене прохожу мимо кучки малышей, один говорит другому: «Ты пистолет пока не продавай, я, может, возьму», утешаю себя соображением, что речь, по всей видимости, идет о водяном пистолете. Вчера вечером почти рядом с домом стреляли, били железным по железу и страшно кричали. Николай кинулся в сени, я с бульдожьей хваткой станичной жены повисла на нем, тетя Зина, однако, даже головы не повернула, лишь, уставясь в телевизор, произнесла: «Что вы всполошились? Ну постреливают у нас...» и переменяла позу. В критические минуты она любит поражать нас несвойствен-

ной её возрасту невозмутимостью, а, возможно, это просто лагерная закалка. Однако, когда мы где-нибудь задерживаемся и возвращаемся домой после наступления темноты – вот недавно случайно попали на организованный концерт – она с дергающимся личиком выскакивает на крыльцо: «Где вас черти носят, неужели нельзя было заранее предупредить».

Мы живем очень уединённо, пребываем в раздраженном ожидании неизвестно чего, не можем примириться с мыслью, что это последнее наше пристанище, и нигде нас больше не ждут, хуже того – давеча Николай произнес необъяснимую, но созвучную моим мыслям фразу: «Кажется, дорогая моя, мы попали в ловушку...» Дело в том, что тетя Зина, несмотря на ссоры и споры, искренне счастлива нашим присутствием и не перестает твердить: «Господь услышал мои молитвы, есть теперь кому меня похоронить, деток милых послал на утешение старости». Выходит всё, что с нами произошло, это для утешения старости тети Зины. «Дом еще очень крепкий, и в нашем городе люди живут. Поживете, обвыкнетесь, с интеллигентными людьми познакомитесь». Но нет, не хотят знакомиться с нами интеллигентные люди этого города, где-то, видимо, они есть, но нет круга общения, и чужие мы здесь, да и тетя Зина чужая, но не хочет признаться ни себе, ни нам, и никогда мы не стали бы своими, даже если бы приехали сюда в молодости. Так я чувствую. Нас окружают бывшие станичники, хуторяне, переселившиеся в город, замкнутые, недоверчивые, самоуверенные, косноязычные, не читавшие никаких книг, подозрительные, ненавидящие городских, нелюбящие животных. Вот, ты, психолог объясни, пожалуйста, как можно убивать поросенка, а потом есть его, если до того он жил в семье, был членом семьи, и какой след оставляют эти «домашние убийства» в отношениях между людьми. Не этот ли жуткий след проступает, как пятна крови на руках убийцы, в бесконечных историях, которые случаются на нашей окраине. Вот такой случай – сильно пьянствующий муж периодически избивает свою жену, но когда он поднял руку на малолетнюю дочь, жена проломила ему голову чугунным ухватом. Похоронили. Через некоторое время является свекор и ду-

шит её сорванной по дороге бельевой веревкой. Тоже похоронили. Осталось двое детей. Или еще. Мать не пускает дочь на дискотеку. Дочь бьет её столовым ножом прямо в селезёнку, перешагивает через упавшее тело, ранит вбежавшего отца, отправляется на дискотеку. И всё совершенно по соседству с нами, на нашей улице, а то что кого-то убили в Городе, похитили ребенка из детского сада, выбросили в одних носках из машины, а машину бесследно угнали, подожгли дом, изнасиловали – это мы слышим постоянно. Знаю, что жутких историй достаточно и у вас в Петербурге, но здесь вблизи природы, на фоне её великолепия концентрация этих страшилок особенно велика, и сильно они пронзают сердце.

Прошу тебя, напиши поподробнее о Володеньке, ты знаешь, где его искать, не посчитай за труд, сходи к нему...»

4.

«...У нас выпал снег. Хорошо бы долежал до Нового года, но это вряд ли, уже тает, а если начнется ветер, то всю белизну засыпет пылью. Предновогодняя суета уже началась в Городе, но мы в ней как бы не участвуем. Я не ищу подарки – нет денег, нет настроения. Для тети Зины у меня припрятан новый мамин плед, а для Николая надо бы найти крепкие ботинки, но цены дикие, в связи с чем вчера по большому благу я была проведена Ксенией Матвеевной в хранилище «second-hand» где-то за Центральным вокзалом. Пробирались мы туда по старым железнодорожным путям, перелезали через стоящие составы, в некоторых живут беженцы, висит бельё, хнычут дети. Оказались, наконец, перед огромным ангаром. Несколько раз обежали его, ища вход, пока не различили заветную дверцу в стене. Ксения Матвеевна прошелестела какой-то пароль, мы были впущены внутрь бомжеватым смотрителем и немедленно задохнулись в мощной волне жуткого запаха картофельной гнили. Бывшая овощебаза. Пол был, однако, тщательно подметён. В центре зала возвышалась невероятных размеров гора тусклого тряпья. Был ветер. Пона-

чалу ощущение полного безлюдья. Присмотревшись, замечаем на куче, там и сям слабое шевеление – женщины в респираторах, на ногах полиэтиленовые пакеты, на руках нитяные перчатки. Сосредоточенно роют. Чем интенсивнее роют, тем глубже проваливаются внутрь, от некоторых видны одни макушки. Ксения Матвеевна протягивает мне старые перчатки. Мы тоже начинаем рыть. Ничего путного не попадает, все эти шмотки много раз перелопачены. Круговорот тряпья в природе. Однако, все возбуждены предельно, охвачены идиотическим азартом, изредка из нутра кучи несутся вскрики разочарования и неприхотливая ругань. Идет междусобойный торг и обмен – летают над головой, взмахивая рукавами, свитера и кофты, пиджаки и блузки; игриво извиваются в воздухе юбки и шарфы. Слышим историю – на той неделе «одна» здесь вырыла норковую шубу, а любая вещь – любая! – стоит 5 (пять) тысяч. И еще история – старушка в кармане жамканного плаща нашла тыщу долларов, так что щупайте карманы, сигареты уж точно найдете. Но я нахожу одни лишь застиранные футболки. Появляются новенькие – две очень большие, громоздкие тётки, топчутся внизу, пытаются вползти на кучу, но соскальзывают и грустно начинают что-то ковырять сбоку. Мы великодушно сбрасываем им сверху нарытый большой размер. Рядом в довольно глубокой лунке сидит немолодая актриса, просит кидать ей яркое. Говорят, что под нами, на чудовищной глубине лежат нетронутые вещи. До этой глубины никто еще не докапывался. Усилием воли смиряю свой пыл и с большим трудом спускаюсь вниз. Мне нужна обувь. К счастью гора обуви значительно меньше и ниже (но омерзительнее). И вот ведь какое везение – нахожу очень скоро почти новые ботинки – огромные, крепкие, на рифленной подошве, «ботинки американского полицейского», – уверяет Ксения Матвеевна. «Точно, они!» – подтверждает угрюмо смотритель этих несметных сокровищ, пересчитывая наши денежки. Я всё-таки и для себя нашла светлую блузочку с оторванными пуговицам, а Ксения Матвеевна ухватила такую обильную добычу – пестренький буклированный пиджак с отпоротой подкладкой, подходящего цвета юбка

с дырой по шву и свитер ангорский бирюзового цвета с еле заметным следом от утюга, который она знает как вывести.

Обратный путь наш снова проходит мимо вагонов с беженцами, но теперь мне кажется, что на нас смотрят с явным недружелюбием, презрением и угрозой. Знают ли они, что в этом ангаре. Мелькает мысль – возможно эти вещи для них, такая гуманитарная помощь, а распродают потихоньку своим. Чушь, конечно, но я чувствую их взгляды и едва сдерживаю шаг, чтобы не побежать. Ирреальный страх нападает на меня, я уже несусь, перескакивая через шпалы, Ксения Матвеевна не поспевает за мной. Мы ведь тоже беженцы. Откуда? И куда? Навстречу друг другу мчатся обезумевшие беженцы. А ты, родимая Птица-Тройка, куда несешься, выпучив глаза? Дай ответ! Замогильным голосом отвечает: «Ждите ответа...»

Заставляю себя оглянуться. Боже мой, я бросила Ксению Матвеевну, её даже не видно. Поворачиваю назад и натякаюсь на черную толстую старуху. Осторожно шаркая и тяжело переваливаясь, несет она трехлитровую банку молока.

– Что с тобой, доченька? Эдак ты собьешь меня, видишь молоко несущую внучонку. Хорошее молоко, со станицы.

– Ничего, деточка, – говорит добрая старуха, обнимая свою банку, – в ту войну хуже было. (Она принимает меня за свою.) Жить-то все равно надо.

Подходит рассерженная Ксения Матвеевна, крутит пальцем у виска.

Писала ли тебе, что ждем в гости Костериных. Юра уже устроил себе командировку в здешний университет, хочет и для Светланы что-нибудь придумать, хотя бы дорогу оплатили. Билеты же снова подорожали. Хорошо бы они вместе прилетели, так грустно здесь без друзей. Прошлая жизнь кажется отсюда, из этого времени, невыносимым раем именно из-за общения, (поневоле всплакнешь и скажешь - роскошь!) Тяжелее всего, наверное, Николаю, ни с кем он не свел знакомства, единственный, кто прибил к нему это такой неряшливый, маленький человечек – вечно пьян, всклокочен и робок – как ни странно, доцент со здешней кафедры полупроводников, по уверению Николая, оригинальный и серьезный мыслитель.

К нам он заходит не так уж часто, но уж сидит на кухне допоздна, смотрит на Николая влюбленно, дожидается, когда я уйду спать, и тогда уж они начинают оглушительно шептаться и сладостно выпивать. Зовут этого доцента Леонид Борисович, и я давно уже его тихо ненавижу, и он это чувствует, при звуке моего голоса пугается, вздрагивает, прячет руки в обвисшие карманы, хотя я ему улыбаюсь и улыбаюсь, и ставлю на стол закуски, и всячески их обхаживаю. Но Николай с ним пьёт! Пьёт и мрачнеет, потом угрожающе веселеет. Говорят они только о науке, о политике они не говорят. Гляну на Николая – чужой и безумный человек. На следующий день мучается похмельем, лежит, никуда не идет, раздраженно слоняется по дому, сидит, пьёт медленно крепкий чай, упершись остановившимся взглядом в бетонную стену за окном. «Вот повешусь на этой стене. Какие крюки удобные. Так уж и быть, не буду вам дом пачкать».

Спасибо тебе – пришло письмо от Володеньки, но такое уж формальное, дальше некуда. Почему ты ни слова не написала о нем, как он выглядит на твой сторонний взгляд, чем он занимается (про учебу уже и не спрашиваю), на что живет – из его письма ничего не понятно. Знаешь ли, ведь мы с Николаем почти не говорим о Володе, очень редко произносим его имя. Какой это ужас – тайные мысли близкого человека, как неостановимо нарастает наша чуждость, лежу с ним рядом иногда и просто коченею от тоски, от невозможности помочь ему и себе, от собственного бессилия хочется завывать. Прости, что пишу так, никому кроме тебя не жалуюсь, дала себе слово хранить смайл, но натужный мой оптимизм истекает по капле. Кроме всего прочего, мне кажется, у тети Зины был маленький инсульт. Недели две назад привезли её из библиотеки с помутившимся зором и заплетающимся языком, но очень скоро речь полностью восстановилась, а движения стали даже излишне быстры. С трудом удерживаю её дома, всё рвется в свою библиотеку, приют нищих, но взыскующих Слова. Это ведь единственное бесплатное место в городе, где всякий может лизнуть соль литературной художественности или вдоволь напитаться газетной требухой, а главное, совершенно

даром – свет, тепло и спокойствие, так что работа для тети Зины служение и миссия. И у нас свои выгоды – мы первые читаем все толстые журналы, хотя в них так всё далеко от реальной жизни. Или, наоборот, ирреальна и призрачна наша жизнь, к которой невозможно привыкнуть и, тем не менее, привыкаем, как привыкли все к войне, заказным убийствам, несправедливостям, как привыкли все работать как бы задаром, в государственных учреждениях так и не платят зарплату, при этом сколько получают директора и близкие к ним – самая закрытая тайна. Пенсии тоже задерживают. Захожу на почту купить новогодние открытки, попадаю в толпу понурых старушек, почему-то стоят в очереди одни старушки, ждут – вдруг кто-нибудь придет отправлять деньги. «Вы отправлять?» – со слабой надеждой обращаются ко мне сморщенные личики.

Одним ухом слушаю утром передачу – беседа с представителем Президента (не помню уж где) и одновременно Председателем какого-то Фонда (социального), плетет что-то давно пережеванное и неинтересное, речь убогая, плоская, примитивная, в каждом предложении употребляет сочетание «очень прекрасно», что уж у него там очень прекрасного, дома для престарелых, кажется. Но потом в прямом эфире ему задают вопросы. «Скажите, можно ли прожить на пенсию в 140 тысяч?» Герой передачи отвечает на вопрос полным ответом, ровным голосом: «На пенсию в 140 тысяч прожить нельзя», но подумав, все-таки добавляет: «Надеюсь вам помогают дети или внуки». А мы вот такие плохие дети, ничем тете Зине помочь не можем, даже, напротив, поедаем её еще советские запасы крупы и новые соленья, которые я уже, стыдно признаюсь, начинаю припрятывать от доцента-алкоголика – нужно же что-то оставить для новогоднего стола. Кстати, если надумаешь мне писать, можешь отправить письмо с Костериными, вроде бы у них всё получается. Николай вчера разговаривал по телефону с Юркой. Почему-то он звонит ему как бы тайком, когда меня нет дома, правда, я тебе тоже пишу преимущественно ночью, когда он спит.

Заранее поздравляю тебя с Новым годом, вот уж напишу тебе как-нибудь в другой раз что-нибудь более забавное, а ты,

пожалуйста, со всей подробностью изобрази мне свою жизнь и что делается в институте, как я знаю от Светланы, ты работаешь два дня в неделю, а что остальные, кто как приспособился, кто получил гранты, кто слинял в богатые края. Считай, что я здесь в ссылке и моё существование нужно разнообразить длинными, содержательными письмами».

5.

«Дорогая моя, ты ангел, но зачем такие траты, ты просто сошла с ума. Спасибо тебе, ненаглядная моя, за чудесное письмо, поздравления и за эти роскошные новогодние подарки. Все-таки есть в России такая традиция – дружить, и это самая яркая радость нашей жизни.

Юрка со Светланой прятали твои подарки (как, впрочем, и свои) до самого Нового года и выложили твою огромную коробку под елочку, а елочка по высоте не более пятой части коробки, но зато настоящая, они её провезли под видом спального мешка, то есть обернутую в спальный мешок, через все кордоны и проверки. Надо сказать, что купить елку у нас под силу только крупным толстосумам, остальные довольствуются сосновыми ветками, или так уж просто сидят безо всего, многим не до праздника – мальчики их в Чечне. Чечня ведь совсем рядом, и жители пугают друг друга близящимися террористическими актами к Новому году и православному Рождеству. Но мы встретили Новый Год замечательно, получился просто грандиозный праздник. Во-первых, Юра со Светланой уже сами по себе праздник, они явились такие красивые, ослепительные, Светка в лайковом пальто немыслимой мягкости и красы, Юрка тоже, однако, в кожаной куртке, но не какой-нибудь простой и пошлой, а очень дорогой и элегантной, шведского разлива, что могут оценить, к сожалению, только редкие знатоки. Во-вторых, стол ломился, сама знаешь от чего, от яств тобой присланных, то есть от осетрины, сияющей единственной свежестью, ароматного слезоточивого к ней хрена, красной икры, маслин и грибов, от сбереженных

мною маринадов и солений, от принесенных Ксенией Матвеевной пирогов типа растегай-кулебяка, от вкуснейших салатов, приготовленных тетей Зиной, от накрученных Светкой нежнейших тортов, а также от французского коньяка, который ловким, точным движением поставил в центр стола Леонид Борисович. Он пришел абсолютно трезвый, в чистом костюме, в светлой рубашке, с прямой спиной – дорогой коньяк сообщает человеку уверенность в себе. А я была в присланном тобой платье стройна, легкомысленна и практически неотразима, что накладывало тень разочарования на ухоженное личико Светки, которая, повидимому, несла нам, изгнанникам участие и поддержку и не знала теперь, куда эти дары пристроить или в какой момент их вообще уместно выложить. Николай был оживлен и даже болтлив, пел романсы, целовал ручки дамам. Леонид Борисович оказался неожиданным остроумцем, узнав, что Светка биолог, совершенно заморочил ей голову историей случайного открытия Флемингом пеницилина в процессе отравления плесенью старой, надоевшей и больной жены. «Она уже совсем ослабела, когда он ей в кашу плесень начал подмешивать. И вдруг, о чудо, стала здороветь, здороветь, румянец появился, совсем помолодела. Флеминг еще двух жен завёл, чтобы, значит, результаты сопоставлять... Так был открыт пеницилин». Потом Ксения Матвеевна, зардевшись, встала из-за стола, отодвинула стул жестом молодого Ленина (помнишь в торце университетского коридора висела картина – Ленин сдает экстерном государственный экзамен – куда она теперь подевалась, интересно) и сказала, что сейчас нам «почитает». Я внутренне вся задрожала, кто знает, как наши столичные гости отнесутся к такому культурному развлечению, не сочтут ли пренебрежительно за провинциальную самодеятельность. Но Ксения Матвеевна читала замечательно просто, спокойно, с мыслью – отрывки из «Темных аллей», из «Митиной любви», читала Чехова (перечти, кстати, рассказ «Супруга», там всё дело в двадцати пяти рублях, которые едва мелькают в середине, но зато гениально являются в конце.) «Еще, пожалуйста,» – просили все. Николай и Юрка сидели с такими хорошими, человеческими лица-

ми. Однако «пили по-обыкновенному, то есть много». Наверное, от французского коньяка на меня напала такая сильная умиленность и любовь к ближним (тоже и к дальним), что страшным усилием сдерживала себя, чтобы не охватить всех за плечи и не пожелать каждому в отдельности и всем вместе чего-то хорошего, новогоднего, неопределенного, вроде «неба в алмазах». Таким образом, новогодняя ночь удалась, и если бы не последующие события (ах, если бы знать, если бы знать...), о которых сейчас писать не буду (вообще-то всё кончилось нормально), потому что хочу успеть отправить это письмо с Костеринными, если бы не волнения второго января, можно было бы посчитать, что Новый Год явил нам светлое предзнаменование на будущее, намёк на перемену участи, побуждение к новым надеждам на какие-то призрачные гранты, о которых мужчины шептались, выходя курить на холодную веранду. Надо сказать, что перед самым Новым годом Юра при содействии Л.Б. устраивал здесь в Университете семинар о своей работе, совместной с Американским институтом физики. Из чистого и отвратительного пижонства на оповещающем плакате название доклада значилось на английском: «Spatial structure of electromagnetic field in FEL-amplifier», Юркины титулы далее, однако, шли на русском. Плакат этот вызвал у меня жуткое возмущение, поддержанное, но в мягкой манере Леонидом Борисовичем: «Не надо нас унижать больше, чем мы уже унижены». Юрка же скривил свою толстую красивую морду и объяснил, что доклад он писал сразу на английском для Международной конференции в Орландо и так вот до сих пор не удосужился перевести: «А что разве здесь что-нибудь непонятно? Название же очень простое». В общем, плакат я лично переписала. Доклад его снискал большой успех, было много вопросов и вполне по делу, но основная публика совершенно очаровалась рассказами Юрки о его путешествии по Штатам, слайдами Ниагарского водопада, нью-йоркской толпы и силуэтом самого докладчика на фоне пунцового заката над отрогами Большого Каньона. После доклада Юрия Сергеевича окружила плотная толпа профессорско-преподавательских лиц – очень похожи на наших, но более как бы присыпанные пы-

лю – с горящими глазами внимали его подробным поучениям как оформлять программы и получать гранты. В конце своего пространного ликбеза он царственным взмахом руки передал сияющему Л.Б. какие-то анкеты и образцы программ, а также щедро роздал свои визитные карточки. Светлана, конечно, тоже присутствовала и в таком дивном парижском костюме, что отдельные юные аспиранты пялились на неё, не переставая. Помыслить невозможно, как она такая восхитительная живет на руинах нашего института среди лопнувших труб, заколоченных навсегда туалетов, неработающих лифтов – электричества-то нет, – как поднимается с фонариком в руке (это её рассказы) к себе в лабораторию на одиннадцатый этаж по абсолютно темной лестнице, усеянной ровным слоем кошачьих экскрементов – кошки расплодились в темноте в невероятном количестве, главного кота-производителя кличут Савелий, что по странности совпадает с именем Генерального директора. Николай во все время семинара сидел с непроницаемым, но думающим лицом, мне-то известно, что вся теоретическая основа Юркиных расчетов, да и сами расчеты принадлежат Николаю, который и получил в конце доклада мимолетную благодарность, но в авторы включен не был. Да ладно уж, не будем жмотничать, «ничуть не жалко», – сказал Николай на моё бестактное упоминание этого факта, и я устыдилась. Всё-таки я люблю их, несмотря на их детское тщеславие, и ведь ради нас они сюда приехали – какая Юрке выгода делать доклад в занюханной провинции, когда его почитают в Париже, Токио и Орландо. Зависть, одна лишь зависть – лучше уж я сама признаюсь, чем ты ткнешь в меня пальцем. Так что не будем больше ронять слезы и достоинство. Жду твоих рассудительных замечаний по этому поводу.

Завтра выхожу на работу к своим охранникам, я теперь выполняю там некоторые секретарские обязанности. Они купили компьютер и впали в тихий столбняк, увидев, что я умею с ним обращаться (факт своего кандидатства попрежнему скрываю). Набираю им договора и разобралась в бухгалтерской программе. Получила даже премию. Сунули какие-то денежки в конверте. Кланялась и благодарила».

«Пишу тебе вслед за предыдущим письмом, которое ушло с Костеринными. Причины этого отдельного письма невразумительны, но ты поймешь. Хотелось как бы остаться с тобой наедине и описать события второго января без лишних посторонних глаз. Конечно, вряд ли Светлана с Юркой будут распечатывать мое письмо к тебе. Хотела написать – до этого они еще не дошли. Но тут положила руку на сердце и признаюсь – совершенно не исключаю, ежели бы Юрка знал, что в письме есть нечто для него важное, решающее или хотя бы просто любопытное, то и прочел бы, расклеил бы над паром и прочел. Без Светланы, конечно, даже перед женой хочет человек выглядеть совершенней, чем есть. Хотя, ну какой это грех – читать чужие письма, когда можно хитрым таким способом заставить друга работать на себя и результаты этого труда использовать со столь очевидной прибылью. Ну да, ты права, я стала очень злая. Злость не рассасывается еще и потому, что все время их пребывания здесь я чувствовала слабый, едва заметный запах небрежного к себе отношения, а также их старания отделить, оттеснить, оттереть меня от Николая преувеличенным вниманием к нему и неумеренными восхвалениями его таланта. Просто неприличные потоки славословий бурлили вокруг него. «А нет ли здесь какого-либо подвоха?» – должна была бы подумать я и, придушив всё нарастающий новый комплекс уборщицы, ввязаться в жестокую схватку. Я же глупой обиженной курицей сидела на своем шестке. Однако, как писали раньше, – «смутное беспокойство овладело мной».

Да, я обещала написать тебе про второе января. Отоспавшийся Юрий Сергеевич жестом не то чтобы широким, скорее узким пригласил нас с Николаем в ресторан, потом с неохотной вялой улыбкой позвал и Л.Б., поскольку последний от дома нашего не отходил. И вот мы нарядные и всё еще новогодние отправились выбирать лучший ресторан и нашим гидом оказался очень даже пригодившийся в этих поисках Л.Б. В общем, очутились мы вскорости в темном респектабельном и пустынном зале овальной формы, площадью не менее вело-

трека, отдельные уютные точки которого были обозначены приземистыми пузатыми светильниками. Столик мы выбрали вдали от оркестрового возвышения, на котором утомленно двигались ленивые оркестранты, поглядывали на нас скептически, настраивали свои инструменты, потом все очень быстро куда-то сгнули – дожидаться настоящей публики, по-видимому.

Настоящая публика довольно медленно втекала в зал и представляла собой не перестающую меня удивлять, неизвестно откуда взявшуюся новую породу бритоголовых и пустоглазых молодых людей, которую мы, то есть «новые нищие», редко видим в столь опасной близости. Спутницы этих мутантов, однако, были чудо как хороши – длинные, колеблющиеся в музыкальных сумерках, изящные как японские водоросли (и с той же сложностью мыслительной деятельности).

Еда, как и следовало ожидать, оказалась очень дорогой, невкусной и скудной; официант – расслаблен, небрежен, нескрываемо нагл. Беседа шла натужными толчками, и мальчики наши на этой чужой планете выглядели пожухлыми старичками. Одна лишь Светка, как молодая, отрешенно царила в собственном лунном сиянии, источаемом жемчужной кожей открытой шеи и обнаженных плеч. (Поверишь ли, только здесь я сообразила, что она сделала подтяжку.) Юрка, желая угодить дебилу-официанту, во всю сленговал якобы в молодежной манере (идиот!), рассматривая голубоватое глянцево-меню, огромное, но бледное, как контурная карта.

«О! Блин! Я балдею, щас оторвемся пиплы...» (так бы и убила его). Словом, всё это выглядело крайне странно и нелепо. И вся затея, задуманная из побуждений благородных для освобождения нас со Светланой от хлопотанья на кухне, ну и для выхода в свет, конечно, мне не нравилась с самого начала. Не буду, однако, перебивать себя.

Вечер шел своим скучным чередом, Николай с Леонидом Борисовичем медленно наливались водкой, которую экономный Л.Б. запасливо пронес в старом вместительном портфеле, и в том же темпе разгоралась заря оживления на их лицах, нездоровое сверкание вспыхивало в глазах, а жесты приобре-

ли естественный размах и нерасчетливость, так что кто-то из них чуть не смахнул со стола остатки юркиного коньяка в унылом ресторанном графинчике. Я едва успела подхватить раскачавшийся графинчик, закричала на Николая, кажется, даже стала отнимать водку. Юрка ласково обнял меня, утащил танцевать, успокаивать. Он старомодно прижимал меня себе, и мы плавно качались среди интенсивно трясущихся молодых тел, Потом мужчины сидели за нашим столиком, обнявшись, склонив друг к другу головы, шептались, никого не замечая. Меня Светка повлекла в «Дамскую комнату» (так было написано на двери), поправила мне прическу, напудрила лицо и вылила на меня щедрю каплю своих душистых цветочных духов. Трогательное внимание Костериных было мною с удивлением отмечено, несмотря на общую туманность послеконьячного состояния. Хотя некоторые провалы в моей памяти все-таки были. Совершенно не помню, как мы оказались в казино. Помню только, как спускались вниз по крутой затхлой лестнице, как обнимал меня за талию и поддерживал Юрка, и канючила Светка, что хочет поиграть, потому что в Атлантик-Сити выиграла 50 долларов.

Окончательно и моментально я пришла в себя только в эпицентре скандала, когда услышала дикие вопли Николая, который с невероятной для его щуплости силой вырывался из объятий двух верзил в пятнистой форме и пинал как безумный своими тяжелыми американскими ботинками звонко дребезжащие ящики игровых автоматов. И тут со мной случилось необъяснимое – я словно переселилась в него, так остро я почувствовала его боль, не поняла, а именно почувствовала всё, о чем мы никогда не говорили, всё, о чем молчали каждый в своем углу с тех пор, как Володька, пошатываясь вошел в нашу квартиру, которая нашей в этот момент уже перестала быть, то есть не вошел, а был введен под руки крепкими парнями обыденного облика (но головы-то круглые, бритые), не прячущими свои лица под масками, с признаками каких-то даже манер – один из них случайно уронил с тумбочки перед зеркалом какие-то журналы, мой шарф и перчатки, вскрикнул «ой!», нагнулся и всё положил на мес-

то, другой, постарше, внимательно осмотрел нас с Николаем: «Значит так, просили еще раз напомнить, чтобы без глупостей» и, дойдя до двери, оглянулся и сказал загадочное: «Игровики – люди серьезные. В игрушки играть не будут. Ничего не поможет». И они ушли. Я впервые и только тебе рассказываю об этом. Что-то ужасное произошло тогда с нами, не знаю, как выглядела я, но отражение этого ужаса я впоследствии не раз видела в глазах Николая и в сером лице Володи, особенно, когда заикалась о прокуроре и прочей судебно-государственной защите. Эти два пятнистых лба, которые скрутили на наших глазах Николая, ничуть не были похожи на мальчиков, доставивших Володеньку домой, но вместе с тем что-то общее, общеужасное было в них несомненно. Общее в них – привычка к насилию над другим, наш безумный страх и беспомощное отчаяние. И лица у них были похожи совершенной непримечательностью – лишь спокойное усердие и некоторая тень удовольствия от хорошо выполняемой работы. После того, как Николай укусил одного, они все-таки озверели, завели ему руки за спину, защелкнули деловито наручники и, толкая в спину, направили в узкий коридор за игровым залом, не обращая внимания на наши визги. Светка непрерывно и монотонно пищала, прижимая ладони к щекам. Юрка, пытаясь сохранить солидность, старался заглянуть в лица охранников, делал какие-то вразумляющие пассы правой рукой, а в левой держал на отлёте и как бы наготове красивый бумажник. Я же, перекинув сумку через плечо и через голову, чтобы освободить руки, цеплялась за пятнистые рукава и спины, пыталась дотянуться до Николая, металась, как могла и непрерывно повторяла: «Отпустите его, он больной человек». Укушенный Николаем ощерился, гукнул на меня: «Уйди,...(на бумаге не могу написать слово, произнесенное им.), а то у меня и вторая пара есть», – и он похлопал себя по зазвеневшим на поясе наручникам. Второй резонно буркнул: «А кто здоров?» Леонид Борисович понуро замыкал процессию, прижимая к себе ворох наших верхних одежд. Так мы проволоклись через огромный холл, освещаемый нелепыми тре-

ножниками, вошли в просторный кабинет – мягкие диваны, кресла, два компьютера, пустые стеллажи, на низком столике недопитые рюмки. В центре, расставив уверенные ноги, руки в карманах, стоял человек, мрачный, высокий, с лицом крайне спортивного типа, но в хорошем костюме. «Ну вот что! Мы не в милиции, протокол составлять не будем. Но штраф ты заплатишь и еще посидишь у нас, отработаешь», – услышала я, молитвенно сжала ручки и завопила: «Это недоразумение. Он ничего такого не сделал. Он человек Ахметова!» «Ахметова? – мрачный наморщил лоб. – Что же такой мозгляк может делать у Ахметова?» «Он занимается ценными бумагами» – четко ответила я. «Вот как? Потрясающе, Ахметов интересуется ценными бумагами? Это ценная информация». И мрачный начал нажимать кнопочки телефона.

«Счас! Ахмет, саяям алейкум! Ты на месте?! Кому-то сильно везёт. Тут у меня твои люди. Какие?» Но я уже вырвала трубку и звонко залепетала: «Рустам Дамирович, извините, пожалуйста, Такая история вышла, тут мы в казино попали в такое недоразумение. Я? Но я же у вас работаю (не могла я при всех сказать, что работаю уборщицей, этого даже Николай не знает). Да я же вам ставила бухгалтерскую программу на компьютер. Да, и Валентину вашу я учила, нашу Валентину, бухгалтера, и Андрея-длинного. Выручайте, уважаемый Рустам Дамирович, так неловко вас беспокоить в неурочный час, только зная ваше доброе сердце...» Важно было говорить быстро, не останавливаясь. Мрачный застыл, смотрел исподлобья пронзительно, что-то соображал, потом довольно грубо отобрал у меня телефон, махнул в нашу сторону небрежной рукой, типа «чтоб духу вашего не было». Укушенный неохотно отомкнул наручники: «То он больной, то какие-то ценные бумаги...» Николай нетвердым шагом двинулся в открытую дверь, не оглядываясь и потирая кисти рук (где-то я уже видела этот жест, не могу вспомнить...). «Такие вот, образно выражаясь, пироги,» – сказал Юрка, открыл бумажник (я похолодела – неужели доллары) и вручил оторопевшему хозяину кабинета свою визитную карточку (на английском)».

«Дорогая! Ты, по-видимому, всё уже знаешь, и именно этим объясняется твоё долгое молчание. Но и мне поэтому легче писать тебе. Итак, Николай в Петербурге. Он уехал так внезапно, сразу же за Костеринными, просто след в след, что у меня явилось подозрение, не Юрка ли взял ему билет (у Николая денег не было), а скорее всего, Светлана, она, мне кажется, была даже более активным началом (т.е. более бездушным концом) в этой тайной возне. Могли бы ведь и вместе уехать, но боялись, видимо, воплей с моей стороны, мысли у них не было со мной обсудить, уговорить, убедить меня, обольстить, в конце концов, надеждами и неземными горизонтами так, что сама бы отпустила, проводила, шанежки на дорогу испекла. И трудиться не стали. Я не могу это воспринимать иначе, как сговор за моей спиной, как гадкий обман и гнусное предательство. И жить он будет, оказывается, у них. Без меня во всех отношениях легче. Со мной всё-таки семья, а так кинул тюфячок на кухне – Николай неприхотлив, да и работать он будет с утра до ночи, как работал всегда, а сейчас особенно, когда так изголодался. И работать он будет прежде всего на Юрку. Он и не возражал. «Ничего, мне тоже останется. Всё равно Юрка настоящий друг». Вот так! А мне, значит, настоящий враг. Или я ужасно, отвратительно несправедлива? Ответь мне! Эгоистично требую понимания, человеческого участия, душевной чуткости. Откуда бы им взяться. Какие времена – такие песни. «Идиотка, – следовало бы сказать себе, – ты должна радоваться». Но не получается у меня роль мудрой женщины. Пронзительная обида когтит сердце. Неужели нельзя было всё это сделать по-другому, посвятить меня в их грандиозные планы – Юрка, видите ли, становится директором филиала. «Какая ты поверхностная женщина. Ты требуешь слов», – говорил Николай в последние дни, увязывая свои бумаги. Но их, этих слов, необходимых мне, спасших бы всё, позволивших бы мне и дальше терпеть этот разваливающийся дом, унижение примитивного труда, отсутствие достойного человеческого общения, жестокою болезнью тёти Зины и, конечно,

надеяться, просто надеяться на перемену грустной участи, теперь уже только моей, он так и не сказал. Единственно, заверил меня, что постарается быть полезным Володеньке и еще – пришлет мне деньги, как только что-нибудь получит.

«Будет ли у нас с о в м е с т н а я жизнь?» «Разумеется», – ответил уткнувшись в свои мысли и бумаги, даже не взглянул, не подошел, не обнял, не погладил, не успокоил, не вытер мои бегущие слёзы. Р а з у м е е т с я. Боже, это прозвучало, как холодное в о з м о ж н о, или, как перевела моя уязвленная душа с человеческого языка на страдательный, – м а л о в е р о я т н о.

Да, я знаю, что Юрка полгода преподавал в Беркли, а Вадим сидит давно в Германии, а Елисей летает из Франции в Японию, не приземляясь в России. А Николай всего лишь едет в другой город, нет, не в другой, возвращается в наш город. И не зовёт меня с собой. То есть зовёт, но не так, как мне надо. Вернее, обещает позвать при определенных условиях. Мог бы позвать, не опасаясь, что я соглашусь, всё равно я не смогла бы оставить тётю Зину. Может быть, потому и не зовет, как человек, ненавидящий всякое притворство и лицемерие. Ночами я лежу без сна среди шорохов кряхтящего старого дома и задаю темноте бесчисленные вопросы и сама же подсказываю малодушные ответы. Ах, в том ли дело, что разлука. Люди жили в разлуке годами, писали письма и трепетали, вскрывая конверт. И незачем ходить за возвышенными примерами к гениальным поэтам и прочим творцам. Мои родители были разлучены так долго, но никогда не прекращался между ними теплый, доверительный и нежный разговор. Мы с Николаем почти не расставались, но нити между нами всё рвутся и рвутся. Ни единого упрека он не высказал мне, но я постоянно ощущаю груз какой-то своей вины – то ли плохо воспитала Володьку, то ли вообще упустила всю ситуацию, то ли просто, не выдержав, уронила руки, единственно поддерживающие тяжкие своды над нашим давно уже чадящим очагом. Пишу тебе эти несколько строк уже три дня – всё больше неостановимо веду свой бесконечный, внутренний монолог, который, перенесенный на бумагу, превратился бы в невразумительные жалобные восклицания и вызывания неизвестно к кому.

Пишу тебе урывками еще и потому, что тетя Зина лежит дома. Через два дня после отбытия Николая с ней случился второй инсульт. Добрый ли ангел оберегал Николая, и в связи с этим злые силы накнулись на нас, остающихся, стоящих на месте, глядящих ему в спину, а потом в бледное лицо за невымытым стеклом уже движущегося вагона, но он успел уехать в часы хорошего самочувствия тетушки. Интересно мне знать, как бы он уезжал два дня спустя, оставляя на руках у меня парализованную старуху, бросая меня в таком положении практически без денег, без еды, припасы-то полностью съедены. Думаю, что все равно бы уехал, но с чувством злобной вины, за что возненавидел бы меня непременно. Или остался бы, сдал билет, громко скрежеща зубами, топил бы печи, помогал бы мне ворочать тетю Зину, ходил бы с эмалированным бидоном за молоком, по вечерам разогревая свою ненависть в философских беседах со своим обожателем Л.Б. Так что, то на то и выходит, иными словами – куда ни кинь, всюду клин. Получается, именно мне повезло, что он так удачно уехал, не дал мне окончательно убедиться на собственной шкуре в этой тривиальной истине – неприятны нам те, перед кем мы сильно виноваты. И когда он по приезде позвонил и признался, что доехал нормально и устроился у Юрки со Светланой блестяще, поскольку выделили ему отдельную комнату, то и я сообщила, что у нас всё нормально, как всегда, что тетя Зина полеживает, приходит Ксения Матвеевна помогать, Леонид Борисович скучает (я сделала паузу – «А ты?» – все-таки спросил он), наколот дрова, вообще оказался отличным мужиком, настоящий товарищ. Информацию о Володьке выдал из себя Николай с ощутимым трудом, похоже встреча их не была очень восторженной. «Может быть, ты мне все-таки напишешь, как вы все там живете, очень хочется каких-нибудь подробностей». «Да, я тебе уже все рассказал, писать ничего не осталось, много работаю, вот в субботу отсыпаясь, по воскресеньям буду ходить в БАН, очень отстал.» После его звонка я долго и уныло сидела над телефоном, сжав голову руками, в непреодолимом желании найти его письма, старые письма,

которые писал он мне каждый день из стройотряда, увидеть там, на бумаге слова любви, тоски и печали, обращенные ко мне. Может быть, я и тебе пишу, чтобы доказать, что в наше дикое время люди пишут друг другу письма. И вспомнилось отчего-то, что в наши детские «секреты», под стеклышко, среди засохших цветочков помещались очень часто драгоценные любовные записочки или тайные загадывания и пожелания самим себе, которые потом почти никогда не доставались и не перечитывались, «сквозь тщательно протертые стекла времени» мы лишь любовались ими, удостоверяться – они есть, вдохновлялись, неслись дальше, накручивая педали, в сильном потоке опьяняющего ветра, созданного собственным движением. Нет, я не стала читать его старые письма, которые привезла с собой, достаточно, что посмотрела на темный простой ящичек, стоящий на верхней полке, вышла в кухню, наполнила водой огромный бак, опустила в него мощный кипятильник, вывалила на пол кучу грязного белья, чтобы рассортировать, отделить цветное от белого, и вот тут уже не выдержала, схватила рубашку Николая, клетчатую, расплывающуюся, почти лохматую, незабываемую, прижала к лицу неповторимый запах, завывала как последняя идиотка. Не знаю, не могу объяснить, отчего не верю, что мы будем вместе. Ощущение невозвратности не оставляет меня.

Вечером пришла Ксения Матвеевна, принесла баночку маринованой свеклы и маленькую кость, сварили отличный борщ. Я напекла блинов. Еще осталось варенье из ревеня. Ужинали в большой комнате втроем. Тетя Зина благостно возвышалась на взбитых подушках, чистенькая, намытая, в наглаженных оборочках, улыбалась кривеньким ртом. Речь у неё сохранилась ясная. «Ничего, – говорила тетя Зина, поглаживая действующей рукой недействующую, – ты не переживай, удары, уж если они начались, идут один за другим. Дом продадите. Ксюша поможет. Купите квартиру в Ленинграде (о, если бы она знала, т.е. хорошо, что не знает, какие непредставимые цены), будете жить все вместе, добра наживать, меня вспоминать. Это долго не продлится. Уверю тебя, удары идут один за другим».

Железные девочки

Нине и Арсену

1.

Катя умерла от сердечного приступа накануне премьеры прямо у станка – вместе со своим сломавшимся отражением в зеркале на глазах у всех разжала руки, уронила голову, музыкально опустилась на пол. И музыка оборвалась.

Рассказывают, что когда ее на носилках «Скорой помощи» спускали вниз, она уже была мертва.

«Нет, она была жива, – почему-то упорно твердил Анисимов, – пульс прослушивался еще в машине.»

2.

Дорога домой показалась как никогда длинной и утомительной. В сабвее ей уступил место всклокоченный престарелый панк, не было даже сил удивиться, она села, закрыла глаза и сразу же в памяти поплыли худые руки Никиты, его запавшие щеки, его страдающие глаза, прерывистая речь... Гул сабвея разрывал голову.

Квартира встретила благодатной тишиной и сквозняком. Лена опустила на пол в прихожей тяжёлую сумку, зажгла свет, передумала, погасила свет, прошла по темному узкому коридорчику, слегка вытянув вперед руку, в большую комнату, освещенную светом чужого дома.

В доме напротив сияли все окна. В столовой сидели за поздним ужином взрослые, на втором этаже ритмично колыхались тени подростков. Лена вспомнила, что сегодня пятница, у пуэрториканцев пати. Какие-то гости, белея светлыми рубашками, вышли покурить у маленьких аккуратных клумб.

Эти пуэрториканцы были самыми лучшими соседями: приветливыми, ненавязчивыми, вежливыми, благопристойными, как могут быть благопристойны только изгои. Они купили этот дом совсем недавно и до сих пор не могут опомниться от счастья.

Можно было бы поплакать у темного окна, но нет, слез не было. Лена даже слегка подивилась своей жестокости. Никита должен был умереть очень скоро. Это знали все. Но не плакалось. Почему слезы льются над вымыслом? А здесь над живой жизнью пусть не близкого, но очень давно знакомого человека, не плачется. И не в том дело, что умирает он от болезни новой и страшной, над которой реет людской пренебрежительный и брезгливый страх.

Ужасная, безмерная пустота. Вот что везла она из клиники, от Никиты, через весь Нью-Йорк.

Та жизнь кончилась давно, но снова она рвется темным потоком в ее теперешнюю жизнь, в эту опасную пустоту, чтобы, отхлынув, оставить на илистом дне скрючившуюся тоску.

Катя была одной из истинных потерь, ах, сколько утрат произошло за эти шестнадцать лет, но Катя открывала этот счет, была первой в этом смертном ряду.

Сейчас, стоя у окна своей темной квартиры, то есть студии, как здесь говорят, наблюдая без всякого интереса жалкую праздничность посторонних людей, Лена была в той жизни, в том призрачном городе летала сейчас её душа, среди промозглых мостов и серых вод, огибая колонны и тускло мерцающие шпили, припадая к мокрым изношенным ступеням, ища отсутствующие следы прошелестевших жизней.

3.

Катя была не просто красива и талантлива. Она была совершенна. Когда Лена впервые увидела её на сцене, она опустила на колени фотоаппарат и замерла в восторженном оцепенении, пережив трехминутное кружение никому неизвестной провинциалочки, как состояние чистого блаженства.

Захотелось посмотреть на неё вблизи, разглядеть из чего сделано это безукоризненно музыкальное существо.

За кулисами Лена увидела усталую, бледную девочку. Поразил слишком умненький взгляд ширококораставленных светлых глаз. Голова прозорливого Анисимова склонилась в поцелуе над вырывающейся ручкой девочки. Лена тут же нажала спуск. Блеснула вспышка. Захохотал Анисимов.

– Елена! Я покупаю негатив. Еще раз, пожалуйста, – он обнял Катю, прижал к себе, – Вот так! Спасибо, Лена. Этот негатив я тоже покупаю. Стой! Сейчас с Борисом.

– Александр Николаевич, – взмолилась Катя, – ну всё, всё. Хватит. Ну, пожалуйста. Борис уже переоделся.

– Нет, я здесь, – выскочил чёртом из табакерки полуголый Борис, любовно оглаживая свою лоснящуюся грудь, – я тоже хочу бессмертия.

Лена знает, где лежат эти фотографии.

Теперь, шестнадцать лет спустя эти фотографии приобрели дополнительную ценность, особенно после новой женитьбы Бориса на одутловатой дочке знаменитого арабского богатея.

В тот вечер неощутимым повелением Анисимова за кулисами был устроен легкий дружеский банкетик, никто не обсуждал его прозрачную причину – блистательное явление Кати, внезапный взлет её, пока еще невидимый миру, но слишком хорошо уловленный кланом посвященных.

Лена помнит застывшее лицо Ирины Константиновны – глаза отдельно, улыбка отдельно. В глазах – тревога и мрак.

Потом Анисимов повез их домой. Лена неотрывно разглядывала профиль Кати, освещаемый летящим навстречу мертвенным светом вечерних огней. Девочка уверенно протянула левую руку, чуть согнула её в локте, положила на спинку сиденья, как-будто обняв водителя за плечи. «Владеет», – изумилась Лена и тут же подсчитала разницу в возрасте: выходило что-то около 37 лет. Словно почувствовав её взгляд, Катя повернула голову к Лене:

– Лена, извините, пожалуйста, что я так без отчества. Можно? У Вас сестра, кажется, преподает английский...

– Это моя идея, Лена, – вступил Анисимов – Кате нужен английский, но, знаешь...по-настоящему, в очень ударной манере.

4.

Так Катя появилась у них в доме, раздираемом тихими распрями хорошо воспитанных людей. Через очень короткое время со всеми у неё устроились какие-то необыкновенно приятные отношения, даже с незамужними нервными тетками, занимающими две крошечные комнатки позади кухни, даже с вечно раздраженным, мрачным дедом, который вообще не выносил женщин, причем любого возраста, делая некоторое исключение для двух внучек, едва ощутимое исключение, как бы стыдясь своей слабости. А с племянником Лёничкой пятнадцати лет образовались обыкновенные шашни.

Галина назначила за уроки чрезвычайно смешную, маленькую плату, при этом стараясь эти ничтожные рубли у Кати не брать то под предлогом того, что Катя такая блестящая и упорная ученица, высшее достижение её, Галининого, педагогического искусства, и заниматься с ней такое невиданное удовольствие («Перестань придуривать, деньги платит Анисимов», – кричала на сестру Лена), то потому, что Катя делает деду массаж.

История с массажем вообще потрясла семейство. После перелома рука у деда действовала плохо, по ночам болела, дед не спал, не мог работать, капризничал, всех мучил, угодить ему было невозможно. Тетки ходили заплаканные. В такие дни после завтрака дед не уходил в кабинет, подолгу оставался в столовой, переползал в старое раскидистое кресло у окна, сумрачно смотрел в университетский двор.

Как-то после урока Катя вошла в столовую, сказала очень просто:

– Александр Вениаминович, вы меня простите, пожалуйста, давайте я вам сделаю массаж. Я действительно хорошо делаю массаж.

Тетки остолбенели от такой дерзости. Дед никого не подпускал к себе. Даже горчичники ставить деду было невероят-

но сложно, даже закапывание трех капель альбуцида в глаз непременно сопровождалось рукопашными схватками (Лё-нечка так и говорил: «Тетки пошли врукопашную») с последующим гипертоническим кризом у старшей тетки и вульгарной истерикой у младшей.

Итак, Катя начала делать деду массаж. В эти полчаса никому не разрешалось заходить в столовую. Дверь, всегда распахнутая настежь, плотно закрывалась, и из столовой неслись какие-то клокотанья, протяжные стоны, короткие вскрикивания, виртуозные кошачьи подвыванья, явный скрежет зубов и сердитый, уговаривающий Катин голосок.

«Они там любовью занимаются, а я тут на кухне должен есть», – юродствовал Лёнечка, лениво ковыряя вилкой котлету и тут же получал от какой-нибудь из теток по шее.

5.

Лена очень хорошо помнит ту напряженную мокрую весну – подготовка к девяностолетию деда, предпремьерные скандалы в театре, бесконечная простуда и кашель маленького Мити, неиссякаемые ссоры с приходящим Митиным папой, истерические вопли Анисимова на репетициях, непроходящая усталость, какие-то грошовые, но обязательные к исполнению халтуры, безденежье – всё могло вызвать внезапные горькие слезы: вытертая беличья шубка, отсутствие туфель, поучения теток, наглость племянника. И вдруг оказалось, что только Катя понимает, только Катя подставляет плечо, всегда спокойная, уверенная, серьезная («Высшая степень организованности», – уважительно говорил дед). Она почти переселилась к ним. Между репетициями и прогонами она успевала привозить продукты на анисимовской машине, отвозить Митю на процедуры, потом возвращаться на урок английского, тут же на уроке её практически с ложечки кормила младшая тетка, потом она делала деду массаж, во время которого он уже давно не стонал, а, напротив, тоже учил её, но уже французскому, и из столовой доносилось простенькое: «Je suis. Tu

es. Il est. Elle est. Nous sommes...», а иногда они вместе пели наивные прованские песенки, которые дед помнил с детства, и снова приходила машина и Катю увозили уже на спектакль, а после спектакля очень часто она возвращалась с Анисимовым, потому что в общежитии было холодно и много посторонних завистливых глаз. Они недолго сидели втроем в комнате у Лены, пили чай с черничным вареньем и маленькими ребристыми кексами, тихонько болтали, хихикали, как школьники, наконец Анисимов вздыхал, вставал, целовал Катю, целовал Лену: «Ну, девочки, вам пора спать. Хорошо с вами.»

Вспоминается что-то еще неприятное, тревожное, предупреждающее в том мокром апреле. Какие-то неудачи, расстройств и огорчения были у Кати – из общежития выбросили её котенка, отобрали второе одеяло, украли джинсы и банку растворимого кофе, непонятные сцены ревности устраивал Борис, ставил условия, хамил Анисимову, а вечно увивающийся вокруг Бориса, цепким плющем обвивающий его Никита травил Катю тихим своим остроумием, заметно отличаясь от Ирины Константиновны, которая откровенно начинала дымиться гневом и раздражением не только при виде Кати, но и при одном лишь упоминании её имени, при первой ноте её голоса, Лена, казалось, слышала легкий треск крошечных молний вокруг гордой змеиной головки несравненной премьерши.

Меж тем все интенсивно общались, дружили, пили кофе, целовались при встречах и прощаниях, ласкали друг друга, кривлялись, острили, продавали шмотки, сплетничали, покупали шмотки, стучали друг на друга, роняли слезки обид и унижений, смеялись над неудачниками, затапывали зазевавшегося. И все-таки Катя была слегка вне этого круга актерского дружества и коварства, казалось, какие-то другие у неё цели, дела и задачи, она и не делала вид, что хочет примкнуть к этому взбалмошному, но иногда ведь и сострадательному и даже теплому сообществу.

Ирина Константиновна тоже была вне, но очень часто сниходила, располагалась внутри, одаривала улыбками и сувенирной заграничной чепухой, жаловалась на боль в пояснице

це, записывала рецепты печений и маринадов, становилась ну совсем, как все, такая своя, всегда вместе с народом (на всякий случай), не пренебрегала пошептаться с костюмершей и не уклонялась, разумеется, от бесхитростных комплиментов и касаний грузных Руководителей Культуры.

Но однажды Лена увидела жуткую и загадочную картинку (или это все-таки было сновидение). Потом эта сцена прокручивалась неутомимой памятью бесконечно, и невозможно было уже отделить реальность от привидевшегося.

Лена снова и снова оказывалась в узком, очень длинном коридоре со стенами, уходящими в паутинную грязную высоту, в темноватом переходе перед громяющей и крутой железной лестницей, по которой можно было быстро добежать до буфета, обогнав на повороте галдящую потную толпу, вываливающуюся из класса.

...Катя шла далеко впереди, быстрым, летящим шагом, придерживая у горла накинутую на плечи невзрачную кофточку из деревенской шерсти. Ирина Константиновна появилась совершенно внезапно на маленькой лестничной площадке, она шла навстречу Кате, остановилась, что-то сказала, Лена почему-то замедлила шаг. Теперь что-то говорила Катя, слегка откинувшись назад, оперевшись отведенными за спину руками на железные перила. Рука Ирины Константиновны медленно поднимается к Катиному лицу. Нет, она не бьет её по лицу. Не всякий удостоится пощечины Снежной Королевы. Она просто захватывает Катину щеку двумя пальцам, оттягивает, закручивает, Катя вскрикивает. Ирина Константиновна исчезает. При этом она не возвращается назад, это совершенно точно – по железной лестнице даже таракану невозможно было проскользнуть бесшумно, – навстречу Лене она тоже не попала, никаких боковых отводов или дверей в том коридоре нет. Она просто исчезла. Лена очень долго и оторопело стояла на месте, не смея последовать за Катей, потом начала рыться в бездонной сумке, нашла сигареты, покурила, причесалась, тихонько двинулась к лестнице.

В буфет она пришла четверть часа спустя. Катя уже взяла ей кофе, весело поманила ручкой. Что это было? Было ли во-

обще что-нибудь? Но на левой Катиной щеке ярко горели два красных аллергических пятна. Ирина Константиновна в буфете не появилась, и кофе её разделили Борис с Никитой.

6.

Премьера надвигалась на всех парах, но спектакль как будто что-то затормозило, спектакль не двигался, но гудел и вибрировал как усталый локомотив. Так говорил Анисимов, только он мог помнить слово локомотив и часто повторял стишок с точной рифмой: «слыша свист и вой локомотива, дверь лингвисты войлоком обили». Чем ближе к премьере, тем всё более безумным и нервным весельем горел его взор, тем неистовой вращались колеса его фантазий, тем труднее было ему соответствовать и следовать за ним, лишь Катя, одна только Катя непринужденно и легко царил в центре этого вихря, то с восторгом подчиняясь ему, то, казалось даже, управляя им. При явлении Ирины Константиновны эти энергетические протуберанцы явно гасли, это видел самый невнимательный глаз. Анисимов как бы отходил в тень и оттуда, смиряя многоопытную язвительность, серьезно и невозмутимо смотрел, как холодный туман ложится на только что взошедшие посева, И все же, и все же – властный взмах его руки мгновенно обрывал всю музыку и всё движение.

– Ирина, поймите, – говорил он не очень громко, усталым голосом, глядя сосредоточенно не на неё и не на кого вообще, а в какую-то одному ему видимую точку, а иногда даже прикрыв глаза рукой.

– Поймите, в вас не должно быть ненависти к ней, она не просто ваша сестра, она ваше дитя, и не просто дитя, она самое обожаемое на свете дитя....

Лена любила, когда репетиции вел сам Анисимов. Её работа театрального фотографа не требовала каждодневного присутствия на репетициях, особенно если вспомнить ничтожный размер полставки, но какой-то мощный магнит выдергивал её из дома, из семьи, отрывал от недоумевающего мужа,

хныкающего сына, от беспомощного злого деда и, словно в сказке про цветик-семицветик, мгновенно переносил в этот холодный загадочный зал. Должно быть все-таки какой-то ядовитый лепесток съела она в детстве, какие-то капли сладостной отравы выпила вместе со стаканом театрального лимонада в антракте послевоенного «Щелкунчика», держа за руку нарядную академическую бабушку, обтекаемую со всех сторон шумным потоком возбужденной публики, среди радостных вскрикиваний и приветствий почтительных знакомых, как будто не было за стенами этого волшебного праздничного замка длинных очередей за мукой, поисков дров или угольных брикетов, коптящих керосинок и дерущихся на вокзалах инвалидов. И с тех пор, кажется, только здесь она и могла дышать, только этим воздухом обольщений, иллюзий и обманов могла упиваться, то есть пить жадно и с наслаждением, как пила тот давний детский лимонад.

7.

Всё начиналось с болтовни и забавы. Всё начиналось как игра. После премьеры катили в глаза гастроли в Австралию. Можно ли отказаться от гастролей в Австралию? Немыслимо. Безумие. «Счастливец среди завистников», – посмеивался Никита. Конечно завистники. Никита не боялся говорить банальные определенности. И было понятно, что он не льстит. Он действительно считал Бориса гениальным. И когда он, рассматривая рисунки Бориса, говорил с хохотком: «Ну, ты гений!», то смешки были именно для этого, для легкого вуалирования, ну нельзя же, как в пьесе Щварца говорить с прямой интонацией. «Слушай, оставь их мне», – Никита осторожно расправлял закручивающиеся края рисунков. «Ты это серьезно? – сиял Борис, хотя только что он был устал, раздражен, брюзглив, – Тебе действительно нравится? Да забирай все».

И Никита собирал эти рисунки, и складывал в серую папку с растрепанными завязочками, и хранил эти сокровища, и всюду возил за собой все последующие шестнадцать лет, лишь

изредка устраивая себе душу разрывающие, одинокие праздники, включал ту музыку, наливал стакан джина без всякого тоника, осторожно развязывал тесемки и медленно перебирал профили Анисимова, его указующие, диктаторские жесты, ножки, головки и полеты Кати, лукавые извивы и горящие длинные очи Ирины, чьи-то напряженные спины, трогательные ключицы, остренькие локти, зовущие и отталкивающие руки, складки тяжелой мерцающей ткани, грустные северные пейзажи, серую деревянную часовенку, какие-то сосны, какие-то валуны – всю эту расчлененку утерянного нищего рая.

После спектакля Никита ждал Бориса в машине, никогда не подходил к актерскому подъезду, и если Борис выходил с Катей или с Ириной Константиновной или окруженный какими-нибудь ополоумевшими поклонниками, ехал в мастерскую один и сидел у телефона и иногда действительно дожидался звонка и засыпал успокоившийся и счастливый.

... Всё начиналось как игра. Кто же первый сказал: «А пусть она не летит»? Но как сделать, чтобы Ирина отказалась от Австралии, которую она с таким трудом и страстью организовала? Гастроли в Австралию срывали конкурс в Лондоне. Конкурс – это безусловная победа (удивительно, но у Бориса не было сомнений), открытие Европы для него, все надежды, все планы, вся жизнь, с какой стати лететь в эту плановую, потустороннюю Австралию. Как избежать? Но как бы не по своей воле, как бы по причинам объективным, случайным и внезапным.

«Хоть бы она заболела, сломала ногу, что ли...» Они сидели у Никиты в мастерской, или в каком-то жалком кафе, или в скверике у Консерватории, греясь под неожиданным апрельским солнцем.

– Никита, ну сломай ей ногу, или в крайнем случае руку...

– Да, пожалуй, руку легче, – рассеянно заметил Никита, медленно закручивая пробку плоской бутылочки.

– Ну, я серьезно. Придумай что-нибудь. У тебя же брат медик. Вот как сделать так, чтобы у неё анализы перед поездкой оказались какие-нибудь ужасные.

– Проверят. Анализы быстро проверяют. Может тебе выпить с Петровичем и так легонечко намекнуть, так и так, луч-

ше бы Ирина в эту поездку не ездила, пусть дома посидит, одну поездочку пропустит. Ничего, мол, не знаю точно, но на всякий случай, были кой-какие разговоры, возможны провокации...

– Ты что, в уме? – Борис постучал согнутым пальцем по собственному лбу, – Да и потом, ни мне, ни тебе, ни даже Петровичу там не поверят, она сама формирует списки.

– Ну тогда давай прямо перед поездкой нападём на неё в масках, можно изнасиловать. Не полетит же она в тот же вечер. Синяк можно поставить.

– Размечтался! Да она сама изнасилует кого угодно. Нет, надо что-нибудь поизящнее. И я не должен участвовать. Я должен быть в отдалении. Она, паразитка, проницательная. Она же понимает что я не хочу в Австралию. Она же понимает, что такой парой с Катериной мы уже через год не будем. Через год мы будем уже другими.

Кажется, вот в этом месте Никита ощутил болевой укол пронзительной силы. Это была та часть жизни Бориса, в которую тот его не то что бы не пускал, напротив, пожалуйста, сколько угодно, присутствуй, но даже не как соглядатай, не как растение или пушистый домашний зверек, а как невзрачный и скучный предмет неживой природы.

8.

Тот жуткий день начался ночью.

Лена внезапно проснулась от странного дребезжащего звона. Как будто сбросили с высоты тонкий лист жести. Сердце бешено колотилось. Поначалу привиделось, что это звонок в дверь, но звук не повторился, квартира не шелохнулась, в дальних комнатах не зашаркали чуткие тетки, не проснулся сипящий во сне Митя, и у Галины за стеной была полная тишина. Может быть, кошка пробралась в кухню и, резвясь в темноте ночной охоты, свалила какой-нибудь противень. Но кошка была здесь – вскочила на одеяле, расставила тугие напряженные лапы, вздыбила спинку, распушила ершиком хвост, испуганно таранилась и

шипела. Постепенно Лена успокоилась. Сердцебиение улеглось. Кошка свернулась теплой тяжестью в ногах. Ритмично постанывал и мигал за окном тусклый фонарь. Какие-то тени расплзались по комнате. И, как в детстве, брошенная на стульях одежда начинала шевелиться: корчились, переплетались рукава, горбатым телом расправлялись опавшие складки – горбун сидел, нахохлившись, тихонько болтал ногами, рядом громоздилась покатая баба, накрыв голову платком.

Потом Лена заснула.

И снова тот же звук. И полная тишина. Лена накинула халат и с колотящимся сердцем мужественно вышла в коридор.

Из под двери кабинета пробивался слабый свет. Лена оставилась в дверях.

– Дед, ты что?

Дед лежал на высоких подушках.

– Да вот что-то вдруг проснулся.

– Ты что-нибудь слышал?

– А что я должен был слышать? Ничего не слышал. Показалось, что у меня сердце остановилось.

– Дать тебе что-нибудь?

– Нет, вроде не остановилось, – Он положил руку на грудь, проверил, улыбнулся – Иди спать.

Проснулась она окончательно в резком утреннем свете с непоправимо тяжелой головой, с отвратительным чувством навсегда забытого сна, восстановить который никак не получалось, но очень хотелось вспомнить, была уверенность, что это важно – вспомнить. Но помнила она только этот звенящий жестяной звук.

В этот день Лена не должна была идти в театр. Это был присутственный день на кафедре. Аспирантура подходила к концу. И ей самой и всем на кафедре давно уже было понятно, что никакую диссертацию она писать не будет, и культурные связи ганзейских городов с Русью так до конца и не будут выяснены. Но все-таки она исправно приходила на кафедру – не хотелось совсем уж огорчать Матвея.

Но в этот день она сказала себе: «Не хочу. Не пойду, и всё. Не пойду и не пойду».

– Я должна быть сегодня в театре, – мрачно объявила она за завтраком.

Начался неожиданный скандал.

– Это уж просто какое-то хамство, – тихо рычала старшая тетка, заливаясь гипертонической краснотой... – Нет, это моё дело. Вот когда ты будешь жить отдельно, и я не буду видеть твою дикую жизнь... Матвей Александрович – наш друг. Это моё дело. Он на тебя потратил слишком много сил..

– Ну, откуда ты знаешь? Ну какие такие силы он на меня потратил?

Она поехала в театр.

Можно было бы сконструировать несколько убедительных причин, почему именно в этот день с такой силой включился безумный магнит и проволочек её по Менделеевской линии, мимо факультетских обшарпанных аркад, где Матвей дочитывал уже последний лекционный час, а кафедральные девочки допивали бледный чай седьмого созыва, мимо института Отта, по Университетской набережной и через Дворцовый мост.

День был солнечный. Асфальт высыхал на глазах. В Университетском безлюдном садике плавился серый апрельский снег.

Весь путь – от дома до Дворцовой площади – она прошла почему-то пешком.

Можно было бы придумать много причин. Например, просто интересно было узнать, как прошла вчерашняя репетиция, почему не появилась и даже не позвонила вечером Катя, что за странное свидание у неё было с Борисом, что всё-таки решил Анисимов по поводу конкурса, может быть хотелось увидеть Анисимова: будет ли у него тот самый взгляд, только к ней обращенный, только ей предназначенный. Что было в его взгляде – удивление и понимание, благодарность и уважение. Он держал в руках газету с её статьей. «Умница, – сказал он и повторил, – ты умница».

На Дворцовой площади она вскочила в троллейбус. Нашлось местечко у окна. Как спокойно можно было бы любоваться освещенной ярким солнцем площадью, неторопливо

покачиваясь над медленным потоком машин на Невском, над толкотней и озабоченностью приезжих, над хорошо одетыми иностранными зеваками, если бы не странная тоскливая тревога, мучившая её с утра, то есть, с ночи, с того дважды пробудившего её ужасного звука.

У входа в театр стояла «Скорая».

«Леночка, Леночка, это ужасно...туда нельзя...это ужасно...», – вцепилась в неё дежурная администраторша, и Лена помнит, что пришлось с силой отдирать от себя её коротенькие пальчики, и долго еще потом, в другой жизни, в жизни после Катинной смерти Лена с изумлением разглядывала на своей руке их синеватые следы.

9.

«Да, ужас весь в том, что я был бы счастлив ролью соглядатая», – Никита проговорил эту внезапную и непонятную фразу как бы даже и не для Бориса, но она сбила Бориса с ритма, что-то перебила, раздражила, во всяком случае он сразу замолчал, яростным рывком выбросил себя из продавленной мягкости дивана, напугав до шипения бежевую сиамскую кошечку, подошел к окну, остановился у мутного стекла. Какая невероятная была у него спина – раздраженно шевелились лопатки под линялой голубой рубашкой, пальцы лежали на поясище и напряженно и, вместе с тем, бессильно, локти были отведены назад и с вызовом и с отчаяньем. Спина была откровенней и выразительнее лица. Даже когда он не контролировал себя, он двигался безукоризненно. Как у кошки, у него не было некрасивых поз.

«Не хочешь – не надо. Только все твои слова – дрянь и враньё. Так и знай. Мне не нужна твоя жизнь. Понятно! Мне не надо, чтобы ты за меня умирал. И не надо даже, чтобы ты жил для меня. Мне нужна была маленькая помощь. Всего-то. Это же её собственное снотворное. У неё стала появляться от него сыпь и легкая тахикардия. Всё выглядело как легкий сердечный приступ...»

Много раз Никита представлял, как Борис уходит навсегда. Навсегда. Всерьёз. Это снилось ему постоянно. То это был огромный зал, может быть, аэропорт, по которому перекачивались людские волны. Борис исчезал в толпе, рассерженный, злой, с тяжелой сумкой через плечо, продирался сквозь толпу, ни разу не оглянувшись. То, наоборот, это была безлюдная набережная ночного канала, Борис медленно шел вдоль парапета с какой-то юной женщиной (рациональный тревожный разум услужливо подсказывал: с Катей), оглядывался, недоуменно смотрел на Никиту, женщина быстро и весело говорила, легкими пальцами трогала плечо Бориса, и они уходили, два человека, мужчина и женщина – пара. Никита плакал. Это были слезы им вслед. Однако наяву, год назад, когда он бежал за Борисом с седьмого этажа, стараясь обогнать падающий вниз светящийся стакан лифта, когда пытаюсь остановить, почти оторвал рукав его новой замечательной куртки, он, напротив, как раз безудержно смеялся над плачущим Борисом, которого все-таки вернул в мастерскую, обласкал, успокоил, напоил коньяком и вдруг высыпал на его плачущую голову весь свой гонорар за панно в зале ожидания, и похоже, что именно этот размашистый жест моментально осушил отчаянные детские слезы Бориса над погубленной вещью, и долго еще потом, к неопишуемой взаимной радости, в разных углах мастерской находились залипшие купюры значительного достоинства.

Разговор уже шел к зияющему разрыву пределу, но Борис никак не мог остановиться.

«Господи, да таблетка-то величиной с новорожденного клопа. Сколько раз я сам ей давал и напоминал, она просила ей напоминать, ну что ты на меня уставился, что ты мне демонстрируешь, я все продумал, я сто раз все наблюдал, я проверил: легкий сердечный приступ, учащенное сердцебиение, это у неё недавно появилась такая реакция... Вот такая крошечная таблеточка. Зажимаешь вот так, между безымянным и указательным, берешь чашку, смотри, пожалуйста, вот так, потом просто отводишь палец. Таблетка растворяется, пока ты несешь кофе. Мы стоим вот так. Тебя вообще никто не ви-

дит. Я заказываю и расплачиваюсь. Ты относишь кофе. Девочки сидят, болтают. Всё».

10.

«...Я не страдал от одиночества. Я, честно говоря, не понимал, что такое одиночество. Или, наоборот, не знал, что бывает неодинокство. Я с детства был один. Отец был намного старше мамы и умер, когда я был ребенком. И вообще, они к тому времени давно развелись, то есть расстались, но дружили, и отец оставил ей всё: и мастерскую, и квартиру, У него ведь было еще шесть детей, но я никого из них не знал, кроме старшего брата, от самой первой жены, это я так думал, оказалось потом, что есть еще и сестра, но не от жены, а от домработницы, так эта сестра была самая старшая. А старший брат у нас часто бывал и одно время даже жил, когда учился в Медицинском, он так краснел от маминого присутствия и от её слов, что это категорически запрещалось замечать, ну, влюблен был, конечно, он ненамного был её младше. Тени остальных братьев и сестер смутно помню на похоронах отца, всем там распоряжалась почему-то старшая сестра, на шесть лет старше моей мамы. Мама была еще молода. Очень была красива на похоронах: в черном платке, с закрытыми глазами, все шептали: посмотрите на Веру, посмотрите... Все жены были на похоронах, и была еще одна женщина, девушка, девушка из магазина «Живая рыба», с которой отец жил последние три года, а всё оставил маме, и получилось, что я уже в юности был очень состоятельным, по советским понятиям конечно, молодым человеком и казался легкой добычей провинциальным жадным красоткам или коммунальным мамашам неуклюжих однокласниц, тем более, что внешне я был немислимо благопристойен. Да, еще ведь была коллекция картин, не только его картин, у нас Шагал был и Сомов и другие всякие мирискусники и бабушкины картины, бабушка тоже, вы же знаете, была художница, вообще все вокруг были художники, все были такие необыкновенные, такие духовные,

все летали над бытом, как они выжили в войну – понять невозможно.

И я всегда жил с бабушкой, ну и отчасти с мамой, которая врывается к нам с необыкновенными подарками и чудесными гостинцами, с азиатскими сказочными фруктами. Помню продолговатые эллипсоиды – пестрозеленые узбекские дыни, нефритового цвета прозрачный виноград – «дамские пальчики» и желто-медовый «кишмиш» – виноград без косточек, помню лиловые пряные травы и букеты сухих колючек, мертвых и таких удивительно изысканных, которые она составляла по всей мастерской, и еще много-много лет спустя после её гибели они так и оставались – пыльные и неприкосновенные в серебрянных туркменских вазах на полках, на рояле, у её любимого итальянского зеркала, свисали, перевязанные её руками, её цветными ленточками, с люстры, с потолка, сверху – потрескивали по ночам, роняя мелкие обреченные семена.

Бабушка никогда не вмешивалась в мою жизнь, она была очень деликатна, терпима, но в практической жизни абсолютно беспомощна и нелепа, она, кстати, совершенно не умела готовить, ну и, естественно, не любила все это хозяйство, и для себя ничего не делала и не хотела учиться жить. Но всегда находился кто-то. Какая-нибудь добрая душа начинала бабушку спасать: и кормить, и убирать, и почитать. Она же была замечательная художница, на самом деле замечательная. Но к жизни не приспособленная. Рассказывали, что в блокаду она просто лежала и безропотно умирала, хотя была еда в доме, чуть ли не разогреть надо было, и все, Лиза, та самая домработница, пропала – так и не нашлась. И неожиданно явился с фронта бабушкин ученик, проходил мимо по своим семейным делам, вспомнил дом, с трудом поднялся на второй этаж. На каких непрочных цепях случайностей качаются наши жизни! На каких эфемерных бумажных цепях! Вы украшали елку цветными бумажными цепями? Если бы квартира была на четвертом этаже, заставил бы этот человек себя ползти так высоко. «О, нет, – говорил он, смеясь и целуя бабушкину руку, десятилетия спустя, – никогда».

И вот я часто думал, что все-таки бабушка меня воспитывала. Хотя она никогда меня не учила, не читала мне книжки, не рассказывала мне сказки, не кормила меня, не корила меня, ничего от меня не требовала, просто жила рядом естественно и смиренно и, простите высокопарное слово, возвышенно.

Ах, простите, Лена, я сам себя перебиваю все время. Ну какое кому дело теперь до моей бабушки, до моего сладостного одиночества, разглядывающего себя в старинном итальянском зеркале...

...Борис, мне кажется, любил у меня бывать. Ему, по-видимому, представлялась эта трухлявая, осыпающаяся старина невероятным богатством, да, действительно, немножко так, в те годы снова началась охота за красным деревом, за бронзовыми лампами, за темными иконами. Но мы жили среди этих вещей – роняли кузнецовские чашки, расшатывали изогнутые, но, честно говоря, очень неудобные стулья карельской березы, безжалостно протирали багровый бархат английского клубного дивана. Двоем с бабушкой мы остались в огромной мастерской, вообще, это была квартира, таких квартир было несколько на Одиннадцатой линии, собственно мастерская – сорокаметровая комната со стеклянной крышей, здесь говорят sky light, никогда эти стекла не мылись, у бабушки всё были мечты нанять кого-нибудь «вымыть крышу». Мастерская была окружена маленькими комнатками, в бабушкиной комнате была чудная белая мебель, модерн, а моя комната была узка и темновата, но зато овальное высокое окно напоминало иллюминатор и выходило на влажные крыши, на купола Благовещенского Собора без крестов. Уже в очень раннем детстве я знал, что там должны быть кресты, хотя у нас в семье не было никакого религиозного духа, но церковь без креста – это было неэстетично, это было нарушением, разрушением единства, а внизу за окном шла другая жизнь, шла пионерия: «от отцов и матерей к счастливой жизни лагерей». Да, на меня тоже надели галстук, я отдавал салют, но никогда я не принадлежал тому миру, в третьем классе меня приняли в пионеры и сказали, что «ставят на вахту мира», никогда не забуду безумный ужас и невозможность никому открыть мою стыдную тайну: я не знал, где эта Вахта, на которую мне надо пойти и встать.

Все знали, а я не знал, и чем дальше, тем страшнее и невозможней было признаться в своем незнании. Это уже потом мы всё обсмеяли: «Свети, наше солнце, дари нас лучами! В могучем сиянье мы зорче очами. Свети из Кремля нам, сияй-пламеней. Всех солнц во вселенной наш Сталин ясней.» Это уже потом, когда я нашел таких же, как я. Как я их находил? Да по глазам, только по глазам, по летучим смешкам, по безумным речам. Нянька, вернувшаяся с поселения, тайно живущая у нас, шипела: «Ты язычок-то попридержи, дурень безмозглый». Да, теперь триколор на просторах Родины чудесной реет, однако и красные стяги над орущими толпами с портретом незабвенного усатого таракана струятся, как встарь.

Раньше я тоже думал, что на Васильевский остров я вернусь умирать, вот именно – так красиво, на глазах у всех «на асфальт упаду», как там: «между выцветших линий на асфальт упаду». Но между Одиннадцатой и Десятой, я помню, была булыжная мостовая, и в морозные зимы мы тряслись по заледенелым булыгам на коньках – можно было таким большим крюком прицепиться к переваливающемуся грузовику – от Среднего, мимо матмеха и детского дома до Малого, а там уже татарка Зина в обмен на скомканный рубль прямо из форточки своей полуподвальной кухни протягивала причудливо закрученный «хворост».

Лене казалось, что он никогда не замолчит, не остановит своё бессмысленное кружение над темными истлевшими миражами. Нет, не только память терзала и завораживала его, но и пребыванье в собственном лепете, в потоке родного языка, страх выйти из этого потока на бесплодный щебень чужого берега. Лена намеренно не пускала в себя этот шепот, не желала видеть эти пагубные, вымороченные и ей, увы, и ей хорошо знакомые пейзажи.

Когда же Лене удавалось втиснуться в какую-нибудь приемлимую паузу, заметным усилием раздвинуть душный словесный промежуток, быстренько забросав его мычащими поддакиваниями вперемешку с важными для неё вопросами, Никита вдруг замолкал, залеплял уста, закрывал глаза, и надо было понимать, что он сегодня особенно слаб.

Собственно то, для чего он позвал её, оставалось всё ещё туманным, непрояснённым – расплывающимися картинками, противоречащими здравому смыслу деталями, и подумалось даже, что он просто тянет, просто боится, что Лена покинет его, не вернется больше (его вообще никто не навещал), когда узнает все, и некому будет пробормотать ненавистное и возлюбленное имя его одиночества.

Он лежал один в пустой и белой палате. Непонятно за чей счет. Шевелилась легкая белая штора, шуршал кондиционер, изредка заглядывала медсестра, невнятным немецким лицом прислушивалась к разговору, что-то строго переставляя на никелированной медицинской этажерке.

Лена приезжала несколько раз, в дни дождливые и в дни солнечные, в тихие дни и ветренные – тащила через весь Нью-Йорк, двигалась вместе с густой толпой в сабвее, проклиная нарастающие спазмы сострадания и сочувствия своего неумного сердца, которое, как большую усталую рыбу, подтягивал к себе Никита слабеющей, но умелой рукой.

11.

Похоронный день помнился ужающей заключительной сценой безумного спектакля, начавшегося со встречи в аэропорту Катинной матери, прилетевшей из Перми в сопровождении незапомнившегося тусклого родственника, отец, кажется, вообще не существовал. Тщетно выискивала Лена в провинциальном лице этой рыхлой растерянной женщины черты ангельской Катинной красоты, напрасно пыталась плоскими неотёсанными словами выразить ей всё то, что выразить никто никогда не умеет, – женщина оставалась совершенно чужой, не имеющей никакого отношения к Кате, и странно было видеть, как две крупные слезы медленно сползают по её серым пористым щекам.

О да, это был хорошо поставленный последний акт с ослепительными явлениями солистов, отточенными дуэтами и продуманными мизансценами в роскошном мерцании щед-

рых декораций из классических колонн подлинного мрамора. Молчаливое кружение тонколицых девушек-подруг совершалось на фоне бледных северных небес с черным узором весенних ветвей, дрожащих в предвкушении жизни.

И всё это вместе со сладким запахом увядающих цветов вызывало тошноту и астматическое удушье.

Один из приглушенных дуэтов между искренне удрученным директором и еще более поважневшим Петровичем происходил прямо на мраморной лестнице среди деловито снующих статистов.

– У вас прямо какая-то Агата Кристи получается, – говорил, выпячивая чекистскую челюсть, Петрович, – Вы получили заключение? Нет? Ну, получите, скоро получите. Хотя вам это и не обязательно. Оно готово. Я читал. Вам дадут копию – я распоряжусь. Что вы, ей-богу, придумываете...

Увидел Лену, увидел фотоаппарат, ткнул пальцем:

– А снимать вам кто разрешил? – и пошел, не дождавшись ответа, наблюдать и соответствовать.

Сверху плавно спускалась Ирина с лицом обманутой Жизели, посверкивая лучшими своими бриллиантами. На сгибе локтя её лежал огромный букет, белый букет классических погребальных цветов.

«Сейчас подойдет, обнимет, скажет: Какое горе!» – подумала Лена.

Ирина подошла, пустила по светлому челу легкую судорогу печали, приникла к Лениному плечу.

– Какое горе, Лена!

За спиной Ирины черным солнцем взошел Борис, сцепленные руки расположил над причинным местом, прекрасный взор туповатого Демона устремил в собственные горние выси и оттуда, сверху отметил Лену, прикрыл веки, как бы кивнул в знак разделенной скорби. Из-за плеча его выглядывал Никита, шмыгая монструозным носом.

Привычка видеть мир кадрированным сцепляла эти картины в единую движущуюся ленту.

Странно, что Анисимов вспоминался совсем плохо, может быть, оттого, что замкнутый облик царственного властителя,

привыкшего держать удар, ничем уже нельзя было украсить. Он какое-то время неподвижно стоял у Катиного изголовья, положив руку на край гроба, на толстые влажные стебли нездесьних тюльпанов, и непроницаемое лицо его было мертвеннее и серее свежевоскового личика Кати. И вдруг Лена увидела, как Катино лицо осенил призрачный раздвоенный крестик – тонкая сизая тень далекого оконного переплета. Анисимов стоял очень долго, крестик за это время сдвинулся с прохладной впадинки у виска и лег на солнечную возвышенность скулы.

Жизнь двинулась дальше, и оказалось, что всё разъехалось, пошло как-то вкривь и вкось. Вопреки отчаянным стараниям Анисимова спасти спектакль ценой кошунственных замен, премьеру все равно сместили к бессмысленному лету.

Лена почему-то явственно стала ощущать на себе хмурое и пристальное внимание ежедневно похмельного Петровича, который вдруг потребовал все фотографии, сделанные в день похорон, держал черный пакет довольно долго, потом неожиданно всё вернул, пробурчав странные слова, что, вот пока возвращает, но еще могут понадобиться и, может быть, даже и негативы. «И имейте в виду: всё, что вы снимаете в этом здании, собственность театра», надо было понимать: собственность «нашей Организации». Но к себе в кабинет Петрович её не вызывал, а других, да, вызывали, выпрашивали, искали какую-то Катину сумку.

Дед отпраздновал свой девяностолетний юбилей, вызывая еще потакая официальной торжественности, корреспондентской и телевизионной возне, явно наслаждаясь восхищением, а отчасти и трепетом, и изумлением вокруг его ясной памяти и непобедимой бодрости. Похоже, что он уже пережил недостижимую для многих границу, до которой юбилеев обычно боятся, уваливают от них, как от напоминания о том, что старость уже пришла и удобно расположилась в вашей жизни со всеми своими сердцебиениями, коликами и артрозами и непременно натужными подведениями итогов.

Он был стар очень-очень давно. Старость была длиннее любого другого периода его жизни, и он научился с ней от-

лично ладить, то есть не замечать, как не замечают старую привычную жену, преданную, но ворчливую, если она не нарушает тщательно организованный беспорядок на столе и не вмешивается в серьезное продуманное одиночество.

«Я совершил уникальное, фантастическое путешествие, – сказал дед в своей знаменитой речи в ответ на непомерные славословия, – я не получал на это разрешение соответствующих органов, я без всяких виз пересек несколько границ». В этом месте начальник первого отдела нервно заерзал по красному плюшу в почетном ряду, высматривая улыбки непредсказуемой научной аудитории. «Моя няня была крепостной женщиной, я помню жаркие разговоры об отлучении Льва Толстого и празднование трехсотлетия Дома Романовых, на моих глазах Россия задувала лучины и зажигала газовые фонари, протягивала железнодорожные рельсы и электрические провода, выпускала в небо неуклюжие летающие ящички из фанеры и парусины... Вы все только читали об этом или слушали лекции, то есть знаете понаслышке, а я там жил. Да, я настоящая живая Машина Времени», – дед гордо ткнул себя в грудь узловатым пальцем.

Каким-то загадочным образом дед ухитрился не произнести в своей речи таких слов, как Ленин, революция, съезд, партия, мудрое руководство, ему уже было наплевать, простят ему это или не простят.

Трудно было отвечать на его обиженные вопросы: «А где же моя юная подруга, сколько же могут продолжаться гастроли. Я же места себе не нахожу.»

12.

...«Лена, он начал меня избегать. При этом он не устраивал больше сцен. Он очень, очень повзрослел за прошедший год. Никаких слов, никаких объяснений. Если встречались в театре случайно, ненароком, был необыкновенно приветлив, здоровался, улыбался и норовил поскорее проскользнуть мимо. Перестал звонить совершенно. Если я звонил, отвечал таким

специальным голосом ледяного дружелюбия, очень коротко и односложно отвечал, не хотел поддерживать разговор, немолимо держал дистанцию. Я понимал, что веду себя ужасно, напрашиваюсь, навязываюсь, ловлю его в кафе, подсаживаюсь к его столику, когда он не зовёт, отводит глаза, отстраняется, намеренно весело разговаривает с другими, ловко огляывая взглядом моё страдающее лицо. Это было невыносимо. Это было отвратительно. Но кроме непреодолимого желания просто быть с ним рядом, просто видеть его, просто слышать его чудный низкий голос, какое-то гнусное окаянство клубилось в душе – я постепенно начал понимать, что он меня боится.

В тот день я вошел в кафе, когда от стойки уже отходила Катя, остороженько неся перед собой на тарелочке два отвратительно выщербленных стакана с крепким «двойным». Уставила на меня два неподвижных ярко-синих глаза, при этом пальцы её совершали неостановимое шевеление над этими стаканами. Поставила тарелочку на столик, занятый предусмотрительно собственной кофточкой, сумкой и шарфом Ирины, потрясла в воздухе перегревшимися пальчиками.

Я сел непринужденно, как будто меня только и ждали, выхватив у соседнего столика колченогий стульчик: «Катенька, быстренько попроси Бориса... мне «двойную половинку», и переставил стаканы. Иринин стакан поставил перед скукоженной катиной кофточкой, а катин стакан напротив шарфа Ирины, которая уже пробиралась с капустным салатиком к нашему столику, раздаривая окружающим нежные улыбки.

Зачем я это сделал? Почему я придумал именно такой выход? Даже если случилось то, что я углядел и заподозрил в шевелении катиных пальчиков, можно было бы (вы скажете) просто вылить кофе, не убоившись жеста сумасшедшего. Я не знаю ответа. Я ведь не был нормальным тогда. Это нормальный, очень уверенный человек не боится сумасшедших поступков, а я сходил с ума, я боялся сойти с ума, и это чудовищное сочетание...эта раздвоенность... душа-христианка и запах окаянной власти над Борисом, и месть ему же, и ненависть к ним, да и к Ирине, и к Кате, и к вам, помните, вы ему подарили

его фотографии, и он, как ребенок, так обрадовался, так долго вас целовал, так крепко прижимал к себе, а вы поцеловали его в шею и тут же забыли, и побежали, и кинулись на грудь своему Анисимову».

13.

Когда навстречу ей в фойе «City Center» двинулся, раскинув руки, неизвестный высокий старик, сердце её заметалось, перевернулось, забило горестно и оглушительно, слезной волной перекрыло дыхание, но уже через несколько мгновений успокоилось, узрев, как на морщинистой поверхности незнакомых складок, старческих пятен и усталых обвислостей появилось прежнее уверенное лицо Анисимова, словно медленно всплыло, поднялось из темных вод, задвигало жесткими бровями, засияло желтыми глазами, заулыбалось новыми американскими зубами.

– Господи, Елена! Так вот как живут в этой стране! Ты же моложе, ты гораздо моложе, честное слово, моложе, чем была!

И он завертел её, затискал, защупал вечернее платье и даже, кажется, лизнул блестящее, покрытое свежим испанским загаром плечо.

Ах, как приятно было слышать его голос, его искреннее восхищение, явный интерес и радость, и Лена уже точно знала, что сегодня она выиграла его у всей этой свиты, у заискивающих прихлебал, у железных девочек, выжидательно сияющих в отдалении голенькими ручками и ножками, – со всеми он моментально разделался волнообразным движением руки и повлек её за собой, продолжая, впрочем, отвечать на вопросы снующего вокруг потного репортера.

Потом было дежурное сидение в японском ресторане с нужными скучными американскими людьми, обсуждение проекта международной балетной школы и бредовых, но завлекательных гастрольных идей. Подавали что-то копченорыбное, вкусное и отвратительную теплую водку, затем перешли в «Русский самовар» с поцелуями ненужных веселых русских лю-

дей, прежних знакомцев, разнокалиберных эмигрантов, всё ещё восторженных почитателей круглоголового Горби, с ностальгическими песнями социалистических лет вперемешку с романсами белой гвардии и странными уверениями Окуджавы, что он всё-равно умрет «на той, на той единственной гражданской», но зато была настоящая водка, малосольные малюсенькие огурчики и соленые грибы якобы из подмосковных лесов.

Какие-то крики уже наполняли дымное пространство, уже надрывно выл художник Нарцисов («Я ненавижу слово национальность»), уже вцепилась в анисимовское колено скрюченной ручонкой малознакомая журналистка, сладострастно поглощая его рассказ о копающихся в мусорных баках стариках (там, конечно, там, на Заокеанской Родине).

– И вот, я обратил внимание, что приходят всё время одни и те же. У них такая постоянная компания образовалась, а пришлых они гнали чуть ли не палками. И заметил я там одну старушку: не бомжиха, очень аккуратненькая, чистенько всегда была одета, очень интеллигентные у неё были движения – расправляла на крышке бака несколько пакетиков, по которым сосредоточенно раскладывала склизкие ошметки, выуживая их из смрадной гадости. И в какой-то день я решил спуститься и просто дать ей денег. Не помню уж сколько, но такую приличную сумму, и, знаете, она приняла очень просто, с невероятным достоинством: «Ну что ж, спасибо...». Но что-то в ней все-таки дрогнуло, и она начала объяснять, что собирает еду для кошечек: «...это ведь интернатские баки, дети так много оставляют, вот посмотрите, почти целое яблоко и огурец, даже не надкусан». И потрясла перед моим носом пакетиком. «...А какое количество гречневой каши выбрасывается и макарон. Это же грех. Повидимому, совершенно не умеют готовить, но если всё это пережарить с луком...» Между прочим, потом она всё поглядывала на мои окна, но я уже больше не спускался. Какую-то газовую косыночку накрутила вокруг тощей шеи – мне кажется, она хотела мне понравиться...

Откуда-то взялся за их столиком знаменитый пожухлый диссидент, удовлетворенно кивал головой, скрестив руки на груди, и восклицал:

– Вот уж поистине, ничего с человеческим лицом нельзя построить на этой несчастной земле.

А у самого входа уровень шума давно достиг грозových раскатов скандала.

– Всё, Лена, всё. Уходим, – склонялся к ней Анисимов, – здесь нам поговорить не дадут.

14.

Анисимов жил в отеле «May flower», на берегу темной и опасной зелени Центрального парка. Машина подкатила вплотную к пустынному яркому входу. Совершенно литературный негр с бесстрастной величием впустил их в освещенный кондиционированный комфорт, проводил до лифта.

Во время длинного монолога Лены лицо Анисимова перепробовало разнообразные выражения – от светского равнодушного недоумения до подчеркнутого скептического неинтереса, озвученные вскрикиваниями: «Бред какой-то! Это какой-то бред!» Однако постепенно взор его трезвел, он начал что-то переспрашивать, раздражаться её ответами, тут же объяснять всё по своему, снова перебирать детали, перевирать детали, злиться и вдруг заявил:

– Всё чушь, конечно, но, действительно, здесь очень много совпадений.

И мрачно умолк.

– Жизнь, вообще, полна фантастических совпадений. Жизнь наполнена совпадениями и смертью. (Это совсем тихо, опустив голову.)

И вдруг схватил её за локти, затряс и сам затрясся. Взгляд безумный. Лена испугалась – «сейчас закричит». Но он сказал сипящим шепотом:

– Это же я убил её. Я же всё знал. Только мать знала и я. Скомпенсированный порок, очень редкий изъян. Их, кстати, этих пороков огромное количество. Жуткое множество этих пороков. С таким, как у Кати, можно было жить до глубокой старости. Если без нагрузок. Но Катя была камикадзе...

Откинулся в кресле, прикрыл глаза рукой. Посидели долго молча. Потом спокойным острым взглядом глянул внимательно, а нетвердой рукой, слегка дрожащей, разлил остатки шампанского.

– А этот ваш ненормальный, не хочу говорить кто. Царствие ему небесное, конечно, но он же был сумасшедший, Лена, он был настоящий псих, и давно. Он выдумал все. Ему необходимо было хоть чьё-то внимание, хоть чьё-то любопытство, пусть пренебрежительное любопытство, какое-то отношение, русская речь, наконец, он же здесь оказался никому не нужен, таких театральных художников здесь тучи, а эта его жалкая живопись – смех на палке. Всё-всё придумал, может быть и сам поверил. Это похоже на комплекс Герострата, между прочим. Выдумал, чтобы ты ходила к нему в клинику.

– Что значит выдумал? От начала и до конца?

– Ну, не знаю. Может быть от середины до конца или, наоборот... Лена, хватит себя терзать. Это было безумно давно. Какая теперь разница...

– Какая теперь разница, в конце-то концов, – еще раз повторил Анисимов, допил медленно вино и вдруг вскочил, бросился прочь. Пустая бутылка из под шампанского покатилась по ковру. Дверь в ванную осталась открытой. Полилась вода.

Склонившись над раковиной, он яростно плескал себе в лицо, фыркал и стонал. Обернулся, закричал зло:

– Ну что? Ты этого хотела? Ты слез моих хотела?

Лена протянула к нему руки, к его мокрому, старому, несчастному лицу. И они обнялись и долго стояли рыдая – не любовники и не друзья даже, – рыдая и утирая слезы друг друга и шепча друг другу: «Ну все. Все, хватит... Пить надо меньше...Надо меньше пить».

А на следующий день совсем другого человека провожала Лена в аэропорт: элегантного, собранного, властного, совсем отстраненного от неё и чужого. Невозможно было представить, что прошедшей ночью именно этот человек рыдал в её объятьях, как растерянное одинокое дитя, дрожащее от страха и тоски, именно эти прекрасные руки гладили и гладили её

лицо и плечи, и колени. И умоляющий шепот: «Не уходи, умница моя, красавица моя, не уходи, ну пожалуйста, не оставь меня здесь...»

«Боже мой...» – вдруг сказала Лена вслух и засмеялась.

Анисимов глянул изумленно и дико. Взял её руку, поцеловал ладонь. Прозрачное облачко нежности заметалось в старомодном кадиллаке и тут же истаяло, вылетело в окно.

Они мчались через раскаленный июльский Нью-Йорк, через этот грандиозный город инопланетян, накрытый густой волной пепельного нечеловеческого зноя.

И вновь он был уже в других краях, шуршал какими-то бумажками, перелистывал записную книжку, кому-то еще звонил, прощался, раздавал задания, потрясая чернокожего водителя немислимым бесхитростным произношением.

Мелькнул на повороте вдали кусочек русского кладбища, на котором похоронили Никиту, неприятно вспомнились вчерашние анисимовские слова о ненужности Никиты, о том, что «таких художников – тучи» и его презрительная улыбочка при этом, как будто он говорил о тучах жадного гнуса, хотя именно Анисимов привел Никиту в театр, поборол Петровича, зачислил в штат.

«Ох, Александр Николаевич, – причитал Петрович, – что уж вам так уж нужен этот Раппопорт?» «Да, дорогой Валентин Петрович, очень нужен», – брал его под локоток Анисимов и вел к себе в кабинет поить и обольщать. «Ну причем здесь я? – кокетничал Петрович. – У нас есть отдел кадров. Есть штатное расписание, наконец...» И тут же себе слегка противоречил: «И потом, Александр Николаевич, все протеже у вас какие-то странные... Вот скрипач этот новый, а еще раньше валторна» – «А что такое? Что такое с ними?» – превеличенно пугался Анисимов. «Как что?...Ну, фамилии у них какие-то не вполне русские». – «А-а, так они же евреи. Вы разве не знали?» – «Очень остроумно, очень остроумно», – тряс обиженно головой Петрович, но не в силах отказаться от любимого коньяка, шел послушно в кабинет Анисимова.

Среди разнообразнейших масок Анисимова, разыгрываемых с вдохновенным актерством перед Петровичем в первую

очередь, но и, конечно, перед многочисленными наивными любителями перемыть и обмусолить косточки Главного, одной из самых необъяснимых и странных была часто напяливаемая им на себя маска антисемита. И если зять благонаправной администраторши Розы Семеновны поступал с третьего захода в театральный институт, и если осветитель Костя Брумберг отгадывал в спортлото пять номеров, а любимый друг и виолончелист Анатолий Шварц получал, наконец, международного лауреата, Анисимов выпучивал глаза, разводил руками, с привычным сокрушением покачивая головой: «Нация такая. Такая вот нация». А когда простодушные сплетники окончательно столбенели перед невозможностью объяснить поведение Анисимова по поводу инфаркта всё того же Анатолия Шварца – искреннее и бурное беспокойство, чуть ли не слезы на глазах и каждодневные посещения больного, – когда они совершенно уже запутывались в дебрях и туманах анализа, сам Анисимов приходил к ним на помощь и даже обнимал некоторых за плечи, доверительно шепча: «Хочу поставить балет – «Смерть еврея».

Осталось позади русское кладбище, на котором похоронили Никиту Раппопорта при полном отсутствии какого-либо стечения друзей. В ответ на телеграмму Борис прислал из Флориды триста долларов, не сопроводив их ни единым словом. И эта необъяснимая злобность Анисимова к недавно умершему.

– Все мы одиноки, Лена, – вдруг ответил Анисимов на её мысли и снова схватил её руку, – Знаешь, иногда думаешь: какой светлый, возвышенный человек, а подойдешь поближе и заглянешь внутрь – Боже, какие крокодилы там копошатся.

И руку её не выпускал уже до самого Аэропорта, но глаза его застыли, потухли.

В Аэропорту он уже ей не принадлежал и был окружен разнообразным балетным народом, прессой и какими-то дальними родственниками, но всё-таки вырвался из их бессмысленного щебетания к Лене:

– Ну что? Ты успокоилась немного? Успокоил я тебя, да? И немного разочаровал, да? Ну, конечно, ты жаждала убийст-

ва, страшной тайны. Не отшатывайся, пожалуйста. Я тебе обязательно буду звонить. Мы устроим твою выставку. Обещаю.

Задумался, замылся, закусил губу, что-то припоминая.

– Да, и вот что еще я хотел тебе сказать. Имей в виду: Борис такой же сумасшедший. В балете вообще много больных, – обнял, трижды поцеловал, легонько оттолкнул от себя. – Иди. Помни обо мне.

Что-то раздражающе непонятное, необъяснимое было в последних словах Анисимова (и не только в последних), какая-то несвойственная ему неуверенность. Почему, например, он помянул Бориса и так подчеркнуто, из чего следовало, что он очень бы не желал, чтобы Лена вообще с Борисом общалась. И еще вспомнились его слова в машине по дороге в отель, какие-то слова как бы из стихов Пастернака о стремлении доходить «до самой сути», что в искусстве это надо делать и, конечно, в науке, по-видимому, тоже, а вот в жизни не всегда это рекомендуется, и опыт его говорит, что часто, очень часто совершенно не рекомендуется. И Лене тогда показалось, что это он о женщинах и даже, может быть, о своей не слишком удачной супружеской жизни, о своей, возможно, жене, которая – весь театр об этом знал – отличалась стремлением к доскональному, подробному выяснению отношений, доведя их постепенно до состояния незыблемых руин. Но вдруг почувдилось в этих ночных рассуждениях Анисимова тайное предостережение и намек.

15.

Борис откликнулся неожиданно быстро и доброжелательно. Еще по телефону его голос трепетал искренней и неподдельной приветливостью: «О! Я сам хотел тебя искать. Это потрясающе, что ты позвонила. Я все читаю, все читаю, что ты пишешь. Фотографии твои очень хорошие, просто стали высший класс».

Договорились, что он заедет за ней в четверг, после трех и отвезет к себе в новый дом (где-то около Принстона), и она

три дня отдохнет от раскаленного Нью-Йорка, в нежной прохладе сада среди ирисов и роз, будет плавать в бассейне, играть с его новой маленькой дочкой и его замечательными собаками, а по вечерам...

«О, я приготовлю тебе такой ужин!» – «Ты умеешь готовить?» – «Ну, у меня вообще-то есть повар, но для знатных гостей я готовлю сам. Но главное – мы поговорим, мы поговорим...» И это прозвучало, как чеховское: мы отдохнем, мы отдохнем. А что для русских людей отдых, как не разговоры, как не раздирание в кровь собственной души перед внимательным собеседником.

И вот он стоит перед ней всё ещё молодой и стройный («Ох, ему едва ли сорок»), победитель, удачник, богаченький, завоевавший состояние посредством нескольких плодоносных браков, каждый раз всё с более юной и богатой, а если точнее, в результате хитроумнейших бракоразводных процессов, проводимых известным всей эмиграции адвокатом В., по слухам, его личным преданнейшим другом.

Да, конечно, он практически не танцует, хотя..., но у него театр и балетная школа (они здесь все помешались на балетных школах), и он снял фильм.

Он уверенно ведет машину, да, он почти не курит, но хорошие сигареты всегда при нем. Хохотнул: «Для мелких услуг друзьям». Протягивает Лене немного безвкусную зажигалку, как бы серебрянную, усыпанную крупными разноцветными ограненными стекляшками. «Свадебный подарок тестя», – говорит Борис, неотрывно уставившись в летящую навстречу полосу хайвея, и Лена понимает, что гладит настоящие изумруды и рубины.

«Ну и что Анисимов?» – безразлично спрашивает Борис и даже не смотрит на неё. «Что значит, что?» – «Ну как он тебе показался?» – «Ну и вопросы ты задаёшь. Что тебя интересует-то?» – «Да просто хотелось узнать твоё впечатление. Мы ведь с ним давно не виделись. Кстати, тебе должно быть известно: его прошлогоднюю «Легенду» здесь бойкотировали». – «Очень интересно. Станный бойкот. Зал был битком набит».

– «Я имею в виду-ничего почти не писали.» – «Я сама писала...»

«Ну эта твоя эмигрантская пресса... А меня он вспоминал как-нибудь?» – «Да, в общем, нет...» – «Ну а как все-таки?»

«Спросил, общаюсь ли с тобой и всё», – соврала Лена. Не хотелось копаться в их давней взаимной неприязни. Когда-то Борис подвел Анисимова своим фиктивным браком и стремительным отъездом, но не так ведь, как Ирина, сбежавшая открыто и нагло, обрушив тем самым на голову Главного лавину жестоких обкомовских разбирательств. Совсем ведь не так. Однако Ирину Анисимов почему-то довольно быстро простил и даже занимал в своих первых постановках в Европе.

Дом Бориса совсем не походил на хорошенькие комфортабельные домики обычной одноэтажной Америки, мимо которых они только что промчались. Это было самое настоящее поместье с широкой подъездной липовой аллеей, полукруглым свежескошенным лугом перед фантастически безобразной несоразмерной колоннадой, которая и была входом в этот дом, то есть бывшую ферму, построенную в конце века в старофранцузском стиле и купленную одним из русских отважных пловцов еще первой волны. А колоннаду вот именно этот русский и выстроил для памяти о фасаде отчего дома, сожженного безумными дураками в Твери.

Но внутри дом был совершенно американским: полы и даже ступеньки многочисленных лестниц затянuty серо-розовым и мягким, однотонные светлые стены, очень мало мебели, очень мало предметов, вообще, всё запрянуто, как водится, в стенные шкафы, ничего не торчит, не свисает, не валяется, не пылится, много чинного, чистого, безжизненного пространства, инкрустированного кожаными диванами, восточными вазами и пузатыми светильниками. На стенах висели картины. «Если ты скажешь, что это маленькие голландцы, я буду полностью раздавлена». – «Ну, тогда не скажу, сама прочитаешь, вон там каталог прошлогодней выставки коллекционеров», – и он ткнул в сторону настоящего камина. На мраморной полочке лежал толстый яркий том.

А на Лену из темной рамы сумрачно посмотрела немолодая крестьянка в белом чепце, в двух шагах от крестьянки цепенела в безветренном воздухе печальная мельница на фоне потемневших от времени обильных облаков и бессмертных черно-белых коров.

Дом был пустынный, но обитаемый. Где-то слышались голоса, шаги и даже детский писк.

– Но я живу в другом месте.

И они начали спускаться вниз, кончился розовый бобрик, начались каменные выщербленные ступени, холодная неровная стена.

– Я живу в погребке.

О, это было прекрасное пристанище, мужское убежище. Кожаных диванов и ламп тут тоже хватало, но были еще какие-то верстаки, сварочный аппарат, автомобильные двери, колеса, аккумуляторы, полки с книгами и нотами, огромный холодильник, старый письменный стол, свисающая со стульев одежда, валяющийся на полу футляр от саксофона, летающие со стен карты и рисунки.

– Правда здесь уютно?

Лена слегка поежилась. Сыровато было в этом подzemелье.

– Сейчас будет тепло, – засуетился Борис, скрылся за стеллажами. Зазвучала тихая музыка, по ногам заструилось нежное тепло.

– Сюда никто не входит без меня.

16.

«А может быть, кто-то из них меня выдал... Ужас был не в том, что в театре было полно стукачей, а в том, что в каждом достойном, в каждом приличном и самом близком мерещился стукач. Получалось, что никому нельзя было доверять. Да и действительно так получилось. Почти всех вызывали, предлагали сотрудничать, а меня почему-то нет. И Никиту тоже не вызывали, повидимому еврей-стукач это уж крайний случай, хотя мы знаем примеры...А может быть, он просто нико-

му не был нужен, он ведь не ездил на гастроли, заграничные гастроли были не для него. О, их надо было заслуживать. Вот Ирина с энтузиазмом заслуживала. Подозрительно вдохновенно. Ей уже не нужно было так стараться, это-то её и погубило, то есть Катю. А Ирина что ж? Она всех переиграла. После Катиной смерти у них произошла какая-то растерянность. Гастроли в Австралию и Англию отменить уже было невозможно. Но какая охрана была приставлена к Ирине, какое откровенное наблюдение! И всё равно она всех переиграла. Когда Ирина осталась в Лондоне, у неё уже лежал в кармане подписанный контракт. Она слиняла раньше, чем они успели как следует сосредоточиться. Она исчезла просто в момент вселения, во время всей этой беготни по номерам, среди гвалта летучих ссор, писклявых обид и громоздких чемоданов. То ли у неё окно не закрывалось, то ли унитаз тёк. Молодой подручный Петровича, кудрявый «настройщик» оркестра мчался за ней по коридору, уговаривая: «Ирина Константиновна, ну что вы, не беспокойтесь, мы всё сделаем.» Но она же первоклассная актриса, она так бурно возмущалась, так негодовала, и, кроме того, она ведь неплохо знала язык, а что «настройщик» мог объяснить? Переводчица была занята: обслуживала беседу Анисимова с какими-то британскими чинушами. Самое замечательное, что она вернулась, прибежала успокоенная, может быть, проверила маршрут, все лестницы, переходы, ходы-выходы. Ей обещали, что мастер незамедлительно появится. «Настройщик» от неё не отходил. Красавчик, между прочим, все смеялись, говорили, что похож на меня. И вдруг она снова сорвалась: «Я, кажется, не сказала в какой номер...», оглянулась, зашипела на настройщика: «Ну что вы за мной ходите, вы что слышали, чтобы кто-нибудь удирает ДО гастролей?». Умчалась вдаль с пустыми руками. Но я думаю, с бриллиантами на груди, или не на груди – неважно. На следующее утро девочки ахали по поводу оставленных ею вещей. Но мысли о безоглядности Ирины были смешны. Когда мы возвращались после завтрака из ресторана, два полицейских опечатывали её номер. Потом, говорят, по её описи все вещички были ей доставлены в другой, тайный отель.

Помнишь, как Петрович приходил прощаться? Многие радовались, что поперли его из театра, а многие даже жалели – все-таки к нему приспособились. У него слезы были в глазах – точно помню. Ну не без этого, разумеется, уже принял с утра. Но зрелище плачущего чекиста все же вызывало тихое ликование, хотя Ирину ругали последними словами и очень искренне – так было принято.

Да, Ирина им всем отомстила. Но это произошло уже после всего, после гибели всего, что так важно было для меня.

Впрочем, я отвлекся. Так вот, вызвали и меня, наконец, в кабинет к Петровичу. Сотрудничать не предлагали. Так, спрашивали. О планах, о самочувствии, не слишком ли перетруждает меня Анисимов, нравится ли мне с ним работать, поинтересовались моим мнением о будущем спектакле, сами заговорили о конкурсе. Хорошо помню лицо самого старшего (какие-то еще люди сидели вдали от стола). Лицо у него было худое, совершенно интеллигентное, слегка как бы уставшее, красивый костистый нос, глаза внимательные, но мимика почти отсутствовала.

– Ну вот, видите, мы всё знаем. Вы поедете на конкурс, мы вам поможем и будем искренне желать вам успеха. Только не надо делать глупостей.

– Да что они хотели-то? – вскрикнула Лена.

Борис покривил губы, пожал плечами, головы не поднял – было заметно, что он и сейчас волнуется.

– Тогда мне показалось, они просят меня не делать резких телодвижений, рекомендуют просто ждать и как бы обещают, что всё уладят сами. И хотя я уверен, что Петрович подсыпал мне в кофе какую-то затормаживающую гадость – он, как шестерка бегал, подавал всем кофе – в голове непрерывно крутился вопрос: кто же из них? Катя или Никита? При этом я послушно, хотя и замедленно, отвечал на все их вопросы, даже излишне подробно. Они меня останавливали даже, не дослушивали. Вот так. Я клянусь тебе, я дал отбой. Я подал так, что всё устроил, что Анисимов решил в нашу пользу. Что нам помогут. Надо только сидеть и ждать. И Катя не удивилась.

«Да? – сказала она и подняла тоненькие бровки, усмехнулась, – Ну и замечательно».

17.

– Катя всем представлялась ангелом. Гений чистой красоты, и больше ничего. Но прежде всего это была безумная воля. Тщеславие? Нет, это слишком слабое слово. В твоём доме все её любили? Ну и что? Любовь, вообще, такая вещь... Ну что тут говорить, если даже вековая русская мудрость считает, что любовь и козел две вещи очень даже совместные. А тут небесное создание, да еще такое отзывчивое. Но учти, только для тебя, для твоего деда, для ваших. Она знала, за что платит. Ты вот жила когданибудь в общежитии, где бугристые стены выкрашены страшнорозеленой краской? Такая была специальная масляная краска. И везде – и в комнате, и в коридоре, и на лестнице, и в огромной холодной кухне пахнет уборной. И все время ждешь какого-нибудь вторжения, чужих голосов, чужого смеха, принудительно бессмысленного общения. Ты жила в провинциальном городе среди тупой, беспросветной нищеты барачного жилья? Вот потому-то провинциалы вас и побеждают.

– Мне кажется, ты родился в Ленинграде?

– Но я жил в огромной коммунальной квартире. И я знал, что такое настоящая бедность. И Катину жизнь я представлял очень хорошо. И мои родители тоже не имели никакого отношения к искусству. Откуда берутся такие, как я и Катя. Вот вам и гены! И могу тебе признаться, я тоже (уверяю тебя, я правильно говорю – тоже) никого не любил. Не любил своих родителей, стеснялся их ничтожности, глупости, их вечного страха, бытового идиотизма, в котором они так изнурились. И меня они не любили, и друг друга ненавидели. Когда отцовскую мать разбил паралич, она несколько лет лежала в нашей вонючей комнате, потому что отец не решал отдать её в дом престарелых, нет, вовсе не из жалости – боялся осуждения соседей, боялся, что на работе станет известно. И мать за ней нарочно не убирала.

Никита, кажется, был первым человеком, который меня действительно полюбил. И мастерская его с распадающейся мебелью, настоящим клавесином и нежными картинами бабушки стал для меня домом. На некоторое время.

Что ж удивительного, что и Катя так прижилась в вашем доме. Так хотела понравиться. И понравилась. Кстати, массаж она и правда делала великолепно. Это у них наследственная профессия. Её дед был деревенский костоправ, а мать дипломированная массажистка в санатории для партийных работников. И такая подпольная легенда существовала, что Катин отец из них, да, с самого верха. Отец – это была запретная тема. Про отца спрашивать было запрещено. Но в глубине души, я думаю, она была уверена, что вся её необыкновенность идет от этого неведомого отца.

Никита правильно вычислил, что Катя была в курсе, что я мог рассчитывать только на него и на Катю. Но меня заверили, что всё будет в порядке. Неужели я должен настаивать на очевидном, что преступные мысли и циничные речи не есть убийство. Мне ведь так просто было уклониться от встречи с тобой. Но мне почему-то важно, чтобы ты знала, я в этом не участвовал. Я не участвовал в этом. Что мне может угрожать теперь? Закон? Общественное мнение? Думай, что хочешь, – вся идея была её. Да, это Катя всё придумывала разные варианты, при этом мы очень смеялись, почему-то разные эти идеи казались нам невероятно смешными.

Тот разговор с Никитой вовсе не был таким определённым, и я ни на чём не настаивал. И потом... О, Господи, это всё-таки была игра. Помню, был такой разговор... Но я воспользовался им, если хочешь, как поводом для резкой истеричной ссоры. Катя не хотела видеть рядом со мной Никиту, особенно после того, как сделала мне предложение. Ты этого не знала? Вот так! Сделала мне предложение. Я провожал её. Кстати, к тебе. Ничего подобного я не слышал ни от одной женщины. А ведь ей было только двадцать лет. Знаешь. Как она сказала: «Мне кажется, тебе имеет смысл на мне жениться». Очень просто сказала. И как-то так... незаинтересованно. То есть было понятно, что мой отказ её не взволнует ничуть. И что она всё

хорошо сосчитала. А мои расчеты (если бы они были, конечно) – неправильные. Но она не настаивает. Мы долго целовались в твоей парадной, и она была очень нежна, сама растегнула на мне дубленку, добралась холодными лапками до голого тела, а на прощание уверенно прошептала: «Мы покорим весь мир». И я с ней согласился.

Я никогда не мог понять, как в ней сочетаются эти прекрасные глаза, восхитительная тонкая кожа, весь этот облик возвышенного, незащитного существа с полным отсутствием сентиментальности – никогда никаких печалей, жалоб, слёз – с четкостью, точностью, жесткостью, да что уж там, просто с жесткостью, особенно к тем, кто восхитится, очаруется, подойдет слишком близко, Ты помнишь, Катину мать сбила машина. О, это было ещё в хореографическом, Анисимов тогда впервые ввел её в «Баядерку». Она сама отказалась лететь в Пермь. Ей деньги на билет собрали. Но она отказалась: «Пока она без сознания, я ей ничем помочь не могу. Зачем я там?» Она оттанцевала премьеру и только потом полетела, когда мать уже могла сидеть и есть самостоятельно. Мысль о том, что за матерью нужен уход, что рядом с ней нужно просто быть, не приходила ей в голову. Самым главным в жизни было что-то другое. Об этом все очень быстро забыли. Не хотели задумываться. Додумать никто не хотел. И Анисимов не хотел. И я, конечно, не хотел. Ни тогда, ни после. Ведь надо было бы делать выводы. Но соблазн мечты, красоты и обмана так велик. А выводы так неутешительны. И за выводами должны следовать поступки. Но это уж совсем невозможно. У кого же на это хватит сил?! Один Никита твердил: «Она опасна, попомни мои слова, она опасна». Но мне тогда в его словах виделся самый простой, примитивный смысл, что, мол, без него я погибну, а Катя опасна именно тем, что хочет меня от него оторвать.

18.

Непреодолимая усталость ватным туманом заползала в душу. Излияния Бориса уже не раздражали, не удивляли, вяз-

ли в этом тумане, не вызывая возмущенного противодействия. Всё стало как-то безразлично. И агрессия её была довольно-таки искусственной и притворной, и голос намеренно неприятен и зол, когда она все-таки накинулась на него:

– Что ж ты хочешь уверить меня, что это КГБ убил Катю! Что Никита перед смертью решил тебя оклеветать! И так отомстить тебе. А ты знаешь, кого он звал в бреду?

– А ты знаешь, кто платил за его лечение? – зарычал Борис, вскочил, ушел в темноту своего подвала, долго шурушал там, бросал какие-то предметы, ругался. Вернулся с огромным пластиковым пакетом и выхватил из пакета что-то продолговатое, плоское, мелькнувшее в полете металлическим бантиком-застежкой.

Рядом с Леной упала катина «косметичка» – маленькая сумочка с потускневшим бантиком. «О, Господи...» И она осторожно коснулась металлического ободка. Это был подарок тёток Кате. А раньше эту сумочку держала бабушкина рука, прижимала к зеленому шелковому платью, шелкала бантиком, пряча театральный гардеробный номерок, выискивая мелочь на програмку и лимонад, или выуживая из бокового карманчика крошечную круглую пудреницу с огорчительной трещиной на коралловой крышке, чтобы незаметно, украдкой быстрым ритуальным движением пуховки обвести бледное лицо у золотого зеркала на мраморной лестнице перед тем, как самой бабушке торжественно всплыть в переливающийся огнями зал в центре зеленого облака из шелка, французских духов и собственной улыбки. А сумочка пристраивалась на бархатном барьерчике ложи, и в меркнувшем свете, в предвкушающей темноте, пока еще не поднялся занавес, но уже запищали, пробуя голос, смычки в оркестре, из неё с невероятными осторожностями, но вместе с тем и с оглушительным грохотаньем серебрянной бумажки извлекалась, разламывалась на кусочки толстая настоящая шоколадка. Медленно поднимался занавес. Начиналось счастье.

– Вот что они искали, – устало сказал Борис и сел на пол.

И тут же Лена вспомнила это лицо, словно тайный осветитель включил мощный прожектор, сфокусировал на этих при-стальных глазах желтый конус луча.

– Елена Сергеевна? Она сразу узнала голос Петровича, хотя он никогда не звонил ей раньше. Что-то случилось внутри: ноги подкосились, она села, дрожали руки, дрожал её собственный голос. Стало страшно. И противно.

– У нас к вам вот такая просьба: пожалуйста, будьте дома завтра, после семи. Только не пугайтесь. Просто хочется побеседовать не в театре.

– Но...я завтра...

– Отменить, отменить, Елена Сергеевна, я вас очень прошу. Настоятельно прошу.

Возражать было нельзя.

И Петрович пришел с этим человеком. Действительно, лицо его было удивительно худым, почти болезненным, узкие губы, ни тени приветственной улыбки, крупный костистый нос. Странность какая-то была в этом лице, заставляющая его поневоле разглядывать. Потом уж Лена поняла, что это особая неподвижность черт, одни лишь глаза были живыми, умными и настойчивыми.

Так они стояли в прихожей. Лена почему-то не могла выдать из себя ни слова. Высунувшимся любопытствующим теткам эти двое очень вежливо поклонялись.

– Это ко мне, – не глядя на теток, просипела Лена и впустила их в свою комнату.

– Понимаете, Елена Сергеевна, – важно вещал Петрович, при этом в странном противоречии с медленным голосом взгляд его шустро обегал всё вокруг. Коллега выбрал самое неосвещенное место, осторожно присел на круглый крутящийся стульчик у рояля.

– Дело в том, Елена Сергеевна, пусть это обычная формальность, но нам важно знать, какие личные вещи Красильниковой у вас остались. И хотя и так всё ясно. К сожалению. Но в таких случаях всё равно ведется следствие. И следствие нужно довести до конца.

– Разве вы ведете следствие? – осмелилась удивиться Лена.

– Ой, не берите в голову, Лена, – с простоватой дружелюбностью молвил Петрович, махнув рукой. – Так полагается. Такая работа.

– Да ничего у меня не осталось. Вот учебники английского, словари, тетрадки, журналы какие-то...

– Так, хорошо, – Петрович, кажется, положил на колено блокнотик и начал в нем что-то прилежно отмечать. – Что еще?

– Куртка её летняя, ракетка пинг-понговая, сумка спортивная, ночная рубашка...

– Сумка? Очень хорошо. Где сумка?

– Елена Сергеевна, – вдруг сказал тенелюбивый человек у рояля, покручиваясь на круглом стульчике, подрагивая ногой, – вас нельзя попросить принести нам сюда два стакана чая, чтобы не беспокоить ваших домашних. Очень замерзли сегодня. Такое впечатление, что зима вернулась.

И Лена послушно вышла в кухню, понимая, что они сейчас сделают быстрый летучий обыск в комнате.

19.

– Знаешь, как его звали? Ну, какое у него было прозвище?

У него много их было. Я потом только узнал... Железная маска, Маска железного Феликса, и самое короткое – Нос. Ты не знала, конечно, ведь Петрович перед уходом тайную отвальную устроил. «Все получили по носу, – сказал он, обнимая меня и чуть не плача, – даже Нос».

Борис стоял к ней спиной, перебирая кассеты. Лена потянулась к сумочке.

– Стой, – закричал он безумным голосом, налетел, схватил за руку, – прошу тебя, не трогай! Подожди.

Наконец, он нашел какую-то кассету, включил телевизор. На экране замелькали какие-то лица, послышалась русская речь, открылся большой банкетный зал, улыбающиеся люди, явно русские, то есть всё ещё советские, только мужчины, довольно однообразно выглядящие – пили, закусывали, переходили от столика к столику, хлопали друг друга по спинам и плечам. Камера приблизилась к двум беседующим, крупным планом показав удивительно знакомое лицо.

– Узнала? Он не очень изменился. Даже не растолстел, нос только, кажется, стал еще больше. Но все так же хорош. Трубка стал курить.

«Ну что ж, вы правы, – сказал Нос, – употреблялись разные средства, в том числе и brain-damage, то есть разрушающие мозг...»

– Что это такое? Откуда это у тебя? – почему-то шепотом заговорила Лена.

– Тихо. Слушай! Потом объясню. Обыкновенное интервью.

Но тут как раз вышла естественная пауза. Нос несколько раз попыхал своей трубкой, шумно вздохнул прямо в объектив, камера поползла по веселым, возбужденным, малотрезвым лицам, показывая уже изрядно разграбленные столы, тарелки с недоеденной ветчиной, слегка надкусанные бутерброды с икрой, скатерть с расплывающимися винными пятнами кровавого цвета.

– Конференция «КГБ вчера, сегодня, завтра,» – ткнул Борис в бегущие титры английского текста.

– «Brain-damage» можно было ввести с пищей, питьем, сигаретами, даже распылить в воздухе, – охотно объяснял Нос, – поведение человека при этом становилось неадекватным. Им можно было управлять, ну, в определенных пределах, конечно. Во всяком случае, его можно было изъять из ситуации. А еще было такое средство, что если им смазать, например, ручку двери, человек дотронется до неё, и тут же инфаркт. Но на моей памяти им воспользовались всего два раза. Всегда боялись, что кто-нибудь другой дотронется.

Сидящий спиной к зрителю журналист спросил, а что ж, мол, такого ужасного, если другой дотронется. Или жалко?

– Нет, конечно, – засмеялся Нос, – но ведь риск разоблачения возрастает. Поэтому старались пользоваться этим средством адресно. То же самое вещество, ну буквально сотая доля миллиграмма, помещалось в растворимую капсулку, та – в пластиковую оболочку, ну вторая такая капсула...

Нос большим и указательным, почти что сомкнутыми пальцами показал, какая маленькая была эта капсула.

– О это было целое устройство, не какая-нибудь тупая таблетка. Там такая была хитрость придумана, серьёзные исследователи работали, эта внешняя капсула была как маленькая раковинка, по форме. Маленькая раковинка от тепла руки прилипала к ладони, изгибалась, створки раскрывались, специальный материал был разработан, и внутренняя начинка выскальзывала, ну, куда хотите: в бокал с шампанским, в рюмку с водкой, в чай, в пиво, в суп, в кофе... И никаких следов. Пустая раковинка исчезала. Человек сжимал руку, и опять же от тепла руки она просто исчезала.

Борис остановил кадр.

– Вот что они искали.

Он щелкнул серебрянным замочком. Из сумочки выкатились палочки губной помады, краска для ресниц, граненый пустой флакончик, перекрученный тюбик засохшего крема, забытые советские монетки, вытряхнулись старые надорванные контрамарки, разлетающиеся странички записной книжки, скомканный, довольно замусоленный платочек – весь этот мистический мусор и ужас вперемешку с заколками, ленточками, какими-то крошками, цветными резиночками, бумажными салфетками, – и выскользнула зелёнька плоская коробочка, которую Борис положил перед Леной, открыл осторожно.

В коробочке, в удобном углублении лежала телесного цвета чешуйка, серорозовая раковинка, микроскопическая пельменинка. Несимметрично она лежала. Рядом было еще одно углубление. Пустое.

Лена потянулась к сумочке. «Это бабушкина сумочка», – хотела сказать. Как в детстве, хотела погладить серебрянный бантик. Но Борис моментально сгрёб всю шелуху воспоминаний, всё до последней крошки побросал обратно, защелкнул бантик, прижал сумочку к груди. Зеленая коробочка осталась на столе.

– Нет, уж... – сказал и сунул сумочку обратно в пластиковый пакет.

И Лена увидела в этот коротенький миг в пакете что-то еще – мягкое, бесформенное, темное – и догадалась: Катина жалкая

кофточка из некрашенной деревенской шерсти, которую ей мать прислала в одной из посылок, сама вязала, конечно, любила свою девочку без памяти. Вспомнились слова Анисимова: «Борис такой же сумасшедший».

Снова замелькали кадры, жуткий фантом снова шевелил губами, пыхал трубкой, делал уверенные жесты, спорил о чем-то с молодым журналистом, дружески касался его руки.

– Ну нет, молодой человек, я с вами не могу согласиться. Брежневские времена были не самые тяжелые в жизни общества. Так уж просто никого не хватало и не сажали. А политические убийства... что ж, они были всегда. И сейчас они есть. А народу жить было спокойно. Ну и что из того, что сейчас говорить можно всё, читать и за границу ездить свободно, хотя и не очень свободно-то. Русских теперь всюду боятся. Нет, нет, система была неплохо продумана. Да и каждое государство нуждается в защите своей безопасности, а этим успешно могут заниматься только хорошо обученные профессионалы.

– То есть, вы ? – спросил журналист.

– Помоложе уже есть, – хмыкнул Нос и с печалью понурился.

(«Подросли, подросли, поганцы», – поддакнул Борис.)

– Значит, были и специальные лаборатории, в которых разрабатывались яды и способы их применения, наверное?

– Конечно! А как вы думали? Ученые работали, химики-аналитики, органики всякие.

– Ну, и против кого применялись?

– Вы и сами можете ответить на этот вопрос. Конкретно я не знаю. Конечно, применялись прежде всего против тех, кто нарушал законы. Да, неписанные законы. Правила игры. Неписанные – они же самые важные. Конечно, карали изменников, перевертышей, ужасно, слов нет, но чтобы человек не остался за границей, его могли выбросить из электрички, отравить, особенно, если он до этого был многолетним осведомителем. Иногда было легче убить, чем не выпустить официально. Много шума поднималось. А так несчастный случай, автомобильная авария или инфаркт...

Борис нажал кнопку. Изображение остановилось. Наискосок повисла самодовольная улыбка Носа.

– Откуда это у тебя?

– Неважно. То есть просто неинтересно.

– Значит, они хотели убить Ирину?

– Ах, ты какая умница. Я ведь тебе еще слова не сказал. Такое предположение получается. Много себе позволять стала, возможно пробалтывалась где-нибудь. С иностранцами общалась, как никто. Когда хотела и где хотела. Контракты себе готовила беззастенчиво.

– Они хотели убить Ирину Катиными руками? Или твоими?

– Идиотка, – взвыл Борис, схватил её руки, сжал больно. – Я не знаю, я ничего точно не знаю, но я хочу, чтобы ты прошла мой путь, хотя я уже много наговорил тебе. А хотелось бы чтобы ты сама делала выводы. Сама бы вычисляла. Всей правды не знает никто. Не помнишь где это, по какому поводу?...Кстати, он погиб, – Борис махнул в сторону застывшего на экране, улыбающегося Носа.

– Да. Застрелили. Полгода назад. У дверей собственного дома. Он же стал крупным финансистом. Вот так. И охрана не спасла. Всех положили. Так что, действительно, подросли профессионалы.

– Но зачем Кате её было убивать? Это невысказано. Она не могла пойти на убийство!

– Но ты же не знаешь, что ей сказали, что обещали. Их ненависть была чувством сильным и взаимным. То, что Ирина ненавидела Катю, ты готова признать. Мы все это наблюдали много раз. А вот то, что Катя ненавидела Ирину...А ведь Ирина обладала властью, кроме того, что всё-таки была небесталанна, и очень даже любила мешать таким возгорающимся звездочкам. У Кати было для ненависти даже больше оснований. В конце концов, Катя знала, что у меня был роман с Ириной. Их чувства были взаимны, уверяю тебя.

– Ах, я забыла, тебя все друг к другу ревновали.

– Да не это я хотел сказать, – скривился Борис, – но мы не знаем, мы никогда не узнаем, что они ей говорили. Да и поче-

му, собственно, убийство? Никакое убийство, может быть, и не планировалось даже.

– Ну конечно, они украли твой замечательный безобидный план легкой тахикардии, чтобы Ирину не выпустили врачи.

– А что? Хороший план...

У Лены снова появилось ощущение, что её, как большую рыбу, умело водят по темной воде: направляют, отпускают, снова подтягивают, вот-вот подведут огромный сачок, выдернут на перевернувшееся небо, на пронзительный, обжигающий небесный сквозняк.

– Я не хочу над этим думать, – сухо сказала она и отпихнула от себя тяжелый стакан с безвкусной ледяной водичкой. – Зачем ты мне это рассказываешь? Зачем вообще ты меня позвал?

– Дорогая моя, ты что забыла? Это ведь ты мне позвонила. Ты сама хотела что-то узнать. Разве не так?

– Я хочу уехать, – она вскочила, поскользнулась на гладкой холодной плите, нелепо взмахнула руками, снова рухнула в кресло и почувствовала с ужасом, что слезы сейчас вырвутся из глаз и самым безобразным образом потекут по щекам на забаву и радость этому гладкому, богатому, демоническому красавцу, не знающему ностальгии и одиночества.

– Хорошо, как скажешь, я отвезу тебя немедленно. Но прежде...

Он вытянул её из кресла, двумя руками взял её руку, не выпускал, заглядывал в глаза.

– Можешь мне не верить. Но я так рад тебя видеть. Честное слово. Здесь же поговорить не с кем. Я почти по-русски не говорю. Да, вот уже два года, наверное. А это такое блаженство. Как говорит один мой умный друг, общаться на тонком уровне можно только на родном языке. Ну, пожалуйста, подожди, не вырывайся. Ну прости меня. Не знаю, чем я тебя обидел, но прости меня, дурака, подожди, послушай, я хочу тебе что-то сказать. У меня есть идея. Да, это я тебя позвал. Ты права. Я просто воспользовался твоим звонком, давно ждал

твоего звонка. У меня есть замечательная идея... Только ты можешь это написать. И мы сделаем прекрасный фильм. Лена, это работа. Я делаю тебе серьезное предложение. Это хорошая работа. Всё, о чем мы с тобой переговорили, почти готовый сценарий. Напиши, Лена! Будь умницей. Я уже всё это вижу! Ну успокойся и давай поговорим теперь, как деловые, очень толковые люди.

И вдруг Лена поняла, что по-настоящему нужна ему, неожиданно для себя успокоилась и спросила:

– Так был у Кати порок сердца? Ты ведь должен был знать.

Борис замолчал и молчал невероятно долго, уставившись на неё немигающим взглядом.

– А это что за новости? Какой порок сердца?

– Скомпенсированный, но все-таки порок.

– Нет, я ничего не знал. И это невозможно. Невозможно было выдерживать такие нагрузки. Да и не принимали в хореографическое с пороком сердца.

Борис говорил очень медленно, как будто говорение отвлекало его, мешало о чем-то думать или припоминать.

– И вообще... Откуда у тебя такие сведения?

– Неважно.

– Ну хорошо, всё это версии, версии, варианты...пожалуйста, твори, возможны всякие версии. Это ведь только материал. Основа. Ты вот что. Ты мне сразу не отвечай. Но и не тяни.

И снова уставился ей в глаза. Длинно и подозрительно. И похоже, всё по глазам её понял.

– Так и быть, – примирительно покивала головой Лена, – Я подумаю.

– О кей !

20.

А через неделю Лена позвонила ему из редакции в неурочный час, точно вычислив его отсутствие, и оставила коротенькое послание на автоответчике:

«Борис, это Лена. Спасибо за чудесный отдых. Предложение твоё принять не могу, старые долги, скучно объяснять. Уверена в твоём успехе. Целую.»

И, как ни странно, в тот же день на неё налетел в коридоре лохматый Василевский, сверкнул приветливым глазом:

– О, Лена! Загорела где-то. Отлично выглядишь. А тебя тут кое-что дожидается.

Развернулся, забежал в свою конуру, вышел, держа за уголок длинный белый конверт без марок.

– Какие люди вам пишут! (Откуда бы ему знать – какие).

Письмо от Анисимова пришло с оказией совершенно неожиданно, (и не обещал, и не договаривались), очень уж быстро, как будто подсмотрел её поездку, подслушал разговоры с Борисом, укоризненно покачивая головой: «Высоко сажу, далеко гляжу».

Ласковое обращение «девочка моя милая» ощутило оставило сердце, но дальше дышать стало легче: пошли обычные остроумия и довольно веселые описания непроходящего абсурда российской жизни, нарастающего распада театра и бесстыдных валютных махинаций директорской банды. Казалось письмо написано в желании развлечь, позабавить, по-вспоминать, в бескорыстном и бесцельном порыве доверительной сентиментальности. Но было там нечто настораживающее, плохо скрытое в кустах театральные новейших баек, в приветях давно забытых знакомых, в легко выполнимых просьбах прислать фотографии, найти журнал, кому-то позвонить.

А к концу письма: «Кстати, может быть, тебе будет интересно, в своих старых бумагах я нашел заключение о Катиней смерти. Списываю тебе. Вот как называется этот порок – митральный стеноз гемодинамический малозначимый. Катя и её безумная мать могли эти обстоятельства долго и успешно скрывать от всяких медицинских комиссий, поскольку, если не наблюдаются нарушения гемодинамики, а для необразованных поясняю, гемодинамика это ток крови, то человек может жить совершенно нормально и выносить очень даже большие нагрузки. До поры, до времени...»

Не надо подходить слишком близко и заглядывать внутрь: там могут копошиться крокодилы.

21.

Прошло чуть более полугода, когда, листая глянцевые страницы роскошного «Данс», Лена натолкнулась на портрет сияющего Бориса в окружении цветов и голоплечих красавиц.

Пробежала глазами текст: «...удивительный русский талант...блистательный танцовщик... изобретательный хореограф...тонкий художник...третий фильм...в роли режиссера...напряженный сюжет...мир балетных кулис...интриги тщеславия в отравленном обществе... тайный яд КГБ... губительный воздух тоталитаризма...на всем печать таланта...»

– На всем печать продажи, – громко сказала Лена и поняла, что соблазна не преодолеет и пойдет смотреть фильм, чтобы повторить эту фразу, кому – неважно, пойдет смотреть, возможно, тайно, с отвращением к себе, но и со сладостным, однако, предвкушением, как всегда перед спуском в привычные, обжитые долины пошлости, в суету болтливой эмигрантского гетто, с заведомой торжествующей уверенностью, что не признает, не примет, не примирится и вернётся в своё одинокое жилище с единственным Отечеством в душе – неопишуемым, неприкосновенным, волшебным и чудовищным Прощедшим, эмиграции из которого не избежал никто.

Дом над озером

Когда в голове Марианны произошел почти слышимый, явственный щелчок и она узнала Нику, стало понятно, почему эта странная русская женщина так отрывала от неё девочку. Поначалу показалось – ничего странного, обычное дело, здесь часто так бывает, соотечественники, заслышав русскую речь, отшатываются и на всякий случай избегают общения. Даже в новогоднюю ночь, когда небо над Альпами засияло волшебными огненными вспышками и зарокатали радостные взрывы над горами и не вполне трезвые незнакомцы, мешая немецкий с английским и итальянским, стали с лучезарными улыбками протягивать друг другу и всем окружающим бокалы с шампанским, бить друг друга по плечам и падать от восторга в снег, люди из России держались своими кучками, отстранённо, настороженно и, неизвестно почему, высокомерно. Нефтяная кучка, приехавшая из России на зимние каникулы, даже детям своим каким-то образом внушила не отвечать на вопросы, заданные на родном языке. Марианна к ним и не подходила.

Но это была Ника, а девочка, стало быть, Оленька. Прошло семь лет.

Девочка сама к ней подкатила на санках и, зарывшись в снег, вывалилась из санок прямо к её ногам. Марианна помогла ей подняться, как помогла бы любому ребёнку, девочка поблагодарила по-английски, и вдруг они заговорили по-русски. «А я вас знаю, вы художница из Петербурга» (кажется, девочка не принадлежит к нефтяной элите). «Откуда ты знаешь?», – «А вот знаю, мне сказали, мы в гости приехали» – «Откуда же вы приехали?» – «Мы прилетели... из Минеаполиса». – «А я думала, из России...». – «Я родилась в России, а теперь живу в Минеаполисе».

Стремительная фурия в распахнутой дубленке слетела откуда-то сверху, схватила девочку за руку, рывком выдернула из снега санки, вдавила туда ребёнка и, яростно отталкива-

ясь ногами, умчалась вместе с девочкой вниз. На мгновение она оглянулась – поворот головы, летящие волосы, закушенная губа, взгляд ненависти и страха. Сполохи новогоднего фейерверка осветили снежное облако, и санки исчезли. Каким-то обратным воспоминательным зрением вернулся этот кадр, застыл перед глазами, в голове произошел вот этот щелчок, и Марианна узнала Нику.

Ника была красавица, но это еще не всё – мало ли красавиц на свете, тоскующих, нецененных, одиноких, переплывающих из депрессии в депрессию, глотающих слезы на темной улице по дороге домой. Ника была не такая красавица. Если кто и говорит, что не родись, мол, красивой, а родись счастливой, то это исключительно тихие завистницы, печально наблюдающие, как во всех отношениях серенькая, невзрачная мышка крепко держит в своих мышиных лапках тоненький поводок, невидимый её удачливому и престижному мужу, но заметный всем грустным неудачницам, которые смотрят во все глаза, но так и не могут понять, по каким законам этот поводок то отпускается широко и щедро, то подтягивается строго и неумолимо. Но речь не о них – не о мышках и не о мышиных завистницах. Это они к слову пришлись, хотя и не случайно, поскольку Ника была как раз такой необыкновенной красавицей, которая родилась, как казалось всем окружающим, счастливой, умной, своенравной и независимой, и зависть испытывать к ней можно было только в смысле, так сказать, метафизическом, признавая исходное человеческое неравенство и несправедливое распределение достоинств, талантов, длин ног и прочих жизненных удач, при которых никакое эгалите заведомо невозможно.

Марианна была знакома с Никой давно, вернее, встречала время от времени в разных художнических компаниях, а чаще всего в мастерской Дрозда, когда Ника была еще бесхозной, вольной красоткой (скорее *уже* бесхозной – как раз в то время она безжалостно покинула молодого мужа, музыкального безутешного гения, композитора и сына композитора). Её бледное и заносчивое лицо с вечной декоративной сигареткой у щеки регулярно сияло в углу необъятного Дроздовско-

го дивана, и хотелось на неё смотреть и смотреть, что Марианна и делала (и, кажется, не только она), представляя, как можно было бы это сияние изобразить.

И вот через много лет новая встреча и другие роли. Ника ждала её на пороге дома. Ни тени удивления на красивом и всё ещё гладком лице, но в глазах появилась холодноватая значительность, выдающая возраст. Дружественно протянутая рука сопровождалась спокойной улыбкой богатой и уверенной женщины: «А мы, кажется, знакомы. Очень рада. Думаю, мы поладим» и повела показывать дом.

Марианна не скрывала эту работу, но и не рассказывала направо и налево, все-таки вступила она как бы в сферу обслуживания, хотя формально её пригласили помогать Полине Викторовне закончить воспоминания, разобрать семейный архив и подготовить фотографии, но в её обязанности входило также сменять ночную сиделку, читать старухе вслух, выводить её на прогулку, с трудом выдерживая на своей руке тяжесть неуклюжего старого тела, приносить из кухни еду, вовремя давать лекарства, а также содействовать в простейших гигиенических процедурах. В первые дни старуха показала ей ужасно капризной и несимпатичной, только постепенно она прониклась к ней сочувствием, представив, каково это дожить знаменитой пианистке до глубокой скрюченности и девяноста двух лет и стать ненужной ни одному из сыновей, которые с мягкой и тихой настойчивостью отправили её все-таки не в Дом престарелых, а к самому младшему преуспевшему внуку, да и тот нанял ей сиделку, медсестру и вот Марианну – для чтения, бесед, выслушивания старухиных бредней, слежения за медсестрой и сиделкой, а сам исчез и появлялся редко, иногда неделями не спускался из своего кабинета в старухину спальню, а если и заглядывал, никогда старуху не целовал, бодрым голосом говорил какую-то ерунду о погоде, а взгляд и мысли его блуждали в других местах. Но с Марианной он был всегда любезен, внимательно просматривал счета, аккуратно платил ей и сиделкам-медсестрам-врачам. Однажды Марианна услышала, как шофер назвал её «старухина секретутка», и это ей было даже приятно, всё-таки не домработница, не нянька, не уборщица.

Однажды Анатолий, уже взявшись за ручку двери, замер и вдруг сказал: «Марианна, знаете, какая у меня идея – принесите мне парочку своих картин, чтобы и не абстрактные, и не реалистические, такие, знаете ли...», – и сделал рукой в воздухе нечто неопределённое и волнистое. «Зачем?» «Ну, у нас же новый офис, вы, наверное, знаете... Можно вот что: какие-нибудь виды Петербурга...». И Марианна принесла, и он заплатил сразу триста долларов, и еще несколько раз покупал её картины, сообразив, что это удобные подарки друзьям и немецким компаньонам, и каждый раз говорил: «Замечательно, замечательно, класс!...эту никому не отдам». И Марианна польщенно улыбалась и даже соглашалась внутри себя, что все-таки он кое-что понимает и даже чувствует. А главное, он всегда щедро платил, и жизнь её приобрела какую-то защиту, всегда можно было на него рассчитывать, хотя она по-настоящему так ни разу и не воспользовалась, но приятно было знать, что в случае острой нужды он поможет, обязательно поможет, и не только деньгами – так ей казалось.

Понаблюдав за этим семейством, Марианна сразу поняла, что у молчаливого Анатолия два дела в жизни – работа и Ника, хотя эту таинственную деятельность – компьютеры, программы, серверы, ресурсы, борьба провайдеров и защита сетей – нельзя было назвать работой, самозабвенная погруженность в нее доходила у Анатолия до уровня страсти, а страсть – какая же это работа.

А Ника, что же Ника – ну, вот она, решила Марианна, – из тех странных, непредсказуемых женщин, которых ничто ни к чему не привязывает, и они могут уйти внезапно, ускользнуть – точно так думал, по-видимому, и Анатолий – всё разрушить и уйти к нищим художникам пить красное вино и петь, свесив над струнами пепельные кудри северной Медузы-горгоны (плюс при этом голос сирены), и действительно, когда она пела, многие каменели.

Вечером приезжали коллеги Анатолия, плохо сочетающиеся с художественными друзьями Ники, но вполне сносно с её ищущими подружками. Среди подружек самой постоянной и верной оставалась тощая и беспечная Шурка, попросту

«Сестрёнка», бывшая натурщица, потом бывшая челночница, не раз прогоравшая в своих опасных вояжах, но успевшая на трудовые челночные остатки завести в центре города какую-то галерею, постоянно, однако, дышащую на ладан.

Почему-то считается, что натурщицы должны быть обязательно красивы, что художники любят красоту, но это не так, абсолютно не так. Художники, особенно художники нового времени, совсем не столь романтичны, как вы полагаете, они решают совсем другие задачи, иногда, притворяясь циниками, они называют эти задачи техническими, но и это неточное слово. Короче, чтобы изобразить сущность материи, им, возможно, нужнее внимательно смотреть на обычные, несовершенные и даже немолодые лица и тела. Между прочим, обнаженная Даная, ждущая свой золотой дождь, и пышные рубенсовские дамы, падающие в пучину Страшного суда, имеют все признаки целлюлита. Приходится признать, что художники понимают красоту по-своему. Во всяком случае, довольно долго Сестрёнка, в которой не было, казалось, ни единой женственной и плавной округлости, оставалась самой популярной натурщицей в Академии. Дрозд, например, утверждал, что за такую модель дорого бы дал ранний Кандинский, за эти ломаные подростковые линии, оливковые тени предплечий и какой-то тревожный ритм её худенького тела. Не очень понятно, что это за «ритм» такой, но он так говорил. И еще – художники не раз снисходительно признавали, что живопись она вроде бы искренне любит – с натурщицами это случается, особенно с бывшими, но вот что удивительно – она очень точно отбирала работы. Марианна регулярно выставляла в Сестрёнкиной галерейке свои картинки, и они там прекрасно продавались, а некоторые даже за живые деньги ушли к хорошим коллекционерам.

Шурка замечательным образом умела соединять любых несоединяемых людей, закручивать смешные разговоры, пробегаая, погладить какого-нибудь молчуна или осмелиться и снять пылинку с утонувшего в кресле мрачного буки, и он неконтролируемо начинал улыбаться. И всё ей почему-то прощалось – и легкие подкалывания гостей, и зверская наблюда-

тельность, и летучие нецензурные словечки, вылетающие не-принуждённо и, как считала придирчивая старуха, к месту. «Ничего, ничего – это такой элемент речи», – охотно поясняла Полина Викторовна с интонацией даже некоторого одобрения. К Сестрёнке она относилась с нежной симпатией, можно сказать, они просто дружили, а к Нике нет, к Нике старуха по любому поводу «ввязалась», хотя и трудно было сыскать повод, не часто появлялась невозмутимая Ника в её душной спальне. Какие-то свои у них были счеты – последствия давних дней.

В шесть приходила ночная сиделка, и нужно было бежать на электричку. Старуха хватала Марианну за руку скрюченными пальцами, сохранившими удивительную силу, и умоляла: «Ну, подожди...ты не дочитала..., да не хочу я телевизор (отмахивалась от сиделки, сиделку она терпеть не могла), ну, пожалуйста, Анна-Мария, попей чайку, а потом мы с тобой сыграем». Старуха любила играть в дурака. «Я тебя приглашаю, можешь ты побыть у меня, наконец, просто в гостях, я торт прикажу дать, ну, прошу тебя, пожалуйста... а хочешь, вина принесут...» Такие представления повторялись почти каждый день. Сиделка молча и злобно копошилась в углу и не вмешивалась. В совсем тяжелых случаях появлялась Ника со своей ледяной улыбкой, приходила на помощь, мягко расцепляла старухину хватку: «Полина Викторовна, у Марианны есть свой дом, и её ждет сын (сын, к сожалению, давно уже не ждал, а ждал больной, всем на свете недовольный муж), она опоздает на электричку». Старуха подчинялась, но успевала вставить: «А вы её на машине отвезите... женщина в темноте, одна на станцию, как можно, совесть у вас есть или нет...» и мстительно кричала вслед: «Вот придёшь завтра, а я умру...» Но на эти угрозы уже никто не обращал внимания, все давно примирились с мыслью, что старуха стала бессмертной.

Однажды они все-таки её отвозили в город, Анатолий сам сел за руль, и Ника тоже поехала, а потом они все вместе оказались почему-то в мастерской Дрозда, и снова услышала Марианна, как Ника поёт и увидела глаза Анатолия, и сразу же свой взгляд отвела – нельзя было на него смотреть, непри-

личная боль была в его глазах, и Марианна почувствовала что-то вроде раздражения – разве можно так не владеть своим лицом. То, что у Ники был роман с Дроздом, при этом роман хронический, то вяло текущий, то вспыхивающий неожиданными обострениями, ни для кого не было тайной, «весь город» давно обсудил и успокоился, но мало ли у кого какие романы были, не принимай всерьёз – «не пробуждай воспоминаний минувших дней», смешно даже, просто как дети, неужели до сих пор это так важно – отношения мужчины и женщины, есть вещи и поважнее. Все эти слова, кажется, уже Сестрѐнка шептала Анатолию, дружески обвинив его послушную руку, склонив головку ему на плечо, и он кивал в такт мелодии, словно соглашался.

Беременность Ники протекала незаметно и почти тайно где-то вдали, на той половине дома, куда Марианне заходить вообще не приходилось. О беременности все знали, но никто не говорил, поскольку желанный результат мог и не произойти, как неоднократно, кажется, уже и бывало, одна лишь старуха шептала Марианне: «Ну, наука, я понимаю, делает теперь чудеса, но не до такой же степени...». И от старухи же Марианна с изумлением узнала, что Нике прошлым летом исполнилось ровно сорок.

Постепенно в доме закончилась вечерняя и ночная жизнь, перестали приезжать гости, замолкли звуки всяческих песен, и куда-то совершенно исчезла Сестрѐнка – сплетничали, что она легла на дно и переживает где-то крупный наезд за невыплаченные долги. И действительно, видимо, были у Сестрѐнки неприятности – среди белой июньской ночи необъяснимо вспыхнула её маленькая галерейка, но не серьёзно, возможно, лишь предупредительным слабым огнём, и была потушена бездомным художником Филей с помощью обыкновенного огнетушителя. Некоторые сомневались – не сам ли бестолковый Фил и поджѐг по неосторожности или по пьяни, но нет, вряд ли, Сестрѐнке ведь именно пожаром и угрожали по телефону.

Почему-то большое товарищеское участие принимал во всех этих Сестрѐнкиных делах Анатолий, куда-то ездил, где-

то встречался с темными личностями в сопровождении собственной охраны, улаживал – и уладил. Каким образом старухе становилось обо всём известно, оставалось полнейшей тайной, но она знала даже слово «стрелка». Когда наутро Полина Викторовна пожаловалась, что всю ночь не спала, и, сделав страшные глаза, объяснила: «Он ездил на стрелку, представляешь...», Марианна в первый момент никак не могла уяснить, почему нужно так волноваться, когда взрослый внук едет с друзьями на Стрелку Васильевского острова любоваться призрачной летней ночью. «Ну, ты просто живешь как на облаке...», – возмутилась древняя пианистка и более не нашла слов.

Присутствие Ники в доме обнаруживалось теперь лишь звуками скрипки. Ближе к вечеру она начинала играть один и тот же концерт Брамса, и Марианна уже знала наизусть, на каком такте музыка начнёт спотыкаться, а старуха зло запищит: «Presto, presto, чёрт поberi...», беспомощно заплачет и затрясётся в своём кресле. Все смолкнет. Свет нельзя будет зажигать очень долго, нужно будет сидеть в темноте молча, не шевелясь и не задавая вопросов, – всему этому Марианна быстро научилась, – пока не раздастся за забором тихое рокотанье мотора, а потом голос Анатолия и шаги сиделки на лестнице.

Ника «переиграла» левую руку очень давно, ей не было еще и тридцати, и многие годы не прикасалась к скрипке – смирилась с невозможностью вернуть пальцам былую подвижность, завела новых друзей, новую компанию, возможно, несколько разгульную, во всяком случае, на взгляд Полины Викторовны, – «какие-то художники, вино, низкий жанр, отвратительно», – и властная старуха вмешалась, начала готовить её к педагогической работе, но... ничего не вышло, а вышла одержимость внука пепельными кудрями и волшебными глазами неудавшейся скрипачки. Когда появились деньги и закуружились вокруг всякие врачи, советчики и шарлатаны, встрепнулась ненадолго надежда, но, скудно питаемая реальными ощущениями, быстро зачахла, а скорее всего, была решительно и безжалостно придавлена самой Никой, которая, презрев

консерваторскую выучку, окончательно взяла в руки гитару и нашла в ней отдохновение, сердечный смысл и неподдельное обожание поклонников. Старуха, однако, не могла принять этот смысл и считала его полной чушью, изменой и предательством, как, впрочем, всю эту непонятную новую жизнь. «Время ушло», – пресекала Ника упреки, и тоже уходила от обсуждений и... вообще уходила.

Был конец августа. Понедельник. Ранним утром ехала Марианна в полупустой электричке, пыталась читать какой-то журнал, но за окном простирались такие прозрачные предосенние дали, что глаз невозможно было оторвать. Разноцветная листва трепетала в холодном небе, торжественно и недвижно стояли розовые сосны, на разоренных уже огородах копошились черные фигурки – едоки картофеля собирали свой жалкий северный урожай. Сойдя с пустой платформы, Марианна вошла в утренний лес. Дачники и дети дачников еще спали, последние денёчки оставались перед школой, и лес стоял необыкновенно тихий, пронизанный широкими полосами дымного света. Марианна остановилась на мгновение, провела рукой по стволу любимой сосны, закрыла глаза, словно хотела удержать в себе, захлопнуть навсегда в драгоценной коробочке памяти эту красоту, и покой, и прелесть начинающегося распада и, наоборот, вытеснить вчерашние тяжелые домашние разговоры и грубость мужа – ничего не поделаешь, приходилось выполнять долг и терпеть чужого, совсем чужого, эгоистичного человека, но больного, все-таки очень больного, в душе которого из сильных чувств остался только страх за собственную жизнь, а из не очень сильных – постоянное раздражение и полное равнодушие к судьбе сына.

Узкая железная калитка распахнулась перед Марианной, как только она сошла с дороги и ступила на тропинку. Самый молодой и приветливый из охранников вышел из своей будки: то ли он чувствовал её интерес к себе (он ровесником был её сыну и вернулся из страшных мест без видимых потерь и с твердым убеждением – «на хрен эту целостность»), то ли просто скучно было парню, но они поболтали немного. Сергей

без осуждения, с несколько отвлеченным уже интересом расспрашивал, какие именно диагнозы теперь освобождают от армии, и неожиданно и трогательно, по-детски признался: «Меня ведь мама вымолила».

Дом встретил Марианну привычной тишиной, только сверху доносилась едва слышная музыка, да из кухни – мирное позвякивание, и вдруг она поняла, что этот чужой дом единственное место, куда она приходит с радостью.

Полина Викторовна приветственно протянула к ней скрюченную ручку, совсем выключила звук и пролепетала: «Мы вчера неожиданно уехали рожать», а потом, отвернувшись к окну, пошевелила губами и добавила: «Ну пусть, пусть, если им так надо».

Преждевременный ребеночек (девочка) имел, кажется, какие-то медицинские проблемы. Их долго не выписывали. Анатолий не появлялся, встреченный случайно Марианной в прихожей, на поздравления сдержанно кивнул, а на вопрос о здоровье новорожденной ответил коротко: «Нормально, это был просто гипердиагноз...».

«Если назовут Полиной, отпишу наследство», – грозилась старуха, хотя все знали, что никакого наследства у неё нет. Но девочку назвали Ольгой в честь матери Ники, и Полина Викторовна пережила это легко, очень быстро привыкла к этому имени, хвасталась по утрам Марианне: «Ты не поверишь, Олюшку вчера принесли, и она мне улыбнулась, подумать только, мне первой улыбнулась, никому еще не улыбалась, а мне, старой крокодилнице, улыбнулась. Даже Анатолий удивился».

Жизнь потекла прежняя, только на другой половине дома раздавались иногда негромкие писк и голоса незнакомых женщин – приехала бодрая и цветущая бабушка Оля, а рядом с детской поселилась молчаливая, но уютная толстая нянька. «...Совершенно классического типа, где только нашли», – одобрительно доложила Марианне старуха. С черного хода спешно достроили наружный лифт, и нянька важно выкатывала коляску из лифта прямо в сад. В теплые и ясные дни нянька чудно, по-видимому, проводила время, устроившись рядом

со спящим ребенком в удобном кресле меж осенних пламенеющих кустов, почитывала толстые газетки, что-то сосредоточенно в них отмечала карандашом или вязала бесконечный белый шарф. К вечеру холодало, и Ника с бабушкой Олей выходили к озеру с коляской, дожидаться Анатолия. И если он приезжал засветло, шофер подвозил к дому одну лишь бабушку, а Ника с Анатолием совершали небольшую прогулку через редющую золотистую рощицу, вокруг вечернего озера, по песчаным тропинкам, по бугристыми сосновым корням, и коляску мрачно толкал впереди себя Анатолий. Но всё чаще возвращались Ника с матерью одни, не дождавшись Анатолия, а он приезжал иногда в полной темноте, правда, и темнело уже к тому времени довольно рано.

Гости почти не появлялись в доме. Небольшой прием, устроенный в честь рождения долгожданной дочери, был очень скромен. Пригласили только друзей Анатолия – никаких художников, никакой музыки, тихие разговоры благовоспитанных, неизвестно откуда взявшихся в России яппи, абсолютно неинтересные Нике и прочим женщинам, собственно, женщин и не было, недолго посидели за столом Ника и бабушка Оля, заглянула нелепо нарядная нянька с маленькой Оленькой на руках, после настойчивых упрасиваний выпила бокал шампанского Марианна, и притворно оживленные мужчины остались одни, расслабились, заговорили на своём птичьем языке, забыв тотчас же повод, по которому собрались они в этот вечер.

В конце октября, когда осенний хлад уже дохнул по-настоящему, Анатолий привез вечером Сестрѐнку, Марианна увидела её из окна верхней кухни, что-то в её облике вызывало удивление, не сразу даже понятно было, что именно, может быть, то, что шла она от машины опустив голову, но это естественно – зарядил сильный дождь, потом она остановилась нерешительно, дожидаясь Анатолия, который что-то говорил шоферу, он догнал её и раскрыл над ней зонтик. Она подняла к нему бледное лицо, слабо улыбнулась, и улыбка погасла. Вот что, оказывается, было таким удивительным – лицо Сестрѐнки без улыбки. Ника вышла к ним, повела Сестрѐнку на-

верх, Анатолий остался на крыльце стряхивать зонтик и курить. Долго стоял и курил.

Через некоторое время в комнату Полины Викторовны постучался шофер и, дернув подбородком с сторону Марианны, сообщил: «Хозяйка велела вас на станцию отвезти, соби-райтесь». Полина Викторовна не преминула съязвить: «Ой, с чего это мы сегодня такие добрые». «Дождь... должно быть», — пояснил исполнительный человек, а Марианна вдруг догадалась, что просто нежелательна кому-то была её встреча с Сестрёнкой, но догадки свои оставила при себе, радостно вско-чила, бросила карты, поцеловала старуху в нежную морщи-нистую щёку и быстро сбежала вниз. В плохо освещенной прихожей Анатолий и Ника замерли друг перед другом, за-молчали, увидев Марианну, но она все-таки услышала глу-хой шепот Анатолия: «Послушай, я жутко устал», и, действи-тельно, было видно, что он едва держится на ногах. А где Сес-трёнка-то была в это время?

На следующий день обиженная старуха сказала: «Представ-ляешь, Сестрёнка ко мне даже не заглянула, что ты на это ска-жешь, как будто меня уже нет в этом доме». Это тоже было на Сестрёнку не очень похоже, Полина Викторовна ей нрави-лась, симпатия была взаимной, до появления Марианны именно Сестрёнка по дружбе развлекала старуху, играла с ней в карты, читала вслух, приносила в подарок самые свежие новости и городские сплетни. Еще несколько раз приезжала Сестрэнка, но Анатолий уже не привозил её, она одна добира-лась от станции по первому чистому снежку, который только здесь и лежал, а в городе мгновенно превращался в жидкую серую грязь. И ни разу, ни разу не навестила Сестрёнка бедную пианистку. Зачем она вообще приезжала? «Ну, мало ли..., — пожимала плечами Марианна, — мало ли, у кого какие про-блемы. Не всегда хочется рассказывать... В конце концов вы можете ей просто позвонить, вот телефон, пожалуйста...» Но гордая старуха звонить не хотела, поджимала губы и отвора-чивалась. А Марианна тоже не хотела вникать в эти отноше-ния, у неё у самой появились проблемы, о которых, вот имен-но, ни с кем и не хотелось говорить — сын окончательно бро-

сил университет, отказался сдавать размножившиеся «хвосты», и страшный призрак армии и угроза зловещей Чечни повисли над семьёй, при том что окончательно замкнувшийся муж даже и не пытался помочь. И деньги, немалые деньги были нужны, чтобы освободить ребенка от армии (муж, конечно, считал, что деньги нужны ему на клапан, без клапана он точно умрёт, а мальчик не точно, может быть, даже и не попадет в Чечню), и, хотя до весеннего призыва было еще далеко, несчастные матери уже перезванивались, искали связи, пугали друг друга жуткими историями дедовщины и картинками чеченского плена, пили сильные снотворные, но зато знали все цены, все верные ходы и все законы.

Потом, конечно, Марианна поняла, почему Полина Викторовна не могла позвонить Сестренке – она почти никогда не оставалась одна, а вести доверительные разговоры при сиделке или даже при Марианне всё-таки не хотела. Да и телефоном она пользовалась неохотно, даже, кажется, говорила об этом, то есть, что телефон не любит – по телефону люди много врут, и глаз не видно. Марианна не раз наблюдала, как после сердечных прощаний, телефонных поцелуев и объятий старуха презрительно произносила: «Старый идиот» (или – «старая идиотка») и раздраженно отбрасывала от себя трубку.

Темные дни катились всё быстрее к Рождеству и Новому году, в последнее время появились новые манеры подчеркнута отмечать и католическое и православное рождество, и «старый» Новый год, и сочельник, и проводились даже какие-то семинары по забытому умению крещенских гаданий. Приближался сезон непрерывных праздников, в ожидании которых Марианна чувствовала себя кем-то вроде диккенсовского оборвыша, тоскливо заглядывающего морозной ночью в светлые окна нарядной гостиной с елкой в огнях, счастливыми детками и подарками в красивых бумажках и ленточках.

В один из декабрьских вечеров старуха вытащила из-под скатёрки и протянула Марианне простой белый конверт: «Я тебя очень прошу – позвони, пожалуйста, тут вот телефон, и

отдай ей в руки, понятно?... Могу я на тебя рассчитывать?» «Конечно», – кивнула Марианна и взяла конверт. «И положи сразу в сумку, да не так, в книжку какую-нибудь. Есть у тебя какая-нибудь книжка? Вот так, хорошо... И никому... Ясно?» Марианна снова кивнула.

Сиделка появилась, как всегда, в шесть, сдержанно поздоровалась, зажгла повсюду свет, надела хрустящий халат – изображала крутой профессионализм, впрочем, она, действительно, была профессионалкой, ей и платили больше, тем более – ночное дежурство, хотя...ночью она просто спала на удобном диване, а не на какой-нибудь раскладушке, сделав предварительно старухе положенный укол. («Неизвестно, что она там мне колет»)

Когда сиделка пошла в ванную мыть руки перед ежедневным массажем, Полина Викторовна подмигнула Марианне, почему-то перекрестила её, а затем подняла сжатый кулачок в бодром революционном жесте.

Марианна, улыбаясь, начала спускаться по лестнице.

Внизу её ждала Ника. «Марианна, – сказала Ника, – пожалуйста, отдайте мне письмо». Марианна задохнулась, затрясла головой, но не смогла вымолвить ни слова – какие-то невразумительные междометья вырвались у неё вместе с новым глотком воздуха. «Отдайте мне письмо, – повторила Ника, – или завтра я прикажу охране не впускать вас сюда». Участок окружён был высоким забором, над воротами висели две видеокамеры, рассматривающие каждого идущего к дому человека, и два охранника обычно дежурили в прозрачной будке у входа. (Потом, через какое-то время, может быть, когда она уже ехала в электричке, и лицо все еще продолжало гореть, ей пришла в голову мысль – неужели в старухиной спальне тоже была видеокамера, или подслушка, а иначе как..? «Нет, нет, – сказала она себе, – невозможно», но отвратительное чувство униженности – осталось.)

И она отдала Нике конверт. «И вот еще что, – процедила Ника, пряча письмо в складках длинной юбки, – надеюсь, вы понимаете, что мы хорошо платим за молчание...и, наоборот...»

Марианна не могла потерять эту работу – к весне, то есть не к весне, а уже к февралю, в крайнем случае, к марту нужно было набрать где-то пять тысяч долларов – минимальная цена за нужный диагноз, освобождающий от армии надёжно и навсегда.

«Ну, ты видела Сестрёнку?» – спросила через несколько дней Полина Викторовна. И Марианна изумилась себе, как легко у неё получилось соврать. Старуха удовлетворённо хмыкнула, поинтересовалась почему-то, где они встретились и как Сестрёнка выглядела.

«На Площади Восстания», – ответила Марианна, не глядя на неё, как бы с интересом разглядывая фотографии знаменитых старухиных учеников. Интуитивно усвоила она одно из главных правил успешного вранья – не смотреть на того, кому врешь, нет, не отводить взгляд, это как раз очень опасно, а именно не смотреть, продолжая делать что-то другое, отвечать как бы вскользь, между прочим. «Как выглядела? Нормально выглядела?»

Старуха глянула на неё внимательно: «Что за дурацкая привычка – переспрашивать. Ты где? Что с тобой, у тебя неприятности?»

Необходимость искусственного клапана для мужа, однако, не была такой уж неожиданной неприятностью – просто обыкновенная неразрешимая проблема. «Ну что вы хотите, его клапан напрочь съеден ревматическими узлами», – почти закричал на неё профессор и даже снисходительно попытался объяснить работу сердца, вот именно что на пальцах, пошевелил ими в воздухе, изображая движение сердечных лепестков на границе предсердия и желудочка. На вопрос, как срочно, профессор ничего не ответил, помолчал, как бы что-то соображая, и отправил к своему ассистенту: «Если вы решитесь, вам всё объяснят». Марианна, собственно, и так уже знала, что один только нормальный клапан (без оплаты операции, анестезиолога, последующего ухода и прочего) стоит десять тысяч долларов. Ассистент давно уже подготовил почву и, хохотнув, даже рассказал непринужденно подходящий к случаю анекдот. Пациент вздыхает и говорит врачу (груст-

но): «Да, доктор,... верно люди говорят – здоровье за деньги не купишь». Врач пациенту (строго): «Кто вам сказал такую глупость?»

Одно лишь правильно говорили люди: если уж что-то начнет сыпаться, то всё – отворяй ворота. Именно в эти дни наглый техник-смотритель заявил, что с нового года мастерскую у неё отберут: «Вы ведь все равно сдаете, нехорошо...не по назначению, даже каким-то не художникам, там вообще непонятно, кто живёт, и вообще...аварийный дом». Марианна как раз сдавала двум девочкам-художницам из Мухи, однако для жилья, всего за столык, какой-никакой доход. «Но, – выдержал техник-смотритель игривую паузу и развязно улыбнулся (Марианна почему-то вспомнила ассистента профессора), – штуку на бочку и лады». – «Так ведь аварийный же дом», – «Да что вы, блин, всё аварийный да аварийный, на века строили, нас переживет и внуков наших». Вот тоже приметы новых времён – народ с легкостью научился просить и давать взятки и взяточники.

В конце декабря они отстояли длинную очередь в Германское консульство и сдали (все-таки) давно заполненные анкеты в слабой надежде через год-полтора получить разрешение, а до той поры держаться на таблетках, которые, кстати сказать, тоже стоили немало, но от армии все равно надо было освобождаться, иначе не выпустят.

Полина Викторовна очень спокойно встретила доверенный ей секрет: «О, целый год или больше, может, я столько и не проживу, не тревожься, а потом еще всякие хлопоты, оформления, билеты, будем с тобой жить дальше». Утешала: «Ты найдешь там работу, обязательно, ну, например, может быть, сначала в театре, художницей по костюмам, ты так много умеешь, и язык выучишь, тем более язык для тебя не так уж важен, и для меня не был бы важен, мы ведь с тобой кто..., мы ведь, Gott sei Dank (щегольнула немецким), вне второй сигнальной системы...», тем не менее, велела достать с полки учебник немецкого и тоненькие немецкие книжки, совсем легкие, для школьников, заставляла Марианну читать «О, у тебя будет отличное произношение, ты музыкальный человек, и ни-

кому не верь, что трудный язык, очень организованный язык, надо только понять, знаешь слово – алгоритм?...»

В ночь Нового года Марианна стояла у окна темной спальни, без особой мысли разглядывая освещенные окна напротив, там шло возбужденное мелькание, доносилась музыка и радостные вопли. Только что отзвучали кремлевские куранты, и «дорогие россияне» после ритуального шампанского пошли на серьёзное повышение градуса и, тыкая вилками в соленые грибочки, в большинстве своём надолго устали в телевизоры, откуда непрерывающимся потоком лились бессмысленные песни, танцы и кривляния, а также постоянные напоминания о том, что живут они «в это непростое время». Муж сидел в соседней комнате, в своём любимом кресле и с большим наслаждением упивался этой пошлостью, отлично питающей его дежурное раздражение, и телевизор не выключал, даже как-то оживился, время от времени вскрикивал: «Нет, нет, это кошмар, просто конец света, ты только взгляни». Сын давно уже ускользнул в непонятную компанию любителей дикой молодой попсы.

Было о чем подумать Марианне в новогоднюю ночь. Несколько часов назад она вышла из ворот «усадьбы», неся за спиной в своём рюкзаке царский подарок семейства, аккуратную, легкую электрическую соковыжималку, завернутые в фольгу куски разнообразных пирогов, (какие-то из них, кажется, даже сама Ника испекла), а в нагрудном кармашке куртки конверт, который ей вручил Анатолий с улыбкой несколько смущенной, боялся обидеть, что ли, «новогодняя премия, – сказал, – так положено». Когда за спиной Марианны закрылась длинная металлическая калитка и охранник помахал на прощанье рукой, на тропинке выросла темная покачивающаяся фигура. Марианна инстинктивно отпрянула назад, первое побуждение было вернуться под защиту вооруженного человека, но увидела, что фигура женская, и остановилась. Раздался знакомый голос: «Не бойся, Маша, это я, Дубровский». Перед ней стояла Сестрѐнка. По щекам Сестрѐнки текли слѐзы. И она была пьяна. «Боже, почему ты здесь?» – «А туда меня не пускают, – и Сестрѐнка махнула варежкой в

сторону дома, – но т-ссс, мне ничего не надо. Не думай, я выпила, потому что очень холодно». – «Послушай, давай я позвоню охраннику, сегодня дежурит Сергей». – «Нет, он меня уже прогнал, а ты иди, иди, еще и тебе влетит, я заразная, со мной никому нельзя разговаривать, то есть – мне ни с кем нельзя разговаривать, мне надо убраться отсюда, да... но теперь что уж... все равно буду гореть в адском пламени». Никто не шепнул Марианне: «Запомни, запомни, эти слова», и она пошла дальше, к станции, однако с тяжелым сердцем, как будто оставила в холоде и горе беззащитного ребенка. Наступала новогодняя ночь.

И все-таки работу Марианна потеряла, и случилось это, как всё неприятное, что случалось с ней в последнее время, внезапно. В начале января – еще длились новогодние праздники – позвонил Анатолий: «Мне очень жаль...Полина Викторовна в больнице. По всей видимости – непроходимость». – «Может быть, нужна моя помощь?» – «Спасибо, пока нет..., – и еще раз повторил, – мне очень жаль, что так получилось...», понимал, конечно, что это значит для Марианны. В конце разговора он, как будто сжалившись, добавил: «Я вам позвоню». И она застыла над телефоном, и чувствуя, что ноги не держат, дошла до дивана, рухнула, охватила голову руками, то есть проделала всё, что делает человек, когда вдруг все расчеты, а именно, в прямом смысле, подсчеты ресурсов, и все ожидания гибнут в один миг, и нужно всё начинать сначала, но нет уже никаких сил. Потом слабый стыд зацарапался в груди – стало жаль старуху, и вместе со стыдом, как-то параллельно пришла гнусенькая мысль не порывать все-таки с этим семейством – надежда, что Анатолий поможет, еще существовала, других богатых знакомых у неё не было – и от этого стало еще стыднее.

Но Анатолий не позвонил, и она позвонила через некоторое время сама. Подошла Ника, и голос её был сух, даже и для Ники чересчур сух и сдержан. Понятно было только, что Полина Викторовна все еще в больнице, жива, но чувствует себя плохо. На вопрос, в какой больнице и можно ли её навестить, ответила пустая тишина в трубке, и начались гудки. Еще не-

сколько раз звонила Марианна, но напрасно – даже не включался автоответчик. Похоже было, что не нужна она им, сполна рассчитались с прислугой и забыли.

Зима прошла в темной тоске, заботах и судорожных распродажах. Книги – старинные и, как ей казалось, довольно ценные – никто уже не покупал, или покупали понимающие люди за сущие гроши. Мало находилось желающих листать пожелтевшие страницы с дивными картинками под прозрачными папиросными бумажками. Удалось продать несколько старых картинок практически за бесценок, остальные раздарила, как раздарила и всё имущество из мастерской – развязный техник-смотритель потерпел полное поражение в своих домогательствах, злобно махнул на неё рукой и велел немедленно выметаться. Девочки из Мухи грустно упаковали свои чемоданы, рюкзаки и сумки, покорно съехали, честно заплатив последние сто долларов.

И вот ведь часто так бывает, когда иссякают надежды, – Марианна случайно встретила забытую школьную подругу, которая без звука и ненужных распросов одолжила деньги (причем без процентов, а ведь это редкость в нынешние времена), просто дала деньги на жизнь, просто на еду, устроила её в американскую фирму, торгующую квартирами, где сама успешно крутилась, уверила, что слово риелтор не является бранным, так же как, допустим, менеджер, и принялась добровольно, с непонятной страстью курировать обнищавшую художницу. Марианна прошла короткое обучение. Лекции собирали несметное количество жаждущих финансового успеха мальчиков и девочек, перед которыми выступали разные опытные люди, в том числе и юристы, призывали с кафедры действовать только по закону и не обходить порядок, установленный в фирме – нарушение порядка приводит к ужасным происшествиям. Например, вот к таким – одна милая девушка-агент решила самостоятельно повернуть сделку, то есть не заплатить фирме проценты, положила в ячейку банка огромные тыщи, естественно, не рублей, а через некоторое время исчезла, и голову её нашли аккуратно в этой самой ячейке, но денег там, конечно, уже не было. И другие страш-

ные истории, леденящие, как говорится, кровь, рассказывали лекторы, и даже с явным сладострастием. А однажды быстро пробежал по проходу и буквально выпрыгнул на сцену сам владелец фирмы, бодрый американец средних лет в короткой рубашончке и шортах, расписанных долларowymi знаками, хотя за окном, на улице все еще лежал снег. И, разумеется, поразил своим видом публику. В последующем выступлении весёлый иностранец уверил, что успех бизнеса во многом зависит от умения потрясти воображение клиента, внушить ему непреодолимую симпатию и доверие, что и сделал, пригласив вечером к себе в гости всех присутствующих, и выбросил широким веером в зал россыпь своих визитных карточек. Восторженным и преданным рёвом ответили ему люди и кинулись эти карточки ловить. Одна из карточек просто упала на колени к Марианне, без всяких усилий с её стороны, она взяла карточку с золотыми буквами на двух языках, повертела равнодушно и отдала подруге

«Нет, нет. Никуда не пойду», – сказала Марианна, но руководящая подруга настояла: «Обязательно нужно пойти, неужели тебе не любопытно, там есть на что посмотреть» и практически за ручку привела её в квартиру зарубежного богача. Квартира располагалась на набережной реки Мойки. Анфилада из восьми комнат распахнула зеркальные просторы перед толпой новых сотрудников, только что успешно сдавших смешные экзамены, а за этими комнатами стояли закрытыми от посторонних глаз еще какие-то семейные личные покои. Сама семья в виде молодой русской жены, по слухам, бывшей пулковской девушки, и очаровательной девочки, пяти приблизительно лет с американским флажком в руке, встречала шумных новичков у входа в квадратный зал, где ждали всех фуршетные столы. На стенах висели якобы старинные картины, вдоль стен замерли по-лакейски одетые мальчики в количестве одиннадцати человек – слуги, а на небольшом возвышении в глубине зала сидел в полной готовности оркестрик и кривил иронические улыбки.

С удивлением увидела Марианна в толпе, кинувшейся к американскому угощению, даже несколько знакомых лиц.

И одно лицо, принадлежащее юному программисту, не раз бывавшему в доме над озером, на бегу, блестя глазами, сообщило, что Анатолий ушел от Ники. «Не может быть», – обомлела Марианна. «Да, вот, представь себе...» – почему-то радостно прокричало лицо и, совсем уже убегая, добавило, что Полина Викторовна всё еще жива и находится в Доме престарелых.

Теперь каждый день Марианна приходила в офис фирмы, который представлял собой длинное неуютное помещение, заставленное ободранными столами, правда, на каждом был телефон и компьютер. Старалась прийти пораньше, чтобы занять стол, снять всю информацию, сделать необходимые звонки. Пыталась перекричать постоянный гул, громкие разговоры и такие же звонки коллег. Все почему-то кричали дикими голосами: «Ваш сын получит отличную однушку», – «Ребята, у кого есть дешевая подстава?», – «Сделай ему доверку, и все дела». В каждом деле возникает свой сленг, но Марианне он не казался забавным, окружающее поколение было чужим и неприятным, хотя попадались интеллигентные экземпляры. В отличие от подруги, она никак не могла вдохновиться этой деятельностью и впасть в азарт, в который многие так замечательно впадали и, казалось, уже просто не могли жить без этой увлекательной игры, отдавая ей всё время и все способности. Постепенно возникли среди них настоящие асы комбинаторики, с невероятной легкостью рассеяющие огромные питерские коммуналки. Со временем становились эти умельцы если не окончательными толстосумами, то вполне состоятельными людьми, покупали «доходные» квартиры, надежно обеспечивали детей и, разобравшись в непростых риелторских секретах, мечтали уже о собственных фирмах. Были и такие, для которых это занятие стало забавным хобби, например, для програмиста, встреченного на фуршете у демократичного американца. Оказалось, бывший гость дома над озером как работал у Анатолия, так и работает, а в эту фирму попал, чтобы найти себе квартиру без посредников, и нашёл, но что-то зацепило и остался. Однажды, как всегда на бегу, выложил: «Анатолий ищет квартиру для Ники. Не хочешь поучаствовать?» и тут же скрылся, не дождавшись ответа.

Совершенно неожиданно для себя самой Марианна легко прошла стажерский период и быстро вышла в агенты, обогнав начинавших вместе с ней молодых проныр. Её тихий голос и честное желание помочь вызывали, по-видимому, у людей большее доверие, чем бьющие копытами разбитные маклеры. Какие-то другие законы бизнеса действовали в бедной России. Первыми клиентами были, как правило, обычные люди – знакомые и знакомые знакомых. Кто-то хотел разъехаться с сыном-алкоголиком, кто-то просто вырваться из безнадежной коммуналки, кто-то продавал комнатку, оставшуюся от бабушки, – обычные мелкие житейские дела, потом, правда, появились другие клиенты. Но сначала Марианна исходила километры городских разбитых улиц, продуваемые мусорные пространства окраин, выщербленные лестницы центральных домов, где сохранились еще чугунные решетки с растительными узорами модерна. Случалось заходить в старые парадные, где некогда жили одноклассники (где они теперь?), – сложная смесь запахов кошачьей и человеческой мочи, гнилой картошки и болотной сырости. Нет, тогда так не было. Какие-то были тогда дворники, кто-то убирал лестницы, и парадные запирались, возвращаясь за полночь, надо было звонить, и всклокоченная дворничиха, с трудом разлепив глаза, безропотно отпирала, с любопытством разглядывая провожающего, могла и прокомментировать: «Ну, Марьянка, давешний-то мальчонка посимпатишнее был».

Потом появились и другие клиенты, и другие жилища пришлось увидеть, с евроремонтом и всяческими джакузи. Не всегда это были воспитанные и доброжелательные клиенты, особенно когда они сами не знали, что им нужно. Капризность была их родовой чертой. Иногда капризничали они даже в ущерб собственной выгоде, потому что казались себе, должно быть, от этого интереснее и значительнее. Особенно дамы. И еще одна родовая черта отличала их – неразумная жадность, когда нужен был заключительный аккорд при расселении больших коммуналок. Бедняки просили на ремонт. Богатеи жалась и не давали, и тщательно выстроенная сделка рушилась. Но приходилось работать со всякими. И Марианна на-

училась, тем более, что стало уже легче дышать, и долги постепенно отдавались, и появились полезные связи, в том числе – нужные медицинские.

Важный лысый медик, с которым её свела милая дама, искательница недорогой двушки в центре, велел принести все справки, выписки и анализы сына, долго и вдумчиво изучал бумажки, какие-то отодвигал, а какие-то рассматривал подолгу, откидываясь в кресле, прикрывал глаза, сосредоточенно гладил лысину, шевелил губами, что-то искал в компьютере и, наконец, уверенно изрёк: «Так, пожалуй, всё ясно – будем работать с почками. Согласны?» – «Да, да, конечно, – заспешила Марианна, – как скажете...» На выходе из кабинета пять тысяч долларов упорхнули из её сумочки. Лысый отечески положил ей руку на плечо и со сдержанной лаской произнёс: «И ничего не бойтесь». Кажется, она сделала всё, как велели, но, спускаясь по широкой мраморной лестнице, почему-то вздрогнула и вспомнила случай с неизвестным ей Захаром Давидовичем, рассказанный той самой дамой, которая и сводила.

Получив для сына безукоризненный белый билет, Захар Давидович пробрался очень высоко, в кабинет почти недоступного начальника и раскрыл перед ним весь механизм освобождения от армии, в том числе и его непомерно большую для простых людей цену. «У мальчика, на самом деле, больные почки. Понимаете, больные почки», – повторял жаждущий справедливости отец. Начальник слушал очень вежливо и внимательно, сокрушённо качал головой: «Да, бывают еще такие частные случаи, но вы не волнуйтесь, мы обязательно, обязательно разберёмся, и деньги вам вернут», потом озабоченно глянул на часы, извинился, сказал, что оставит посетителя буквально на минуту, и вышел. Обнадеженный, наивный Захар Давидович остался в кабинете один, расслабился в удобном мягком кресле, успокоенно вертел головой, разглядывая стены в деревянных панелях и красивые корешки медицинских книг на полках, как вдруг дверь отворилась, и в комнату вошли два крупных человека, вытряхнули его из кресла и сказали такие примерно слова: «Ты что, сучара позорная, захотел?...хочешь, чтоб мы сыну твоему вообще почки выре-

зали? сваливай в свой...(далее шло название страны, куда, по мнению грубиянов, собрался бледный как смерть Захар Давидович), и побыстрей». Были еще какие-то неприятные слова, но их уже Захар Давидович не слышал, нетвердыми ногами спускался он по мраморной лестнице к гардеробу, и номерок в руке его мелко-мелко дрожал.

«Анна-Мария, как поживаешь, деточка? Узнаешь ли ты еще мой голос? Сознайся, ты ведь тоже решила, что я давно померла», – голос звучал в трубке хрипло и, действительно, довольно потусторонне. «Полина Викторовна, – закричала Марианна, – дорогая, как я хочу вас видеть».

«Нет ничего проще, приезжай», – ответила Полина Викторовна и очень толково рассказала, как доехать, где сойти, куда повернуть и кого спросить.

Нет, это не был обычный Дом престарелых. В просторном вестибюле её встретила любезная привлекательная женщина, провела по светлому коридору, одна стена – сплошное сияющее стекло, вдоль другой чуть приоткрытые двери палат. Солнце заливало паркетный пол, за чистыми окнами шумела разноцветная листва новой осени, а на широких подоконниках стояли в вазах срезанные астры и еще какие-то вьющиеся растения в цветочных горшках. Но...странный запах, тяжелый дух выползал из дверей. Уловив её гримасу, услужливая женщина виновато улыбнулась, махнула рукой куда-то в сторону и объяснила: «Мы ведь двадцать процентов должны отдавать городу, ну, вот там общие палаты и, практически, все лежачие, конечно, пахнет... Но ваша-то, вип-стараушка, она вообще на другом этаже»

У Полины Викторовны была крошечная однокомнатная квартирка – необжитые белые стены, казенная пустота, только в углу стояла домашняя старинная горка, в нише – её собственная кровать с высокими деревянными спинками, рядом – знакомый овальный столик, заваленный книгами. Еще на столике стояло какое-то устройство с огромной линзой и подставкой для чтения. На аккуратно застеленной кровати валялся ноут-бук. («Вот это да!» – сказали глаза Марианны, ответный взгляд: «Да, вот так, знай наших»).

Старуха встретила Марианну на ногах, двумя руками опираясь на две палки, но поблизости сверкало никелированным блеском новое удобное кресло, легко управляемое, как потом выяснилось, замечательным моторчиком. «Но почему, почему вы здесь, – начала Марианна, вспоминая жуткий запах с первого этажа, похоже, он доходил даже сюда, – что случилось?» – «Ах, деточка, ну ты же знаешь, что произошло, но я надеюсь, скоро отсюда уеду, вот увидишь, и не думай, не думай – не в последний путь (гордо). А сейчас мы с тобой погуляем. Хорошо?» И когда Марианна помогала старухе устроиться в кресле, укрывала ей ноги пледом, застёгивала куртку и поправляла воротник, Полина Викторовна вдруг зашептала ей прямо в ухо: «Ты можешь, конечно, смеяться над сумасшедшей старухой, но я просто боялась. Мне казалось, она хочет меня убить».

Марианна так и не успела спросить Полину Викторовну, когда она догадалась, что Сестрёнка беременна. Вряд ли Анатолий или Ника проговорились. Единственное, что правильно вычислила старуха, это то, что последний выкидыш лишил Нику возможности иметь детей. Впрочем, почему – вычислила, возможно, просто знала. Но в то время, когда они сидели друг напротив друга в сумрачном парке – Марианна на краешке холодной скамейки, а Полина Викторовна, устав от собственного рассказа, в своём новом кресле – мелкие детали уже не имели значения. Даже фраза такая была брошена старухой вскользь: «Есть, конечно, кой-какие детали, но я их касаться не буду». Впоследствии Марианне пришлось в голову, что, возможно, и были у Сестрёнки серьёзные неприятности и долги, точно были, и нужны были деньги, может быть, эти детали имелись в виду. Хотя...родить ребенка от Анатолия Сестрёнка могла бы и даром, особенно в прежние времена, вполне в её духе и в духе, пожалуй, их богемной компании.

Когда наступил срок, Анатолий отвез в институт Отто периодически стонущую Сестрёнку, сдал паспорт Ники, никто не сличал, естественно, фотографию красивой спокойной женщины с потным лицом невменяемой роженицы, сильно

пругали за то, что не было карточки из женской консультации, но сценарий был разработан заранее, Анатолий изобразил растерянного идиота, объяснил отсутствие карточки долгим пребыванием за границей, рассовал теткам авансовые купюры, и роды пошли.

Крепкая, быстро порозовевшая девочка выписана была из родильного дома со всеми необходимыми законными бумажками, въехала наследницей в прекрасный дом над озером и через положенное время получила свидетельство о рождении с хорошим именем Ольга.

Месяца через два Сестренка первый раз попросила разрешения посмотреть на девочку. Она сама разыскала Анатолия, собственно, он и не скрывался и даже обрадовался встрече, и он привёз её, а как можно было отказать, и Ника встретила её приветливо – жива была еще благодарность в сердце. Но возможно, очень даже возможно, что какие-то недовольства, условия и ограничения уже тогда осторожно были высказаны, и Анатолий выслушал их молча, хотя и без особого понимания. А во второй и в третий раз встречена была Сестрёнка с некоторым поджиманием губ, а в следующие разы уже и с явной враждебностью, а Полина Викторовна услышала обрывок телефонного разговора: «Ты нарушаешь договор, мы не можем спокойно жить...». И так всё шло, пока не дошло до того, что в Новый год Ника приказала охране Сестрёнку не впускать. И вот тут, по-видимому, Анатолий встал на защиту. Нормальный порыв – защитить того, кому сейчас плохо, хотя и неизвестно, видел ли он плачущую Сестрёнку, которая так надоела доброму, в общем-то, охраннику, что он кричал на неё грубым голосом.

«Так ты говоришь, она была пьяна. Боже, какая безвкусная картина...Как безвкусна бывает иногда жизнь». Полина Викторовна опустила голову на грудь, она тоже не могла видеть эту картину – дом стоял далеко от ворот, над самым озером. А в начале января она попала в больницу, действительно, была непроходимость, но... – никакой опухоли. Конечно, все думали, что это конец, как вообще решились делать операцию («может быть, у них был чисто научный интерес», – до-

бавила хвастливо). Но это был не конец – не тут-то было, она вернулась в дом. Анатолий сам привез её, вручил попечению сиделки, быстро поцеловал: «У меня сейчас совершенно нет времени, я все тебе объясню. К сожалению, вынужден тебя здесь оставить. Потерпи немного. Как-то всё разрешится», и удалился. Ника даже не вышла встретить и в первый вечер вообще не появилась, а когда появилась, то лицо у неё было такое...не стоит описывать. Что произошло за время отсутствия Полины Викторовны, можно было только гадать, не обошлось без скандалов, это понятно, ведь Аннатолий жил, оказывается, в Сестрёнкиной галерейке, такая была версия поначалу, куда подевался сумасшедший художник Филя, никто не знал, некоторые, правда, утверждали, что Филимон по-прежнему состоит у Сестрёнки в сторожах, ночует на жестком топчане и варит Анатолию по утрам отличный кофе, он это умел. Но вскоре совершенно открыто переехал Анатолий к Сестрёнке. «Да куда же, куда? – неужели в её страшную коммуналку?». – «А вы не знали? Давно уж. К этому всё и шло».

Всю власть над старухой забрала мрачная сиделка, она обитала в доме теперь постоянно. На вопросы эта особа вообще не отвечала, на просьбы никак не реагировала. Старуха, к сожалению, срывалась: «Чёрт побери, вы что, совсем оглохли?» Когда разрядилась телефонная трубка, ни за что не меняла батарейку, пришлось умолять со слезами, и нарочно, просто нарочно очень больно делала уколы. Маленькую Оленьку ей тоже не приводили, а она стала такая миленькая, веселая девочка, уже ходила, Полина Викторовна видела её из окна. Ника не появлялась совсем, как-то раз поднялась вместе с новым врачом, постояла равнодушно в сторонке и на безобидную жалобу, а жаловалась Полина Викторовна исключительно на сиделку, вдруг резко ответила: «Не думайте, что возиться с вами такое удовольствие», повернулась злобно и вышла, даже врач вздрогнул. Когда врач ушел, Полина Викторовна заплакала и позвонила Анатолию: «Забери меня отсюда, я лучше в дом престарелых поеду, везде есть люди, а я ведь все-таки почти ходячая, я слышала, теперь есть очень приличные дома престарелых».

Странно, удивительно странно устроено человеческое страдание. Вот только что оно обливалось слезами над участью слабого, обойденного судьбой, обиженного игрою счастья, но вдруг картинка переворачивается, то есть именно поворачивается колесо той самой фортуны, и несчастный, непонятно как, выигрывает главный приз, растерянными глазами смотрит на притихшее общество и глупо улыбается.

Как могло случиться, что Анатолий неизвестно с чего вдруг глянул на Сестрёнку новыми глазами. Возможно, есть в мире вещи и поважнее, чем отношения мужчины и женщины, но, согласитесь, всё-таки случаются в этих отношениях вещи необъяснимые.

Ненадолго притихшие наблюдатели оглядываются на бывшего победителя, воображение их немедленно включается, и они начинают представлять, что же он всё-таки, интересно, испытывает после такого, как выражались в старину, афронта. И вот постепенно, не сразу, разумеется, начинают зрители сочувствовать этому бывшему избраннику, ну, в данном случае, как вы понимаете, избраннице, даже если упрекали её раньше в излишней заносчивости и высокомерии.

Сама Полина Викторовна путалась в собственных чувствах, особенно после первого похищения Оленьки (не было похищения, просто старуха так называла – «первое похищение»). Конечно, хотелось оправдать Анатолия: «Ну, как бы там ни было, а это все-таки родные мать и отец». Потом, вспоминая прошлое, перебирала все несчастья Ники. «Подумай только, в тридцать лет рухнуло всё, к чему её готовили со дня рождения, и жизнь потеряла смысл. Нет, ты этого понять не можешь». Заносился в поминальник и безумный, безнадежный роман с неизлечимым Дроздом и, конечно, окончательная невозможность родить.

Да, не было никакого похищения. Девочка оставалась, где была, в своей весёлой комнатке, на своем месте, в своём манежике, на ковре валялись веселые игрушки. Шли зубки, и она двумя ручками держала специальное резиновое колечко и сосредоточенно его грызла, вопросительно тараща глазки на застывшую, ничего не понимающую няньку.

«Оленька останется со мной, я её отец, и она останется со мной. Когда ты придешь в себя и успокоишься, сможешь её видеть».

Не желавшую успокоиться Нику охранник Сергей крепко держал за обе руки и плачущим голосом уговаривал: «Спокойно, спокойно, Вероника Андреевна, пожалуйста, спокойно». Ника переезжала на новую квартиру.

Прошло еще несколько месяцев. Полина Викторовна приехала к своим новым стенам и уже не торопилась вернуться в дом над озером: «Ну их! Там ведь сам чёрт ногу сломит... Не понимаю, что там происходит, совсем с ума сошли...» Анатолий навещал её редко, но денежки ласковым медсёстрам платил, зато часто бывали у неё разнообразные гости. Кому-то нужны еще её воспоминания, хотя в это и трудно поверить, даже какая-то корреспондентка приходила, с фотографом, и вышла статья. С портретом. Портрет, правда, получился – не очень.

Второе похищение было организовано удивительно просто. Нянька по весне вышла с Оленькой в легкой коляске за ограду пообщаться с новой подругой, тоже нянькой из соседнего дома, которая везла своего мальчонку. Они не раз так гуляли, они принадлежали к одному социальному слою нянек из богатых домов, и всяких бедных бабушек с внуками в компанию свою не пускали, хотя те и пытались заговаривать. Надо сказать, что эти коттеджи, кроме своих оград и собственных охранников, имели общий металлический, но прозрачный забор и какого-то даже общего смотрителя, совершенного, по-видимому, бездельника, его и на месте никогда не было, и ворота в эту особую зону он держал почему-то всегда распахнутыми. Ну понятно, чтобы лишний раз не выходить, открывать, проверять. И вот вдруг перед этими гордыми няньками возникла на дороге почти бесшумно длинная машина с тонированными стеклами, вышли из неё два молодых улыбающихся человека, на няньку с ненужным мальчонкой даже не посмотрели, а Оленьку вместе с коляской один из них легко поднял и понёс к машине. Другой жестом регулировщика при сломанном светофоре остановил

няnek, и сам застыл перед ними, преграждая путь и нагло улыбаясь. Остолбеневшая Оленькина нянька, проглотив собственный крик, сразу узнала, конечно, кому принадлежали руки, протянувшиеся из машины навстречу девочке, которая не пискнув, а напротив, разулыбавшись, скрылась в темной глубине. Машина отъехала задним ходом и где-то там вдали развернулась.

Довольно долго не мог Анатолий обнаружить Нику с ребенком, но в конце концов, какие-то сыщики (и такие профессионалы, оказывается, появились) потянули за правильную ниточку. Искали они, между прочим, сначала совсем не Нику, а бабушку Олю. Нику, возможно, тоже искала какая-то другая часть команды, но на след вышли через бабушку. Грустная бабушка уверяла, что ничего не знает, где Ника, ей неизвестно, ничем помочь не может, смотрела на Анатолия несчастными глазами и умоляла всех помириться. Но вдумчивые сыщики установили за бабушкой привычную «наружку», которая привела их к благоустроенному городскому оазису из реставрированных старых домов, окруженных оградой, опять же с охраной и видеокамерами, но с ухоженным садом внутри (так что Оленьке было где гулять и кататься на качелях). Там и жила Ника с Оленькой и сочувствующей подругой, владелицей этих новорусских хором. Бабушка Оля их навещала. Ну то, что там охрана была, сыщиков просто насмешило, это же были все свои же ребята.

Как проходило третье похищение, Полина Викторовна даже не хотела думать, а тем более представлять, настаивая, однако, что Сестрѐнка делала всё, чтобы – без травм, без слѐз, по-человечески. Но как это можно – похищать по-человечески. Старуха с гневом отвергала слух, что для успокоения беснующейся Ники были использованы наручники.

В конце мая Марианна с трепетом предвкушения вынула из почтового ящика длинное официальное письмо, торопливыми руками неаккуратно разорвала конверт и прочитала, что «компетентные власти Федеративной Республики Германия дали положительный ответ на Ваше ходатайство о выезде на постоянное место жительства в Германию».

Первая мысль была не о здоровье мужа, не о возможности вырвать сына из неприятной компании расслабленных мутантов, сидящих как минимум на «колёсах», первая мысль была радостная – можно покончить с ненавистной риелторской деятельностью. Что она и сделала немедленно – перестала вообще появляться в офисе, все сделки заканчивала (оставались просто долги перед доверившимися ей людьми) только по телефону. Клиентов уже не водила на просмотры квартир, они сами с этим справлялись, только звонили, согласны или нет, и если не согласны, она предлагала другие варианты, и тоже по телефону. И удивительным образом всё получалось. За комиссионными долларами в банк, однако, исправно забегала. При фирме было отделение впоследствии рухнувшего банка, но это впоследствии, а тогда всё выглядело очень солидно, на входе стояла, натурально, охрана, за окошечками строгие контролёры. Кассиры её уже узнавали, улыбались, желали дальнейших удач. Вот ведь – если не рвешься натушно за удачей, она сама падает в руки.

Да и не было уже времени на квартирный бизнес, все оно уходило на заполнение всяческих анкет, на ожидание их переводов, на стояния в очередях за справками, апостилями, паспортами, на хождения по чиновничьим лестницам и кабинетам.

Ну, и последнее слово о бедном риелторе – как раз в августе, когда она закончила все сделки и с наслаждением выбросила не нужные больше бумажки, компьютерные распечатки, телефоны и адреса мгновенно растаявших в воздухе клиентов и таких же призрачных коллег, знаменитая американская фирма с большим шумом развалилась. Жизнерадостный владелец изъял весь капитал и отлетел в Новый Свет, захватив с собой, надо отдать ему должное, молодую жену и маленькую дочь.

Армия растерзанных и обманутых осаждала офисные помещения, из которых уже выносили столы, компьютеры, принтеры и всяческие ксероксы, а два крутящихся кресла на колёсиках охранник открыто загружал в багажник своего «Вольво». Директор – худая элегантная дама с лисьей мор-

дочкой, плохо пряча страх в бегающих глазах (ведь разорвут на куски), уверяла, что всё поправимо, Америка – страна закона, его найдут, всё вернет, все адреса у неё есть, никуда не скроется, она уже послала запросы, нужно немного подождать. Опытные, ничему не верящие махали руками: «Да они же бандиты, они же все заодно», и уходили, стряхивая с ушей эту лапшу. Другие с выпученными глазами бились о железную дверь банка, за которой была пустота – никаких окончательных выплат за уже проданные квартиры, никаких залоговых тыщ. Ужас. Представив возможные последствия для себя лично, Марианна возблагодарила доброго ангела, спасшего её так вовремя, и выбросила эти страшные картины из своей памяти навсегда.

В последний раз Марианна видела Полину Викторовну в октябре. Уже были куплены билеты. Помнится, шел мелкий дождь, но они все-таки вышли в парк. Не хотелось оставаться в чужом, казенном «узилище» (так говорила старуха, иногда просто: «моя камера») В парке, под холодным небом была иллюзия свободы. Через неделю Полина Викторовна возвращалась в дом над озером.

Они гуляли молча, старуха опиралась на её руку, как в былые времена, кресло решили не брать, оно плохо катилось по мокрой, опавшей листве.

«Только без слез, деточка, пожалуйста, без слез. Вот возьми, – и Полина Викторовна вложила ей в руку образок, – и не оглядывайся, не оглядывайся». Несколько раз Марианна оглянулась. Не получалось без слёз. Долго еще стояла неподвижная старуха в конце мокрой аллеи, под грустной осенней моросью, под черным зонтиком, слабо помахивала рукой.

Уже в Мюнхене узнала Марианна, что Ника снова похитила Оленьку и на этот раз исчезла с ней в Москву, а потом еще куда-то – извлекла урок из прошлых ошибок. В прежние времена можно было бы объявить всесоюзный розыск, да и то вряд ли. Так объяснил Анатолию знакомый милицейский майор. Кто ж это будет искать мать с родным ребёнком, а если с неродным (но по документам-то родным), тогда в суд, только в суд. А само похищение произошло совсем фантастичес-

ки – с озера. Кусок озера как бы естественно принадлежал участку, но там не было никакой охраны. С высокого берега Сестрѐнка с Оленькой катались на санках, и санки выезжали прямо на лед. Какие-то мирные лыжники сновали взад-вперед, но в далеком далеке, а снежная сверкающая поверхность была абсолютно пустынна. Как всё произошло, задыхающаяся, плачущая Сестрѐнка не могла объяснить, какой-то гадостью ей брызнули в лицо, но как подобралась бесшумно, как выглядели, сколько их было, ничего не могла сказать. Когда пришла в себя, рядом валялись перевернутые санки. Потом обнаружили, однако, довольно глубокую лыжню вдоль ограды, утоптаный снег, пустую пластиковую бутылку и два белых комбинезона с капюшонами – кажется, в таких нарядах скользили когда-то по снежным просторам финские снайперы.

Через месяц зимняя тишина поселка была разорвана ночью страшным взрывом. Столб пламени взметнулся над озером, крыша взлетела вверх и осела черными искорѐженными пластинами на распавшиеся стены. Охранники бежали к дому, бестолково передергивая затворы. Пожар пылал долго, тушить его никто особенно не собирался. Пожарные машины приехали часа через два, милиция еще позже. Под утро появился грузный участковый, походил вокруг, лениво пиная остывающие обломки, ждал оперативную бригаду. Даже любопытных было мало – в окрестных домах зимой почти никто не жил. Вышли из соседних дач сторожа, покурили, помолчали, поѐжились и ушли. Какая-то тѐтка, приблизилась к еще дымящимся руинам, что-то выискивая в них и причитая, участковый её шуганул, тѐтка огрызнулась и тоже ушла.

Следствие закончилось быстро обычным заключением о связи происшедшего с «профессиональной деятельностью пострадавшего». Никто и не подумал выйти на лёд, а ведь там были кой-какие любопытные подробности, которые задумчиво рассматривал на следующий день Сергей – было как раз его дежурство. Безупречным алиби Ники тоже никто не интересовался. Она сразу же вернулась из Москвы, была вызвана следователем, проявившим в своих расспросах удивитель-

ную деликатность, начала потихоньку оформлять наследственные дела, получила страховку за дом, еще полгода прожила в России (так положено по закону – вдруг появятся еще какие-нибудь наследники, но никто не появился, других жен и детей у Анатолия не было), вступила в свои вдовьи права и, как только продала фирму, улетела с Оленькой в Нью-Йорк, далее следы её терялись, и никто о ней больше ничего не рассказывал.

Золотая зимняя заря разливалась над Альпами, зеленоватые волокнистые облака сползали с вершины, и отсвет их бледного света лежал на усталых лицах. Опустевшие снежные склоны были усеяны неприглядными остатками сгоревших фейерверков, мятыми стаканчиками, цветными чешуйками конфетти, бумажными закрученными ленточками – грустное послесловие схлынувшей праздничной волны. Два лыжника вялыми дугами спускались вниз, безумный одинокий планерист оторвался от утеса и повис в вышине. Первый день года обещал быть солнечным.

Обратно в Гармиш возвращались в плотном потоке машин и часто стояли. Марианна забилась в угол, прикрыла глаза, не хотелось ни с кем говорить, и вдруг очень ясно представилось ей, как она набирает номер какого-то немыслимого небесного телефона и дребезжащий голос говорит с привычной насмешкой: «Да будет тебе, Анна-Мария, хватит, сколько можно. И без слёз, деточка, пожалуйста, без слёз. Разве ты не знала? Чего уж такого новенького ты узнала? Взгляни лучше – какое небо, какие горы...Ну, вот опять...Возьми себя в руки, наконец».

Из рассказов про кетоны и альдегиды

Сотри случайные черты
И ты увидишь – жизнь прекрасна.
А. Б.

Нет, лишь случайные черты
Прекрасны в этом страшном мире.
Л. Л.

Субботнее утро

Хозяйка дома с трудом поднимается с жесткой лежанки, в тяжелом полусне переступает через спящих гостей, закрывается в ванной, выливает на себя ведро ледяной воды, пугая диким вскриком соседку за стеной, выходит в кухню, целует давно уже сидящую за столом тихую девочку пяти с небольшим лет и начинает варить манную кашу.

Девочка вертит в руках листок бумаги: «Мама, а когда тетя Наташа ушла?» и протягивает листок матери. Девочка уже умеет читать.

«Ага, – думает довольная хозяйка, – не обломилось Петьке», берет листок и приближает к близоруким глазам записочку шикарной девушки Наташи с Ленфильма: «Спасибо за гостеприимство и снисходительность к Петиним выходкам». Хозяйка удивляется, трёт лоб, но ничего не вспоминает. Дальше идут стишки: «Брага выпита до дна,/ посуда в кучу свалена,/ а в коробочке одна/ беломорканалина». Коробочку они завели давно, увидав в одном богатом московском доме похожую, деревянную, с дорогими сигаретами – небрежно так разрывались американские пачки, и сигареты туда высыпались. Женщина заглядывает в коробочку – действительно, одна папираса катается по дну. На внутренней крышке намертво при-

клеен бумажный рубль, вокруг рубля, по краям его – следы жаждающих ногтей, отступивших в отчаянии и ни с чем.

Ах, как бы этот рубль сейчас пригодился – еще, значит, и курево надо им покупать.

Девочка доедает кашу. На кухню, расставив руки, входит со слепым лицом муж и отец, жадно пьёт воду прямо из-под крана, застывает, поднимает палец: «Пьянству – бой», – произносит назидательно и так же сомнамбулически, держась за стены узкого коридорчика, исчезает в комнате. Слышен звук упавшего тела.

Женщина берёт за руку девочку, в другую руку – трехлитровый эмалированный бидончик, открывает дверь квартиры, вслед им, приподняв больную голову, смотрит с покорной надеждой друг детства хозяина дома одинокий художник Пётр, брошенный бессердечной красавицей с Ленфильма. Гость с неподдельной фамилией Шуйский остаётся распростерт и недвижим.

К пивному ларьку на углу Железноводской улицы и проспекта Кима тянется длинная очередь сумрачных, молчаливых мужчин. Женщина с девочкой занимают очередь.

Дальше всегда происходило одно и то же. Какой-нибудь мужик наклонялся к девочке и со слезой спрашивал: «Ну что, худо папке?» Мрачные люди расступались и пропускали их без очереди.

Это я рассказываю в помощь сторонникам теории о невысказанном благородстве русских алкоголиков. Для тех, кто придерживается противоположной теории, две другие истории.

Юра

Человек по имени Юра стремительно вышел из дому, толкая перед собой коляску со спящей шестимесячной дочерью. За спиной осталась безобразная ссора с женой, разбитая тарелка, шмякнувшаяся на пол недоеденая яичница, замоченное в ванне бельё, переполненное мусорное ведро, выставленное демонстративно в центр кухни, и неостановимый плач трехлетнего сына.

Пройдя быстрым шагом метров сто, Юра остановился, хлопал себя по карманам, вытащил беломорину, с наслаждением закурил и вдруг понял, что вышел из дому без копейки денег, а впереди клубилась и мерцала очередь у родного пивного ларька.

Замедленно прокатив коляску вдоль очереди, Юра не заметил в ней ни единого знакомого лица. Даже странно.

Делать нечего. Пришлось Юре с независимым видом перейти на другую сторону и двинуть коляску вдоль фасада дома Лидваля, мимо больших и пыльных окон всем известной столовой, которая называлась «Котлетная» и по случаю субботнего утра была еще малолюдна и тиха.

И вдруг бывшая стеклянная, а теперь заколоченная фанерой, дверь столовой начала медленно отворяться, и Юра увидел перед собой удивленные глаза институтского коллеги и услышал его радостный вопль. Тут же выскочили еще какие-то знакомцы, подхватили коляску, затащили внутрь, поставили рядом с тучным гардеробщиком, читающим газетку на фоне совершенно пустого гардероба, поскольку на дворе стоял вполне теплый месяц июнь.

Неожиданные посиделки продолжались довольно долго – девочка сладко спала, гардеробщик читал свою газету, изредка от умеренно шумящей в глубине зала компании приносили ему пивка, гардеробщик с достоинством, даже глаз не отрывая от черных буковок, кивал.

Потом компания вдруг неожиданно поднялась, оставив на столе огрызки серых котлет, увлеченно беседуя и горячо жестикулируя, протянулась мимо так и не взглянувшего на них гардеробщика, перешла дорогу, поднялась по ступенькам в магазин завода «Марксист», долго считала у кассы, постоянно сбиваясь, последние рубли, закупила еще несколько бутылок «Агдама» и, обогнув добротное пожарное здание, отправилась в глубь шумящего новенькой листвой лютеранского кладбища.

Когда девочка проснулась и громко заплакала, невозмутимость мигом слетела с читающего гардеробщика. Он бросил свою газету прямо на пол, истерично затряс коляску и, загля-

дывая в зал, возмущенно закричал неожиданно тонким голосом: «Чей ребенок? Возьмите же, наконец, ребенка». Но к нему повернулись недоумевающие лица, и никто ребенка своим не признал, в чем как раз не было ничего странного, поскольку за столами сидела уже другая компания, а отец девочки Юра с друзьями в это время расслаблялся в кладбищенских кушах, неподалеку от могилы графа Ламздорфа, испытывая невыразимую, разрывающую сердце любовь ко всему существу, долгожданную возвышенную эйфорию и полнейший покой.

Но все кончилось хорошо. Вы заметили, какая дьявольская сообразительность просыпается порой в наших людях? Особенно в женщинах. Но и не в них одних.

Гардеробщик знал, кого звать на помощь. «Зина, Зина!», – кричал он. И большая спокойная буфетчица Зина вышла поутину из-за стойки и прямой наводкой двинулась через дорогу в магазин завода «Марксист», где моментально собрался весь наличный персонал для мозговой атаки, при этом самыми толковыми и наблюдательными оказались кассирша Клавдия и два грузчика винного отдела, даром что едва держались на ногах.

В общем, очень скоро стало ясно, куда надо катить коляску с младенцем. Но и этого не потребовалось. Все одновременно прислушались, кинулись к выходу и столпились на высоком крыльце. А перед крыльцом собралась вторая маленькая толпа, в центре которой металась плачущая женщина в цветастом халате и стоптанных шлепанцах, с трехлетним толстяком на руках.

Минутой позже толстячок уже стоял на земле, крепко держась за материнский подол, а женщина, не переставая всхлипывать, прижимала к груди орущую шестимесячную девчонку.

Так что, видите, все кончилось хорошо. На этом можно было бы поставить точку, если бы не изумление мое перед неравнодушием совершенно посторонних людей.

Может быть, и вам интересно будет знать, что новая небольшая толпа отправилась все-таки на лютеранское кладбище. Впереди гусеничным танком переваливалась Зина, подбирая с земли то одну, то другую увесистую палку. Не очень

отставал от неё начавший бурно икать гардеробщик, потрясая сложенной в несколько слоев газетной дубинкой, как будто собрался бить мух. Была там, конечно, до крайности возбужденная Клавдия, загородившая свою кассу коричневыми счетами, нагло заявив загалдевшей очереди, что идет сдавать деньги. За Клавдией семенили тощими ногами какие-то все посторонние тетки в платках и с клеёнчатыми сумками – должно быть, собирательницы бутылок. Присоединился к ним, похохатывая, молодой ученик мясника, веселый и гладкий, со своим бездельным дружкой, ошивавшимся вокруг магазина в ожидании обещанной вырезки.

А завершали шествие два грузчика винного отдела – шли они как бы в некотором отдалении от основной массы, бережно поддерживая друг друга, и на лицах своих изображали подчеркнутое нелюбопытство.

Сразу скажем, никакой интересной драки не вышло. Юра и друзья его раскинулись на июньской травке в позах самых расслабленных и прихотливых, а поскольку зрение их способность к фокусировке несколько утратило, то смотрели они на приближающихся к ним, размахивающих руками и палками странных людей хотя и доверчиво, но с приветливым непониманием, и поз своих не изменили. Лежачее состояние Юры отважную буфетчицу не смутило, и с нерастраченной страстью она хлобыстнула его по голове шершавой палкой, которая тут же сломалась, но оставила на щеке его быстро вспухнувшую кровавую царапину.

Поскольку Юра даже не сопровтивлялся, лишь прикрывал голову руками и жалким голосом повторял: «Позвольте, позвольте...» – Зина плюнула в сердцах, пнула его ногой и пошла прочь, не оглядываясь.

Юра был замечательным физиком. Во всяком случае, так говорили все, кто с ним учился или работал. А это не мало – физики редко хвалят друг друга. И прощалось ему даже то, что на работе он пил. Но только к вечеру. Чтобы снять усталость.

У физиков всегда был спирт. А в некоторых лабораториях даже очень много. Волшебная эта жидкость использовалась

не только для приема внутрь, но была самой твердой валютой. С оптиками, стеклодувами и механиками расплачивались спиртом – на всякий вид работы существовали свои расценки. Все их знали. Без спирта твой заказ лежал бы месяцами, и никто его не собирался выполнять. И никакие грозные приказы не помогали. А со спиртом дело спорилось. (За срочность были надбавки, тоже строго нормированные.) Так что без спирта экспериментальная физика существовать просто не могла.

Умение выбивать из отдела снабжения спирт считалось особым искусством. Некоторые шустрые и толковые начальники лабораторий достигали в нем поразительных высот, за что были окружаемы почтительным восторгом подчиненных.

Но как ни много было спирта, он все-таки кончался. До очередного ежемесячного получения своей нормы начинались одалживания у соседей и у тех же оптиков с механиками. К ним Юра и шел, когда душа особенно горела. И кто-то из этих работяг преподнес Юре и своему дружку по тонкому химическому стаканчику прозрачной жидкости из личных закромов.

Стояли они втроем на площадке последнего этажа, куда не дотягивались взгляды начальников. Дружок глотнул, и тут же его вывернуло наизнанку. Сам запасливый механик пить не стал – по здоровью, потому и были у него запасы. Юра выпил, схватился рукой за перила, успел сказать: «Чего это ты мне дал?»

К ночи Юра умер – внутренности ему растворил дихлорэтан.

Страсти Соснового Бора

Сосновый Бор – город маленький, и никто ничего о нём бы не знал, если бы не АЭС, нависающая всеми своими реакторами над Петербургом. Кроме АЭС в Сосновом Бору есть еще филиал нашего института, именно там на берегу залива, среди специально вырубленных сосновых просек стреляли

страшные, секретные, мощные лазеры. Помнится, своё чудовище Андрей Гагарин почтительно называл «Абадонной». Такое было время, все читали Булгакова. Начальник его, однако, помявшись, как-то спросил: «А почему, собственно, Абадонна ? Ну Абба – это я понимаю, такой ансамбль музыкальный. Донна – это женщина ? Так ? А вместе-то что ? Непонятно...»

В маленьком городке все знают друг друга, по вечерам, вообще говоря, тоска смертная, никуда не скрыться. А если возникает роман, да еще между людьми семейными? (А романы возникают – ничего не поделаешь).

И вот некая пара устраивает себе любовное свидание в гараже. Герой-любовник и владелец гаража провозит свою возлюбленную Донну, лежащую на заднем сидении и закрытую с головой какой-то ковровой тряпкой, мимо унылого сторожа и, проезжая его сторожку, даже нахально высовывается из окошка и что-то приветственное сторожу кричит.

Свидание идет своим чередом в облаке взаимного удовольствия, но вдруг оказывается, что закуски еще видимо-невидимо, а выпивка неожиданно кончилась и сигареты на исходе – расставаться, однако, пора не пришла. Герою является в голову замечательная мысль сбегать по-быстрому в Гастроном, куда он и отправляется, закрыв свою Донну снаружи на висячий замок. Мало ли кто явится неожиданно. Возлюбленная откидывается на разложенные сиденья, закуривает последнюю сигарету, напевает и ждет.

Далее происходит вот что. В Гастрономе уже отоварившегося Героя бьёт по плечу и стискивает в объятьях друг и сосед, не вполне, конечно, трезвый, пришедший в винный отдел по той же уважительной причине – выпивка в доме его стремительно подходила к концу. А сын завтра уходит в армию.

Поначалу Герой делал энергичные попытки из объятий вырваться, но друг и сосед кричал: «Ты с ума, что ли, сошел, как я тебя отпущу? У меня сын в армию уходит. Понимаешь ты или нет?» И Героя с гиканьем поволокли в шумную и поющую квартиру, где на него с любопытством глянула собственная жена,

дернула плечиком и снова склонила благосклонное ушко к жарким губам потного призывника. Героя усадили за стол, вдали в стул. Малоознакомая тетка (помнил только, что из планового отдела) хулиганским жестом положила ему на затылок тяжеленную грудь, крепкими короткими руками охватила за плечи: «Не бойсь, у меня не вырвется, – и вдруг зарыдала как безумная. – Пей до дна, пей до дна, пей до дна !»

Он и выпил.

Покинутая и запертая в гараже Донна тщетно кричит, стучит и бьется в железной коробке, приблизительно как фантомная жена из повести «Солярис» в своей ракете. Но никто не внемлет. Сторож спит тем самым мертвецким сном, которому нипочем грохот пушек. Да и далеко его сторожка, в которой, возможно, его даже и нет, а сидит он, например, за тем же разгульным столом.

Во второй половине ночи охрипшая Донна затихает, прячет опухшее от слез лицо в сгиб локтя, пытается заснуть, но холод и боль терзают душу, и сна никакого нет. В необъяснимом приступе злой энергии она вскакивает, мечется в своем тесном узилище, сбрасывает с полок и бьёт какие-то банки, бутылки, швыряет канистры, инструменты, хватает тяжелый гаечный ключ и крушит всё подряд и, прежде всего, с ликующими стонами – лобовое стекло ненаглядных жигулей. Но и это занятие быстро кончается. И тогда ей под руку попадают блестящие щипчики с острыми краями, называются, как она впоследствии узнала на суде, – *кусачки*. И вот этими кусачками весь остаток ночи она методично раскусывает корпус ни в чем неповинной машины, постепенно успокаивается и перестает дрожать.

В суд на неё, кстати, подала жена Героя за преднамеренную порчу личного имущества.

Судья, усталая домашняя женщина в шерстяной кофте с блестящими пуговицами, качала головой, промокала лобскомканым платочком и призывала ненавидящие друг друга стороны к мировой. В переполненном зале суда почему-то много смеялись. Но не все. Мать Донны плакала не переставая.

Это были тихие, застойные, бессобытийные времена, можно сказать даже – гуманные времена. Теперь бы жена Героя, вероятно, в суд не пошла, а наняла бы бандитов. В Сосновом Бору это дешевле, не так дорого, как в Питере.

И мать Донны плакала бы не только от позора, тем более, что слова такого, кажется, уже и нет.

Кетоны и альдегиды

Мужская логика неопровержима, не то что женская. Конашенок никогда не оправдывался, он с изумлением спрашивал: «Почему ты меня ругаешь за то, что я пью? Я же не ругаю тебя за то, что ты не пьёшь».

Однажды он вернулся поздно с неизвестным мне человеком. Понятно, в каком они были состоянии. Человек этот, не разлепляя глаз, на последнем дыхании произнёс: «Прошу политического убежища...», попытался поцеловать мне ручку, покачнулся и натурально упал к моим ногам. Пока мы перетаскивали отключившегося пришельца на лавку (у нас были такие широкие деревянные лавки), Володя прошептал мне, что это известный в институте стукач. На моё возмущенное: «Зачем же ты приводишь стукачей в дом?!» – Конашенок скорбно потупился и произнес: «Даже стукачей я не могу лишать моей благодати...»

Однако настоящее единение с народом началось, когда Алеша Акимов подарил Конашенку потрясающий самогонный аппарат – изящную стеклянную штуковину величиной чуть больше пробирки, состоящую из шести-восьми поверхностей (внутри хорошенький «холодильник»), с двумя отводами – один присоединялся резиновой трубкой к водопроводному крану, через другой капал готовый продукт. Но первые порции продукта положено было по инструкции сливать из-за большого содержания в них кетонов и альдегидов. Но я, как истинно экономная жена с дурной склонностью к скопидомству, прятала этот пузырек с первачом на полочку в ванной и говорила: «Ну, это так... это кетоны и альдегиды. Для водопроводчиков...»

Однако часто так бывало, что выпивка кончалась в поздний час, и Конашенок вспоминал: «Да ведь у нас кетоны и альдегиды где-то припрятаны». «Ни в коем случае, – кричала я, – нет, нет и нет», но все было напрасно.

А что касается водопроводчиков, то они просто протоптали тропинку к нашим дверям и, заводя разговор издали на тему, *не течёт ли бачок*, заканчивали его стеснительно: «Не поищите ли, хозяйка, может, остались какие кетоны и альдегиды?» Так что и к нам, и к нам тоже не зарастала народная тропа.

А однажды, воскресным утром пришел вежливый подросток, сын нашего председателя кооператива, сказал, что папа себя плохо чувствует и просит в долг кетонов и альдегидов. Я кинулась к холодильнику и вытащила бутылку водки. Мальчик замахал руками: «Нет, нет, ни водки, ни вина брать не велел, ему только кетоны и альдегиды помогают».

На Вуоксе

Нет на свете прекраснее этих мест. Катер из Приозерска идет часа полтора – бескрайняя вода разворачивает перед нами чудные картины. Проплывают мимо серые скалы и зеленые острова, светлые сосны и мрачные ели, качают волны волшебные водяные цветы – белые лилии и желтые кувшинки. Северное небо обжигает глаза пронзительной синевой. На большом плесе на нас обрушивается внезапно холодный ветер, и мы уходим с верхней палубы, спускаемся вниз, перешагиваем через рюкзаки и байдарки, через ящики и корзины – люди накупили в Приозерске продукты, везут домой. На узеньких ступеньках сидят знакомые и уже веселые мужики. Односельчанин и отважный браконьер Анатолий приветствует меня поднятием бутылки и поёт: «Лучше гор могут быть только Горы». Мы плывём в посёлок Горы.

Дома в посёлке Горы не образуют никаких улиц, а рассыпаны в совершенно причудливом беспорядке, однако, лицами все как один обращены к озеру, поскольку нет лучшего

вида из окна, чем простор уходящей вдаль воды, пересекаемый два раза в сутки медленным белым катером, жители по нему проверяют часы. Ну и номеров у домов никаких, конечно, нет, а письма и газеты приходят адресатам по именам и даже приметам: «бывшей почтальонше Валентине» или «дачнице, у которой дочь девочка Маша» (так было написано на «Ленинградской правде», которую мне время от времени закидывали на веранду).

Поселок возник на пустом возвышенном месте, куда переселенцев из Тверских деревень заставили свезти с островов брошенные финнами дома – не нравилось колхозному начальству мотаться по хуторам, трудно было уследить за пришлым непонятным народцем. Долго еще цвели вокруг разоренных хуторов яблони и сирень, черемуха и шиповник, наливались соком черная и красная смородина и медовый крыжовник, но незабываемые фундаменты и каменные ступени затянул постепенно зеленый бархатный лишай и вознес над ними свои розовые грустные свечи вечный кипрей.

«Куда ходили?» – спрашивал Николай Васильевич, ревниво заглядывая в наши корзинки. «А...к хутору Михал Степаныча». «Ну, понятно, понятно...» Давно уже нет хутора, и Михал Степаныча нет, много кого нет уже на этом свете, а ведь водят там, должно быть, до сих пор белые грибы свои загадочные хороводы.

Мы сидим на веранде. Дети спят. Лена шьёт мне коврик из лоскутков. Мечтательно говорит о том, как хорошо будет в старости. Пройдут наконец все эти страсти и безумства, мы перестанем ревновать наших мужей, и в сердцах наших останется только светлая, спокойная любовь. И пить наши мужья перестанут, поскольку не те уже будут силы и здоровье. Так думает Лена о старости и с неистребимой надеждой смотрит в будущее.

Около двух ночи. Вдруг стук в окно. Это Анна Алексеевна, наша хозяйка – почти слепая старуха семидесяти восьми лет. «Милка, – зовёт она меня, – подь сюда. Будь человеком, сходи, посмотри, где твоя, дома ли спит». «Твоя» – это моя све-кровь Анна Теофиловна. «Нет маво в избе. Убег куда-то».

Это она о своём муже, Михаиле Степановиче – ему за восемьдесят. «Везде обыскалась, нигде нету. К ней побег, к проклятушей». Я смеюсь: «Анна Алексеевна, она же старуха». «Кака старуха?! На шесть годов меня младче». Пришлось идти, проверять. А.Т. спала на своем месте. Анна Алексеевна снова заковыляла в темноту – пошла дальше искать своего старика, негромко шепча дурные слова. Я вернулась на веранду. «Ну что, Лена, скажешь?» Ничего не сказала Лена. Улыбнулась и развела руками.

Не нашла своего старика в эту ночь Анна Лексевна, плохо спала, глаз не сомкнула, ворочалась и стонала. А Михал Степаныч с Колькой, недавно отмотавшим недлинный на этот раз срок, поставили сетку, всю протоку перегородили от Бараньего острова до бани (бестолковое, кстати, место) и высадились на крошечный Утячий островок дожидаться утренней зорьки. Развели костерок, напекли картошки, выпили что у них с собой было, а были у них, между прочим, подаренные Конашенком кетоны и альдегиды. Михал Степаныч с чувством прочел восхищенному Кольке свои новые ужасные стихи, вяло поругали ворюгу-бригадира, проверили по утру сетку (попалась какая-то ерунда), вернулись, разбрелись, пошатываясь, по своим дворам, и уж там каждый отыскал укромный уголок и рухнул досыпать под ругань и вопли возмущенной жены.

Медленный, но шумный проход катера мимо всего поселка – событие радостное, когда он прибывает. Все тогда бросаются к окнам или выскакивают на берег, не едут ли свои, не машет ли кто-нибудь с катера, не надо ли спешно отвязывать лодку, судорожно запускать мотор и нестись к пристани – встречать милых и долгожданных гостей. А когда катер идет обратно, в Приозерск, невыразимая грусть охватывает и улыбающихся, и остающихся.

Суровый старик Николай Васильевич стоит на верхней палубе, никак не соглашается спуститься вниз, не боится пронизывающего ветра, смотрит вдаль, на удаляющийся берег, на свой маленький домик на берегу – руки вцепились в поручни, указательным пальцем изредка трогает уголок глаза.

Я отворачиваюсь, я понимаю – он прощается. Может быть, он уже лет десять так прощается. Но это, действительно, оказывается – последний раз. В конце сентября Николай Васильевич выйдет в коммунальную кухню с чайником в руке, замрет на мгновение, уронит чайник и упадет бездыханным.

«Без кетонов и альдегидов не возвращайся», – кричит Ко-нашенку из лодки Михал Степаныч, он выпрямился во весь рост, сорвав с головы плоскую кепочку, и химические слова произносит совершенно правильно и с видимым удовольствием. Лодку сильно качает идущая от нашего катера волна, Михал Степаныч крепко напяливает кепчонку, садится на весла и спокойными уверенными рывками, хоть и не спал всю ночь, гребет к берегу. («Мало я теперь сплю, – признаётся Михал Степаныч, – обидно спать-то, такая красота вокруг. Недолго уж осталось любоваться».) А мы машем руками и платками до самого конца, пока не скроются совсем из виду наши домики, наши лодки и все оставшиеся на берегу, до самого последнего момента – такая традиция.

Михал Степаныч умрет через год, так же среди ночи встанет почему-то и выйдет в свой сад, к озеру, и там под яблоней его и найдут утром.

Проводив нас, Лена отвезла на Утячий остров детей и Анну Лексевну с козой и поехала на лодке дальше, в магазин, закупила всякую крупу, сахар, подсолнечное масло и, сказав себе странные слова: «У каждого человека свой плохой вкус» (возможно, она имела в виду, что полюбившиеся некоторым людям кетоны и альдегиды все-таки страшная гадость), купила обыкновенную водку. Плывет обратно. И вдруг нестерпимо захотелось ей выпить. Пристала к берегу. Привязала лодку, поднялась на пригорочек, захватив бутылку. А закусить-то нечем. Ну невозможно же совсем без закуски. А вокруг красота небес и сиянье воды. Но закуски нет. И вдруг мимо по тропинке начинает к берегу спускаться старичок, а в руке его сетка с луком. На Лену глянул мрачно и губы поджал. И даже несколько раз оглянулся – Лена являла для деревни тех времен картину достаточно непривычную. Всегда ходила в длинных развевающихся юбках, в каких-то летящих темных

одеждах, на прекрасной жемчужной шее висел серебрянный крестик, и дети её голопузые тоже бегали с крестиками. А может быть, строгий старикашка заметил бутылку водки. Выразив неодобрение лицом и даже спиной, спускается старичок дальше, и сетка с луком в руке его мерно покачивается, и вдруг одна луковка из сетки-то и вывалилась, покатила по тропинке, остановилась и лежит.

Рассказывая неоднократно эту историю про чудесную луковку, Лена всегда заключала её такими словами: «А вы говорите, что Бога нет».

Из рассказов о правилах игры

Строгое было время, хотя нельзя сказать, чтобы особенно умное.

Салтыков – Щедрин

В России тех лет правила игры выполнялись автоматически. Так жили советские люди. Во всяком случае, большинство.

Но стоило задуматься, а многие приобретали эту пагубную привычку в совсем юном возрасте, как идиотизм этих правил возмущал, раздражал, а отдельных циников даже смешил.

Например, в нашей стране не принято было открыто обсуждать еврейскую проблему. Считалось, что этой проблемы у нас так же, как и секса – нет. Все знали, что есть, но говорить надо было, что – нет.

В узком кругу можно было об этом поболтать, в неофициальном общении – пожалуйста. Ну и, конечно, на пресловутых кухнях. И остроумцы с изрядной частью еврейской крови, но с русскими фамилиями бодро пели избитую шутку: «За столом никто у нас не Лившиц».

Конашенок был человеком наивным до безобразия. Или делал вид.

Кафедру «Физика атмосферы», на которой он работал, возглавлял тогдашний ректор Ленинградского университета Кирилл Яковлевич Кондратьев. Конашенок просит своего ректора и учителя принять на работу очень хорошего физика, очень нужного кафедре человека, допустим, Сеню Кацмана. Просит посодействовать.

«Нет, Володя, – твердо говорит Кирилл Яковлевич и качает головой, – ничего не получится. Мы уже страшно превысили процент... Дальше некуда. Катькало (это начальник отдела кадров) меня просто убьёт...»

Напомню, говорит это ректор университета, хорошего университета, одного из крупнейших в Европе. А про Катькало известно, что он страстный и самоотверженный антисемит.

Но тут случается вот что. Сотрудник кафедры по фамилии как раз Лившиц благополучно переходит в Физтех, который его безбоязненно пригревает, руководствуясь эгоистическими научными соображениями.

И Володя Конашенок идет в Отдел кадров, стучится в кабинет Катькало и, вежливо поздоровавшись, спрашивает сидящего за столом мрачного и непроницаемого человека: «Скажите, пожалуйста, если мы одного еврея уволим, можем мы на кафедру другого еврея принять?»

Володя потом рассказывал, что лицо Катькало внезапно преобразилось, налилось кровью, челюсть его отвисла, он стал задыхаться, попытался приподняться, опираясь руками о стол, но рухнул обратно в кресло и лишь последним усилием гневной руки указал Конашенку на дверь, куда тот, недоумевая, и вышел.

Этот дикий и предосудительный поступок любимого ученика Кондратьев, конечно, замаял. Каким образом – можно только догадываться. И догадаться, вообще говоря, можно.

«Ну физики, они ведь, знаете, не совсем нормальные. Они и с работы уходят не раньше одиннадцати вечера, а некоторые, вообще, ночью работают, говорят, ночью наводок меньше. Чего только не придумывают. Понимаете, больные люди. Но без них нельзя. Ну, что делать».

К слову сказать, грянувшая перестройка Катькало ничуть не смутила. Он даже баллотировался в какие-то демократические органы. Кажется, его все-таки не выбрали. Но – не поручусь.

После вольных университетских лет я начала работать в Оптическом институте, который давно уже стал заведением закрытым и охраняемым, т.е. «режимным».

Попасть внутрь можно было только через три проходных – одна из них находилась на Биржевой линии, как раз напротив БАНа (Библиотека Академии наук), другая чуть подальше на той же Биржевой линии, но ближе к Малой Неве, а третья, со временем ставшая самой главной, выходила на Тучков переулок.

В проходных на страже стояли стрелки ВОХРа – обычно толстые сонные тетки в чем-то темном и форменном, с писто-

летом на рыхлом боку, но попадались и въедливые, омерзительные, сухонькие старички палаческого вида.

В здание института можно было войти ровно в девять, дозволялось на час выйти из него в обеденный перерыв, а домой можно было отправиться не раньше пяти. Режим. Выпускали иногда, если кто-нибудь звонил по «местному» и вызывал вас в проходную для разговора по важному и срочному делу. Мои неленивые друзья с воли нередко развлекались довольно дурацким способом – выманив меня из института, в двух метрах от охраны разворачивали какую-то мятую бумажонку, изображавшую якобы план местности, и, тыча туда пальцем, громко наставляли: «Смотри внимательно, значит так – первую бомбу устанавливаешь у гаража...» Проснувшиеся тётки, конечно, их гнали оглоблей, понимая, что это глупая шутка и издевательство, в то время еще никому в голову не приходило, что бомбы и взрывы могут быть настоящими.

Но были у стрелков ВОХРа минуты истинного вдохновения. Основная охота начиналась у них за пять минут до сигнального звонка, возвещавшего начало рабочего дня – сонные теткы просыпались, приосанивались, одергивали свои тужурки, поправляли свои пистолеты и, блестя глазами, готовились кричать на потный поток опаздывающих. Палаческие старички били копытами, гоняли языком во рту зубные протезы и дрожали от предвкушения.

Народ ломился через турникеты, толкали и подгоняли друг друга – все боялись опоздать. У опоздавших *отнимали пропуски*. На одну минуту можно было опоздать. На одну минуту добрая охрана закрывала глаза. Но две... Две уже нельзя. Пропуск отнимали и относили в Отдел кадров (как это теперь называется – Public relations – что ли?) Изъятие пропуска на Вахте – ужасная неприятность. Настроение испорчено на весь день – вызов к начальству, лишение премии, объяснительные записки. Ловкой объяснительной запиской об аварии на транспорте или сердечном приступе у близкого родственника можно было происшествие как-то сгладить. Существовало бесчисленное множество этих объяснительных записок. Маленькие правила игры.

И в Отделе кадров все всё понимали – тоже ведь люди все-таки – и быстро пробежав глазами слова правильного раскаяния, удовлетворённо выбрасывали эти объяснения в мусорную корзину.

Но когда Конашенок принес свой листок, озаглавленный крупными буквами: *ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА*, а дальше шел короткий текст – «*Объяснить своё опоздание не могу, потому что сам его не понимаю*», начальница Отдела кадров вдруг взорвалась таким криком, что перепуганные девочки-подчиненные побежали за водой и валидолом. Володя таращил чистые глаза, прижимал ладонь к груди и клялся, что, действительно, сам не понимает, как так вышло, а если сам не понимает, то никому другому и объяснить не может.

«Умнее всех! Да? – кричала начальница, комкая возмущивший её листочек и, спохватываясь, снова расправляла наглуую улику, – умнее всех хочешь быть?». Умнее всех – это нарушение, это не по правилам.

Я со свойственным мне конформизмом эти правила выполняла или обходила. Было даже весело изобретать всякие мелкие уловки.

На самом деле, сквозь охрану было легко проникать, имея на руках всякие оправдательные бумажки – направление на флюорографию, бюллетень, местную командировку, увольнительную – в большинстве своём, как вы догадываетесь, поддельные.

Я долго хранила в сумочке одну справочку, по которой в любое время беспрепятственно входила и выходила из института. Но однажды, разворачивая эту справочку перед вялой охранницей, я косым зрением увидела у себя за спиной друга и коллегу Шурика Абрамова. И, как это часто бывает, в присутствии человека, хорошо меня знающего, я не смогла сыграть свою роль столь же убедительно, как играла всегда, что-то в моем лице неуверенное, по-видимому, промелькнуло. А они, эти охранники, эти простые люди, стоящие на страже, они ведь стихийные народные психологи, они моментально эту неуверенность засекают. И вот простая бдительная женщина берет в руки мой потрёпанный, истёршийся на сги-

бах, во всяком случае, очень несвежий листочек, нарочно медленно надевает круглые очёчки и, презрительно шевеля тонкими губами, пытается прочесть и постигнуть смысл документа.

На бумажке типографским способом значилось: СПРАВКА, далее шло ДАНА:, после двоеточия от руки было вписано: *Агеевой Людмиле Евгеньевне*. И все. В конце большого пустого пространства, правда, стояла круглая печать и неразборчивая, естественно, подпись.

Всё время, пока вдумчивая охранница читала, Шурик с любопытством заглядывал ей через плечо. Прочитав несколько раз, бедная женщина взмокла от усилий, вернула ветхую ценность и меня пропустила, но поджав губы, все-таки процедила в спину: «Ну, чё хотят, то и делают».

Я спокойно подошла к лифту, нажала кнопочку, а Шурик, который уже был старшим научным и имел *свободный вход*, гигантскими скачками промчался мимо меня вверх по лестнице. Открывая дверь лаборатории, я услышала начало его рассказа: «Слушайте, у Агеевой есть такая потрясающая справка...».

А всё очень просто. Это была справка по уходу за ребенком. Поскольку документ был не финансовым то есть не оплачивался, легкомысленная и милая врачиха щедро выдала мне его незаполненным: «Ну, вы там сами числа проставьте...» и спешно из квартиры моей упорхнула, ей ведь тоже за время вызовов надо было заскочить в магазины, какие-нибудь очереди отстоять или за свет заплатить. Забот у нас было так много.

Государственный Оптический институт вышел из Университета, из кафедры оптики. Основал его академик Дмитрий Сергеевич Рождественский. Военные товарищи очень быстро сообразили, что всё, чем в этом институте занимаются, полезно для военных дел, и научные люди должны не только удовлетворять собственное любопытство за государственный счёт, но работать по указанию умного и дальновидного Правителя, который знал толк не только в языкознании, но и в точных науках. (К слову сказать, бестолковые математики не

сразу поняли его упреки в формализме, утверждая, что наука их в принципе формальна.)

Есть такая легенда: Берия в своем кабинете настойчиво уговаривает Дмитрия Сергеевича Рождественского заняться в своем институте чем-то военным и важным. Академик почему-то не хочет, отнекивается и злостно увиливает. И тогда Берия в самом дружественном порыве простирает к нему руки и обещает: «Мы вам орден дадим...». Неблагодарный академик вскакивает и очень невежливо вскрикивает: «Плевать я хотел на ваш орден!»

Легенда это или не легенда, но вскоре Дмитрий Сергеевич Рождественский кончает с собой, а созданный им институт разрастается до невероятных размеров и до сих пор, кажется, носит имя другого, но благодарного академика – Сергея Ивановича Вавилова, чей брат Николай Иванович, биолог, генетик и гордый человек, был так ужасно и ни за что (то есть, как ни за что – за высокую честь и научную порядочность – вот за что) загублен тем же самым Правителем, который всячески ласкал первого брата. Кстати, о генетике – незадолго до ареста Николай Иванович сказал кому-то: «к сожалению, сейчас идет отбор в науку людей без гена порядочности». Это он такой художественный образ использовал, ну нет такого гена, а образ есть. В некотором смысле – просто даже какой-то вечный образ получается. Не знаю, можно ли назвать сейчас наукой то, куда идет тщательный отбор людей без этого гена, но отбор идёт, это точно. На проходной института Химии Силикатов у старенького профессора Мазурина недавно по приказу нового директора отобрали пропуск – велено не пускать этого «врага института» (ну что вы всполошились, ну не «враг народа» все-таки) в его лабораторию, в которой несчастный проработал всю жизнь и даже, кажется, сам её и создал. Однако не будем отвлекаться на всякие отступления – трудно даже предположить, куда это может завести, например, в наш собственный сегодняшней институт, который стоит опустевший, разоренный и распроданный в сердце нашего родного Васильевского острова. Вернемся в прошлые времена, к Дмитрию Сергеевичу Рождественскому, которому, как это ни кощун-

ственно звучит, просто повезло – его не арестовали на выходе из кабинета Берии и не его мучил следователь Хват, а ведь он нарушил самое Главное Правило игры. Оно такое главное, что его даже не надо формулировать. Просто люди тогда еще не приобрели автоматизма в соблюдении этого Правила и не превозмогли в себе действие «гена порядочности». Им казалось, что перед Сильными мира можно высоко держать голову и говорить то, что думаешь. Ан нет. Надо низко держать голову и думать то, что говорят.

А у других за многие годы практики автоматизм этот всё-таки возник и так въелся, что стал натурой и даже не второй, а первой. И если президент Российского фонда культуры Никита Сергеевич Михалков со светящимися глазами восклицает: «Я мечтаю любить власть. Мечтаю...», можно вздохнуть спокойно – эти люди хорошо усвоили главное Правило игры, так сказать, генетически, т.е. наиболее прочно. Простим лукавство Никите Сергеевичу – ведь мечта его давно сбылась. Ведь он уже... Уже любит. По правде говоря, это и мечтой-то никогда не было. Они всегда любили власть, неважно, что не одну и ту же.

Это же глупо – не любить власть или начальство, это нецелесообразно, потому что всегда невыгодно, а порой – очень опасно.

Реалистически беря, как говорит моя тёзка и любимая писательница Л.П., жизнь по понятиям в преступных сообществах или манеры в сообществах аристократических суть соблюдение тех же правил игры, которые могут быть поважнее законов, поскольку от них зависит каждодневное существование. Конечно, в разных слоях общества в определенное время действовали (и действуют) разные правила игры, и без них просто шагу нельзя было ступить, и находясь внутри слоя, человек очень скоро переставал заниматься анализом и составлять эти понятия по степени их значимости или нелепости. Просто катила волна за волной, и надо было плыть. «Так положено», – говорили ему родители, потом учителя, потом начальники (ну родители и учителя тоже в некотором смысле – начальники).

А что касается абсурдности этих правил, то ведь к абсурду привыкаешь. И привычка делает этот абсурд переносимым, выталкивает его из поля логики.

Чтобы напечатать статью в любом научном журнале, нужно было пройти экспертную комиссию. В мои времена комиссия, конечно, уже давно не собиралась, и автор просто обегал членов комиссии с многостраничным «экспертным заключением», собирая их подписи. В аннотации, которую сочинял сам автор, аргументированно должно было быть доказано, что статья не содержит чего-либо нового или мало-мальски интересного с научной точки зрения, а иначе зарубят, не подпишут, заставят патентовать, подавать заявку на изобретение (а это всё страшная канитель и занудство) или печатать в закрытом журнале. А печататься в закрытом журнале не совсем прилично, там печатаются те, кто любыми путями набирает количество публикаций, делает карьеру, а потом защищается на закрытом Ученом совете. «В закрытой защите никаких открытий не может быть», – говорил Никита Алексеевич. Взгляд, конечно, снобистский, но верный.

И вот автор униженно доказывает особо подозрительным и придирчивым экспертам, что статья – ну, самая ordinaria, совершенно рутинная, вы только взгляните, абсолютно ничего важного, очень незначительная, практически барахло какое-то, подпишите, пожалуйста.

Самые умные члены комиссии не вникали в содержание, ну, разве что глянут в конец статьи, если она имеет отношение к их занятиям, и без разговоров эту хренотень подписывали. Все равно в каждом журнале есть рецензенты, они разберутся и при благосклонном решении напишут всё, само собой, наоборот, т.е. – «открывает новое направление», «практическое значение переоценить невозможно» и т.д. и т.п.

Или вот еще. В ВАК после защиты нужно было направлять стенограмму заседания Ученого совета. (Подумать только, какие древние обычаи – магнитофонов не было, что ли.) Все это делает сам уже счастливый соискатель, ну, если защита прошла благополучно. Неблагополучные защиты – редкость и скандал.

Вообще, активный научный человек многое делает сам, то есть сам себя раскручивает, пишет сам на себя отзывы, особенно на автореферат, сам подбирает оппонентов, сам себе придумывает выгодные вопросы для прикормленных членов Ученого совета. Ну, я, конечно, немного сгущаю и обобщаю. Однако один академик мне рассказывал, как его даже в туалете Академии Наук ловили шустрые член-корры, добивающиеся избрания в действительные.

Почему-то хочется сделать отступление под таким, к примеру, названием: *Под лежащий камень вода не течёт*. Раз уж мы занялись литературой, то вот что рассказал опытный, но малоизвестный литератор, глядя мне в глаза с презрительным состраданием. Ты наивна как трава, – начал он и далее подробно описал, как нужно окучивать редакторов, издателей и рецензентов, как номинировать себя на разные премии в режиме мытья посторонней, влиятельной в литературном смысле руки своей собственной рукой в надежде на всем известную и традиционную обратную связь. О да, это меня поразило – прекрасная русская литература, это... ну, пусть высокопарно... разговор с ангелами... все-таки. Три ха-ха, ответил мне на это опытный малоизвестный литератор. Чем писатели хуже твоих давних диссертантов, а также сегодняшних, почему это они не могут сами на себя рецензии писать, или друзей просить, или даже платить за это. Да, и критики такие есть, петухи-трудоголики, натасканные (как собаки на наркотики) на отыскивание жемчужных зёрен в кучах известно чего и, даже не нашедши этих самых зёрен, нагло предъявляющие публике за определённое, естественно, вознаграждение от производителей куч, тусклые камушки и крупинки неприятного химического состава, при этом восклицают хвалебности. Двести долларов, кажется, стоит эта не очень чистая работа, а если кто её за меньшую плату произвёл, за, допустим бутылку Hennessy, то нам его искренне жаль. А ты разве не писала всяческие «рыбы» для отзывов на автореферат. Ну... диссертация, – запричитала я с дрожью в губах, – это же просто развернутое заявление о повышении зарплаты и всё, и тут же вспомнила, что встретила я как-то во дворе Лешу Екимова, мы соседи с ним, и он признал-

ся, что долгие годы жил в своём ФИЗТЕХе с такой мыслью: «или победить, или умереть», а теперь вот нет у него такой мысли, всё стало как-то обыденно, теперь он иногда из Франции летит в Японию, даже не залетая в Россию, правда, отпуск проводит в своем домике на Кижях. Это я к тому, что и наука была для кого-то делом святым и единственным. Давно это было.

Итак, стенографистка приносит расшифровку, но текст этот представляет несусветную белиберду, потому что техническая девушка совершенно не понимает физического смысла происходящего, вернее, уже происшедшего на Ученом совете, впрочем, и не должна. И вот отмучившийся счастливчик обрабатывает эту стенограмму с тайным и мстительным наслаждением. Основная часть, которую он заново воссоздает, это – вопросы и ответы. И вопрошающие с безумной лихостью изображаются полными недоумками, пощады нет никому, ни член-коррам, ни академикам, не говоря уже о простых профессорах, а сам диссертант предстаёт мудрым, находчивым, терпеливо объясняющим заблуждающимся всю глупость и непрофессиональность их вопросов.

С младых, как говорится, ногтей мы сталкивались с этим абсурдом и привыкли особенно не тратить на него силы, время от времени внутренне хихикая. Вернувшись из Коктебеля, где Мария Степановна за мелкую плату давала на чердаке Дома поэта приют бедным студентам и разрешала особо аккуратным молодым варварам пользоваться библиотекой Максимилиана Александровича, я снова захотела почитать Волошина. Однако в Публичной библиотеке от меня потребовали документ, что стихи Волошина мне нужны для работы над дипломом. Я мигом эту бумагу сочинила, пробилась на приём к декану факультета (а факультет – физический), мы посмотрели друг друга в глаза, и он мне невозмутимо эту бумагу подписал.

Где Волошин, а где «Время жизни возбуждённых состояний твердотельных лазерных сред», я вас спрашиваю. Вот какой у нас был декан факультета.

Нарушение правил игры и проявление непривычных манер приводило иногда к неожиданным и, можно сказать, в некотором смысле даже положительным результатам.

Вы, безусловно, знаете, как должен вести себя человек в приёмной министра... Тут и объяснять нечего. Каждому понятно, как надо сидеть на диванчике и ждать, и какое лицо держать при этом. Некоторые вольности вроде подсовывания дорогих шоколадных конфет или французских духов капризулям-секретаршам дозволялись. Но вот приезжает в министерство наш странный профессор Адольф Капитоныч Яхкинд (можно сообразить, в каком он году родился, ежели родители безбоязненно дали ему такое имя). Секретарша, не поднимая глаз от стрекочущей машинки, объясняет, что шеф вряд ли сегодня кого-нибудь примет. У него совещание – затянется надолго. «Ничего, – спокойно говорит Адольф Капитоныч, – я подожду», садится на кожаный диванчик, вынимает своё вязанье и начинает вязать. Заходящие время от времени в Приёмную серьёзные министерские люди вылупляют глаза, вопросительно смотрят на секретаршу, она пожимает плечами и вскоре куда-то удаляется. Простодушный Яхкинд продолжает вязать и шевелит губами, считая петли. Вдруг дверь кабинета отворяется, сам улыбающийся министр выходит к нему и тут же, склонившись над столиком секретарши, все бумаги ему и подписывает. А подписав, полюбопытствовал (и среди министров бывают светские люди): «А что это вы вяжете?». «Да вот, свитер младшей дочери вяжу, старшей уже связал, так они ссорятся, и младшей такой же надо. Я люблю вязать, – и распахнув свой пиджак, Адольф Капитоныч гордо показал жилетку, – вот и себе связал...». Министр сказал: «Потрясающе...», пожал Яхкинду руку и, пятясь спиной, быстро скрылся в своём кабинете. Так что дело сладилось без французских духов. Некоторое время спустя директор института Гурий Тимофеич оказался рядом с Яхкиндом на каком-то министерском совещании и очень удивлялся, почему Адольф Капитоныч так интересуется, какой размер одежды у министра – пятьдесят второй или всё-таки пятьдесят четвертый – и только услышав эту историю, наш директор изумился еще больше и, хоть и был хорошо владеющим собой администратором, всплеснул руками и воскликнул: «Неужели он хотел министру свитер связать?»

Еще один пример нарушений правил игры, именно правил, а не законов, которые – не побоимся повториться – задевают нас не так уж часто, тем более, известно, что, в частности, от российских дурных законов верное спасение – такое же дурное их исполнение, а также присказка про дышло. Но этот пример как раз о возможности удачного нарушения чужих, заграничных правил игры, так сказать, устава чужого монастыря.

Моя бескорыстная подруга N (и по этой причине навсегда и абсолютно безденежная) оказалась в Нью-Йорке на репетиции спектакля знаменитого и обожаемого ею режиссёра и, будучи театральным фотографом, нащелкала несколько пленок. На следующую репетицию она принесла толстую пачку фотографий и выложила перед мэтром и его замечательными актерами, которые с восторженными детскими воплями фотографии эти вмиг расхватили и разбежались по углам любоваться своими изображениями. Режиссёр тоже благодарно заулыбался, вытащил чековую книжку и осведомился, сколько же он должен. «Ничего, – ответила гордая и нищая девушка, – мне просто хотелось сделать вам приятное». «Но вы потратили своё время, пленку и прочее. У нас это не принято...» «А у нас принято», – настаивала упрямая N, намекая на широту души тех, кто населяет её непонятную другим народам Родину.

Можете мне не верить, но не было у неё задней мысли, разве что эта – о широте души (я её знаю, эту непрактичную N). «О - кэй», – сказал режиссёр, спрятал чековую книжку и устроил N на постоянную работу.

Вообще говоря, неподчинение обычаям и правилам чужого монастыря требует определенной негибкости и очень часто – это важно – в сочетании с поразительной находчивостью, что само по себе, то есть именно такое сочетание – вещь редкая и встречающаяся преимущественно у людей (постараемся выразиться помягче) ленивых, что ли, но ленивых физически, как будто высокая скорость мыслительных реакций обеспечивается у них как раз состоянием полного покоя тела.

Таня Т. прожила несколько лет в заокеанской стране, читала там лекции о русской литературе, купила в кредит дом в уютном университетском городке, но за участком не ухаживала, траву не стригла, газонную красоту не поддерживала и на намёки соседей внимания не обращала. Тогда гуманные, терпеливые соседи подбросили ей на участок машинку для стрижки газонов (может быть, у неё финансовые затруднения и такой прибор не на что купить), но машинка как легла на бок, так и лежала в густой, высокой траве и кротко ржавела – никто ею не интересовался. Соседи выжидали, но ничего не дождавшись, сжалились над машинкой, которая так никому и не понадобилась, тихонько отволокли её назад и начали совещаться, что дальше-то делать. Долго собирались друг у друга по пятницам – хозяйки по очереди устраивали пати – и выбрали, наконец, делегацию. Делегация отправилась к Тане и всё ей в лоб и высказала – так и так, дескать, надо стричь (хотя уже косить надо было, косить) – трава лезет на соседние участки, не известные в округе сорняки выплевывают мерзкие семена на ухоженные полянки, всё это нарушает порядок и привычную взорам зелёную эстетику. Их было несколько человек, шесть или даже семь, они немного возбудились и, может быть, слегка повысили тон. Но не на таковскую напали. Наша Таня сама на кого угодно тон повысит, руки в боки и тон – повысит, будь ты хоть сам президент (чистая правда, потом расскажу). Но тут, вот что удивительно, Таня выслушала всех и каждого с терпеливой улыбкой и, когда они сами собой замолкли, потрясённые таким её невиданным самообладанием, вкрадчиво и спокойно объяснила, что религиозные убеждения не позволяют ей осуществлять насилие над травой – эгейнст май релиджен – растения, мол, такие же живые существа, жаль, если вы этого не понимаете, но вы поймёте. Притихшие американские провинциалы подавились своими претензиями, втянули головы в плечи, поджали губы, не нашли, что возразить, да и не могли, потому как воспитаны были в глубочайшей толерантности к чужим религиозным убеждениям, беспомощно переглянулись, и, лицемерно улыбаясь, удалились. Когда наш институт должен был принимать

каких-то иностранных ученых, и заместитель директора в панике прибежал к директору с криками, что вести иностранцев в лабораторный корпус никак нельзя – там полная разруха, а на стенах растут грибы – Гурий Тимофеич вспомнил эту Танину историю и посоветовал своему заместителю объяснить зарубежным коллегам, что у русских такие убеждения, почти религиозные, не трогать грибы, пусть растут там, где растут. Вот такой Таня передала нам опыт, потому что она не только смелая, бесстрашная, не боится никаких президентов, ни чужих, ни отечественных, но еще и находчивая, причем моментально находчивая. Хотя... находчивость может быть только моментальной, я имею в виду – в разговоре. Немоментальная находчивость называется «остроумие на лестнице», возможно, даже на той самой лестнице, с которой остроумца только что спустили вниз.

Но чужой монастырь, следует заметить, территория опасная, и ухо надо держать востро. Слепое, бездумное копирование устава может привести к ещё худшим недоразумениям, чем легкое его неисполнение. Говорят, ректор Оксфорда господин Бауер поехал перед войной к Гитлеру с миссией примирения. Встреча началась таким образом.

Гитлер: «Хайль Гитлер» (соответствующий характерный взмах руки).

Бауэр: (вежливо шаркает ножкой) «Хайль Бауэр!»

Никто не написал социологическое исследование на такую примерно тему: *«Генезис и динамика правил игры на постсоветском пространстве в переходный период»*, а жаль. Ведь всё это происходило на наших глазах. В самом начале перестройки, когда появились талоны на мясо, сахар, масло и так далее, я набрела случайно на очередь за бесталонным мылом в «Пассаже» (давали по одному кусочку в руки) и, честно её отстояв, приблизилась, наконец, к прилавку. Ну тут энергично протиснулась передо мной молодая женщина, оказавшаяся многолетней матерью, что она и подтвердила предъявлением паспорта, и еще – она знала локальные правила игры, или инструкции, или чьи-то распоряжения – лично ей полагался кусочек мыла и еще по одному кусочку на каждого ребёнка,

причем без очереди. Гордо оглядев зашумевших малодетных тёток, женщина запихнула в сумку пять кусков мыла и отправилась, по-видимому, напрямик к своим четырём чистюлям. Мне показалось почему-то логичным, чтобы мне дали *два* куска мыла, поскольку хоть у меня всего лишь один ребенок (вот, пожалуйста, паспорт), но этому ребенку тоже надо иногда вымыть ручки. Продавщица, однако, была непреклонна, логику мою не признала, молча швырнула мне сдачу – в тот же миг я перестала для неё существовать. «Какую логику можно требовать от коммуняк», – загалдели за моей спиной, и, зажав в кулаке жалкий кусочек мыла (довольно, надо сказать, отвратительного), я, униженная нелогичными коммуняками, но утешенная либеральными единомышленниками из очереди, побрела восвояси.

Прошло совсем немного времени, поутихли восторги по поводу свободного выбора свободного народа, и вот я стою на кольце всех трамваев и троллейбусов, на пересечении улицы Кораблестроителей и улицы Наличной. Поздний вечер, промозглый осенний мрак, пронизывающий ветер с залива, на кольце скопилось довольно много темных пустых трамваев и таких же темных недвижимых троллейбусов. Ждем долго и безнадежно. Никаких признаков движения. Лишь уютно светятся вдаль маленькие окошки их уродливой диспетчерской. «Козла забивают, суки», – зло говорит дядька и прячет лицо в воротник. «Да не..., – поправляет парень в кожаной куртке, – сёдня ж футбол, пока тайм не кончится...» Пожилая женщина обреченно покачивает головой: «Раньше хоть в партком можно было пожаловаться». Похоже, она готова сказать доброе слово о коммуняках. Сравнение как метод познания. Но не будем поддаваться, не позволим склонить нас к тривиальным решениям.

Странным образом устроена человеческая память, постоянно бросающаяся от несовершенного настоящего в давно совершённое и прошедшее. Что прошло, то будет мило – что ли. И кому-то мил в этих уплывших дебрях утраченный покой, а кому-то истаявший дружеский круг, нелепые иллюзии и обычное стремление молодости к справедливости и правде.

Надо было просто соблюдать некоторые правила игры и необременительную осторожность. И соблюдая их, дальше можно было жить относительно спокойно (а как насчет души, уязвленной страданиями людей – ужасный, преступный конформизм... вот то-то и оно). И так, дальше можно было жить спокойно, всё, однако, понимая, ну почти всё, во всяком случае, очень многое, и осторожно почитать самиздат или тамиздат, только его мы, кажется, и читали. (Что, конечно, дурно. Может быть, кто-то забыл историю про одну заботливую маму, по ночам перепечатающую на машинке «Войну и мир» для дочери, признающей и читающей исключительно самиздатовскую литературу.)

Но я читаю как раз *крайне неосторожно*, да ещё и в метро, «Технологию власти» Авторханова. Возвращаюсь с дачи – у нас очень далеко, на Вуоксе домик. Путь долгий и утомительный. Я в старых джинсах, в обтрепанной курточке, волосы покрыты пылью. Вид у меня, я думаю, незаметный и вполне неприглядный. Книгу мне дали на несколько дней – большое везенье, обычно давали на одну ночь. И я, вопреки обещанию не уносить из дому, увезла книгу на дачу. А что делать – картошку-то сажать надо и читать хочется. Рядом сидит молодой мужчина. Поглядывает – то ли на меня, то ли на книгу. Я, как могу, книгу прикрываю. Наконец, выхожу на «Василеостровской». Человек этот идет за мной. «Давайте, я вам помогу», – пытается вырвать у меня довольно тяжелый рюкзак. Яростно вцепляюсь в свою ношу и уверяю, что рюкзак совсем не тяжелый. На эскалаторе он стоит рядом, говорит непрерывно. Оказывается, разговорчивый гражданин работает фотографом в рекламном бюро, сейчас они рекламируют бриллианты. Считает, что я им очень подойду. Он долго рассматривал мой профиль и просто уверен – я то, что им нужно. Страстно начинаю его убеждать, что очень нефотогенична. Фотограф настойчив: «Не может быть. В любом случае вашим детям останется хороший портрет». Наконец мы на поверхности. Толпа клубится и разделяет нас. Я, кажется, спаслась. Как бы не так. Слышу за спиной его дыхание, и вдруг он цепко берёт меня за локоть. С ужасом вырываюсь, бегу, расталкивая людей, по спине бьёт

тяжеленный рюкзак, догоняю свой автобус. Сердце возвращается из пяток на своё место, но бешено клокочет – то ли разорвётся, то ли, вообще, вот именно что – выскочит из груди. В заднее стекло автобуса вижу пристававшего ко мне молодого человека. Он стоит, чуть склонив к плечу голову, смотрит мне в след. Выражение его лица мне непонятно.

Володя Конашёнок тоже ведёт себя вполне безоглядно и тоже – в метро, практически нарываясь, хотя...настоящего страха все-таки уже нет, (пропустили разложившиеся органы момент, не успели вовремя пугнуть этих игривых мальчиков и девочек). Час пик. Вагон набит до отказа. Хорошенькая девушка стоит перед Конашёнком, уткнулась в какую-то книжку, он, любопытствуя, заглядывает ей через плечо и понимает, что девушка читает *в метро* «Архипелаг Гулаг». Володя начинает всячески хмыкать, качать головой и предупреждающе выпучивать глаза. Девушка, наконец, обращает на него внимание, поднимает спокойное личико, снисходительно улыбается, закладывает пальцем читаемое место и показывает заднюю обложку книги. И там, где обычно стоит цена, Конашёнок видит такую надпись: «*Для служебного пользования*».

Еще не вышло из употребления слово *совок* (но скоро выйдет, когда совсем уйдут эти люди, к которым можно его применить. В толковых словарях русского сленга рядом с ним поставят *устар.* Интересно, конечно, как будущие филологи сформулируют это понятие). А пока не ушли эти люди, среди них продолжают споры, кто всё-таки был совком, а кто нет, при этом спорщики пользуются, надо сказать, очень расплывчатым определением совковости, преимущественно чисто интуитивным. Совком считаться обидно, все равно, что дураком или зомби. И мера допустимого конформизма, не переходящего в самозомбирование, тоже определялась окружением. Где-то я прочитала у Мариэтты Чудаковой: «Во всех личных архивах филологов, искусствоведов, историков были конспекты работ Сталина (Ленина) и следы натужного их осмысления, на которые уходили *драгоценные соки мозга*». Бедные, они старались найти там высокие мысли и оправда-

ния своим занятиям, своим статьям, своим книгам и лекциям. Человеку так свойственно примиряться со своим временем, то есть – быть заодно с жестоким правопорядком. И Пастернак с Чуковским идут по ночной Москве и восхищаются Сталиным... Но человеку также свойственно не примиряться с существующим правопорядком, и противостояние наполняет его жизнь особым, возвышенным смыслом. Что только ни свойственно человеку... И остаётся поблагодарить филологических родственников, толкавших меня изо всех сил на физический факультет из соображений, как я понимала уже тогда, прежде всего гигиенических. Как-то сразу вдруг стало понятно вблизи циклотрона и спектрофотометра, что получать отличные оценки по «Истории КПСС» не очень прилично, а по квантовой механике – похвально. А потом, когда мы уже работали в разных научных институтах, в нашем кругу не принято было вступать в Партию. Михаил Т., став в довольно молодом возрасте начальником лаборатории, на предложение пополнить ряды гордо ответил: «в нашем графском роду еще не было членов партии». Ну, ему это впоследствии припомнили, конечно, но сказать-то он сказал, уже было можно. Один из наших прокололся и вступил, мы увидели его на трамвайной остановке, на площади Пушкина, у здания Биржи, подошли и вежливо понтересовались: «ну, как ваш съезд?» (а в Москве шёл в то время двадцать какой-то съезд КПСС) Молодым людям это непонятно, а скоро вообще будет никому не понятно, что издевательское местоимение «ваш» означало полное отъединение, намек на отсутствие единства между партией и народом, о чем кричали все лозунги на всех фасадах, то есть именно о единстве. Вступивший отступник глянул на нас затравленными глазами, не сказал ни слова, бедняга, и побежал ввинчиваться в какой-то случайный трамвай. А нам ничего за это не было, еще бы было – его тогда совсем бы со света сжили. Научным людям отступничество не прощалось (только в очень исключительных случаях), извилин этот шаг, естественно, не прибавлял и даже карьере не особенно способствовал, а уважения друзей очень часто лишал. Другое дело – люди гуманитарные.

В одном хорошем доме часто бывал успешный, бурно процветающий художник К., который, кстати, был так искренне и долго влюблен в собственную жену, что это переходило всякие границы приличия, многие даже сомневались: не разыгрывает ли он нас. Но нет. Я как-то оказалась с ним рядом за дружеским столом. Вместо того, чтобы ухаживать за мной, он не сводил глаз со своей жены, которая в нелепом фиолетовом тюрбане сидела как раз напротив и писклявым голоском чаровала двух физиков. Сжимая мою руку, художник восторженно шептал: «Взгляните, какое прекрасное у неё лицо». Я старалась, но никак не могла разделить его восхищения, тем более, что один из физиков был мой муж. Но чтобы не огорчать художника К., я фальшиво ему поддакивала и соглашалась, что ничего прекраснее мне в жизни видывать не приходилось. Благодарный, он кидал мне на тарелку последний кусок ветчины и пел: «Ах, как редко люди понимают истинную красоту». А жену его я помнила еще по университету. Она была такая долговязая, сутулая девица, училась на филфаке, но ругулярно посещала наш факультет – мужское население было у нас перспективнее, а главное, многочисленнее. Но острое желание зацепиться в Ленинграде так ярко светилось в её провинциальных глазах, что осторожные физики дружно шарахались и не поддавались. Между прочим, сами физики с удовольствием зааживали к филологам, мы там занимались немецким. Кто-то даже назвал филфак *труднопроходимым* факультетом. Действительно, не всем удавалось добраться до нашей аудитории, невозмутимо миновав ту самую площадку второго этажа, на которой дивные красавицы с длинными глазами и длинными ногами томно курили свои длинные сигареты. Долговязой сутулой девице трудно было с ними соперничать. Но...mit Geduld und Zeit kommt man weit, т.е. терпение и труд всё перетрут. В результате перетирания всех препятствий путем проникновения в партийные круги культуры (то есть во-время плюнув на физиков) она получила художника ленинской тематики, надела фиолетовый тюрбан и восторжествовала над увядшими и одинокими столичными красотками. А ревность мужа доставляла ей истинное удовольствие. К слову сказать, с удачливыми сопер-

никами художник К. боролся по-разному, иногда очень изобретательно. Например, подсаживался к избраннику, дружески хлопал его ладонью по колену и сокрушённо шептал: «Знаешь, почему Анка такая худющая? У неё ведь страшные глисты, самый большой называется солитер. Вот как ты думаешь, какой он длины?» Избранник в ужасе отшатывался, проливал остатки вина на фирменные брюки и через некоторое время из компании исчезал. И все-таки художника ленинской тематики референтная группа принимала в свои придирчивые объятия, потому как он и не скрывал своего тонкого глумления над выбранной темой, был остроумен, забавен, а на упрёки в цинизме отвечал: «Да, я циник, но в лучшем смысле этого слова». Может ли человек с ироническим взглядом на мир и хорошим чувством юмора и называться совком... Вопрос.

А наша жизнь в старинных научных институтах была уж совсем частная, и происходящее в наших компаниях, наших семьях, а также наших сердцах и головах, что, в общем, одно и то же, было нам важнее всего. И это происходящее было столь интенсивно, ярко и всепоглощающе, что идиотизм далёкой власти нас практически не задевал, те самые отвратительные руки власти до нас не дотягивались.

Легкий стыд, однако, смущает душу. Диссиденты тоже были в том далёком мире, где была и ненавистная нам жлобская власть. Оттуда к нам слетали и «Архипелаг Гулаг», и «В круге первом», «Крутой маршрут», «Хроника текущих событий» и всё такое прочее. Мы совершенно свободно передавали этот самиздат друг другу, не испытывая страха – нас было слишком много, и уследить за всеми было трудно. Тот знаменитый научный институт, в котором я работала, насчитывал вместе с филиалами около десяти тысяч сотрудников. Как тут уследишь. Стукачи, конечно, были, но уж очень, по-видимому, нерадивые. Женя Шибаров, например, открыто похвалялся, что напечатал тамиздатовскую книгу Аркадия Белинкова о Юрии Олеше в нашей лабораторной фотокомнате во время ленинского субботника – мы должны были оценить особое удовольствие, которое он при этом испытывал, то есть восхищаться тем самым цинизмом в *лучшем смысле* этого слова.

Помню, в какой-то компании я читаю в сторонке тоненькую книжицу Солженицына «Жить не по лжи» и, внимательно обдумав все требования к желающему жить не по лжи (их, кажется, четырнадцать – т.е. не участвовать во всяких дурацких собраниях, не голосовать, понятно, за что, не вставать, не аплодировать...и т. д. и т.п.), вдруг понимаю, что я практически все эти требования без всяких усилий, одним нашим общим образом жизни выполняю и с восторгом кричу: «я живу не по лжи!» И тогда присутствующий в комнате какой-то гуманитарный человек бросается на меня буквально с кулаками и даже потом, когда его уже оттащили и успокоили, из противоположного угла всё ещё продолжает что-то мне про меня и мне подобных объяснять в том пренебрежительном смысле, что, мол, нет ничего проще, чем сохранить невинность, если на неё никто не покушается. И вот что странно – мне не было обидно, и никому не было, а было смешно и жаль бедного человека, на невинность которого, видимо, кто-то сильно покусился, и не без успеха.

Почему я называю стыд *легким*. Потому что каждый может сделать выбор. И в нашей лабораторной частной жизни постепенно вырастали просто здоровые люди. (Почти все были выпускниками каких-нибудь физико-математических школ, про которые один инспектирующий чиновник задумчиво сказал: «опасно собирать вместе так много умных детей») Должно быть, нас следует отнести к тем самым «образованцам», так сильно раздражившим Великого обличителя. Странно, что усвоив какие-никакие основы физики, он не признал важную закономерность – экономика, конечно, экономикой и нефть нефтью (т.е. цены на её барелли), но Правители ошиблись еще и потому, что опрометчиво вырастили собственными руками критическую массу мыслящих людей. К несчастью для Правителей, мысль живуча, как сорная трава. Только что её вырвали и выбросили или даже вывезли по воде далеко-далеко, но вот она снова заполонила огород и мощный чертополох опять покачивает своими упрямыми головками. Противостояние начинается с понимания, что есть зло. И с желания, чтобы это понимание и эти мысли разделили с тобой твои

друзья. И с умения опознать зло, его поползновения и поту- ги, его обманные виражи и прямые угрозы. И назвать его сло- вом, прозреть и истолковать. (Внук, рождённый с мышью в руке, притащил из Интернета однострочный стишок: «*стре- ляй! но знай – я это истолкую*»).

Итак, важнее всего были правила игры своего круга или, как давно уже принято говорить, своей референтной группы. Отродясь они были такими, то есть – непреложными, а случа- лось, что и вполне страшными, но – важнее всего на свете, важнее жизни. Иначе зачем Михаил Юрьевич позволил убить себя Мартынову, зачем вышел на дуэль, дикость такая, поче- му нарушил законы не только государственные, но и божес- кие – двойное убийство (если можно говорить о каком-либо удвоении в этом жутком случае), ведь грех, как ни крути, а каково будет бабушке над гробом его стоять, думал ли – нет, наверное, не думал. (Да знаю я это слово на букву «Ч», я лите- ратуру читала классическую, только скоро рядом с ним тоже поставят – *устар.*)

А действительно, существует ли это слово в нашей жизни, можно ли привести примеры. Я совершенно серьёзно...Доб- рота, сострадание, чувство товарищества, даже раскаяние еще встречаются иногда, но *честь*...Похоже, давно уже вышло это понятие «за рамки повседневной бытовой культуры».

Со странным сладострастием пишут бывшие стукачи свои исповеди. Ну просто один за другим. Бьют себя в грудь, сте- нают, но и оправдываются. «Да будет вам, – отмахивается всё им простивший читатель, – чего уж там... Хватит. Надоело уже...»

Помню разговор за столом на даче моего начальника и дру- га. Меня привез к нему на своей машине наш сотрудник и тоже друг Р. Сидим на веранде, за окном дивная весна, цветущий сад, нежная вечерняя заря, разговор заходит почему-то о норме стукачей, с удивлением узнаю, что на десять человек полагается один стукач. «Что же это такое, – замечаю я с глупым простодушием, произведя в уме детское вычисление, – у нас в лаборатории тридцать человек, значит у нас три стука- ча...?» Начальник и друг всплескивает руками, «забыл, сов-

сем забыл», кидается к шкафчику и достает под восторженные возгласы гостей бутылку знаменитого в наших краях коньяка, подарок кавказского диссертанта, а потом незаметно манит меня пальчиком и вызывает с веранды в сад, и там, под цветущими яблонями отчитывает: «Какая ты все-таки неделikatная... ты с кем приехала?» Я клянусь, что ничего не понимаю, и он быстро рассказывает историю грехопадения нашего доброго Р., и рассказывает с сочувствием к Р., призывая меня понять, что нам элементарно повезло в подобную историю не попасть и нечем здесь особенно гордиться.

Однако, представления о рудиментах чести у обыкновенного человека принимались во внимание самими органами. Мою давнюю знакомую они уговаривали доносить на иностранцев (а девушка эта очень нравилась почему-то именно зарубежным людям), приводя такой довод: «ведь не на своих же...», и обещали вернуть ей сына, которого бывший муж, чех по национальности, ни за что не отдавал и держал в своей Чехии, и, вообще, красивую жизнь обещали – с интуристскими ресторанами и такими же шмотками. Девушка оказалась странной, отказалась и добавила: «сына я и без вас верну», «Ну, смотрите...» – сказали ей холодно и, сочтя её сумасшедшей, но не очень опасной, пропуск на выход ей все-таки подписали. А сына она, действительно, вернула, то есть – похитила, заманив мужа с ребенком в Россию, в свою коммуналку, чтобы якобы слабая здоровьем, почти на ладан дышащая бабушка могла с мальчиком проститься. Пожалуй, вся эта история (несмотря на подписку о неразглашении, широко рассказываемая героиней, одно слово – сумасшедшая) чистая правда, поскольку никакой особенно красивой жизни у девушки ни тогда, ни потом не случилось, хотя иностранцы еще долго не давали ей проходу, практически за руки хватали прямо на улице.

Когда жизнь тиха и спокойна, правила игры тоже коснеют, твердеют и приобретают лишенную чувства юмора непреложность. Вообще, всяческая ирония хуже любого кислотного дождя для устоявшихся норм и манер. Чацкого, собственно, за что не принимает общество, а вот за это самое, за насмеш-

ки, за кривлянье, за наблюдательность, за умные подкалывания, за несерьёзность, за иронию. За веселье. Осуждение следует незамедлительно.

Веселье всегда вызывало подозрение. Помню, наша славная компания любила в обеденный перерыв сдвигать столы в столовой (а столовая у нас была очень хорошая, дешёвая, вкусная, такой как бы закрытый ресторан, мы ведь все-таки относились к ВПК), чтобы всем быть вместе, хохотать, болтать и говорить друг другу комплименты. Ну, не нравилось это окружающим и обедающим другим сотрудникам, преимущественно серьёзным и мрачным, не нравились им наши моменты любви и веселья. Почему это им должно быть скучно, а нам отчего-то весело? И на нас пожаловались, и какая-то столовская тётка, мелкая распорядительница, пришла и запретила столы составлять, «чтобы это было в последний раз», хотя мы уверяли, что всегда всё возвращаем на место, расставляем стулья в прежнем порядке и самым тщательным образом убираем за собой посуду. «Всё, разговор окончен», – злобно выкрикнула тётка и отчалила.

О, с правилами игры нужно уметь работать (конечно, если эти правила хоть какое-то время не меняются). И наш химик и юрист-любитель Саня Жилин, как раз обладатель самого громкого и вызывающего смеха, от которого дрожали стекла в окнах и неодобрительно поджимали губки благовоспитанные тётеньки из КБ, перекладывает аккуратно свой щницель на чистую тарелочку, несет в кабинет директора столовой и очень почтительно просит в присутствии свидетелей, а их набилось в кабинет видимо-невидимо, произвести *контрольное взвешивание* (я и слов-то таких не знала). Понятливый директор столовой тут же вызвал по местному телефону злобную мелкую распорядительницу, и она прибежала незамедлительно, сладко и противно улыбаясь, отчитал её строго и по-отечески, с видимым трудом подбирая в нашем присутствии цензурные слова, и повелел оставить нас в покое и впредь быть умнее, словно предвидел этот неглупый человек, что через несколько лет Саня Жилин станет директором целого института, правда, ненадолго, пока не украдут платину, но про

это как-нибудь потом. Так что с правилами игры можно бороться только с помощью других правил игры.

По-видимому, уже нужна такая наука. А пока – это только коротенькое феноменологическое описание.

Когда жизнь меняется достаточно внезапно и резко – войны, революции, захват заложников и прочий форсмажор, – старые правила игры сами собой отменяются, начинаются игры без правил, и некоторых игроков удаляют с поля, но не за нарушение правил (их ведь пока нет, действуют одни лишь инстинкты: хватательный, например, или – спасти детей), а как раз за попытки соблюдать правила старые, или уж так, ни за что, то есть их уносят на носилках с поля, поскольку двигаться и говорить они уже не могут – они погибли.

Двадцать лет никто не трогал мой домик на Вуоксе, фанерная дверка его была заперта на маленький, открывающийся гвоздем замочек, и только с началом перестройки (слово, которое ненавидит более восьмидесяти процентов страны) начались налеты и кражи, а потом затихли, когда появились в посёлке непонятные мордатые существа с золотыми цепями на шеях, скупившие хутора и земли вокруг. И перерезали они наши черничники и знакомые тропинки сетчатыми изгородями, и поставили над изгородями плакаты : «Стой! Территория простреливается». Время идёт, и постепенно начинают тихие жители понимать новые правила игры, втягиваются и привыкают. И под бандитами жить можно. Иногда диву даёшься, на что только не соглашаются люди, лишь бы правила игры не менялись. Ну и что, что бандиты, а зато хлеб теперь в деревне каждый день и не виданные бабками напитки. А бандиты...пушай друг в друга стреляют, а мы-то им зачем, так вот тихонечко тут и проживём.

Немец напротив меня читает в метро свою немецкую газетку во время президентских выборов в России. На первой странице – фотография Путина и крупными буквами название статьи: «*Sehnsucht nach Stabilität*» (тоска по стабильности), а также мнения простых людей преимущественно восторженные и полные желания дружить с новым правопорядком. «Мы не немцы какие-нибудь, чтобы гнаться за деньгами.

Наша главная прибыль – в любви начальства, а главный убыток – в его неприязни» Так что три раза Ура! – дайте только срок (а могут и дать, у них не заржавеет), и образуется потихонечку постоянство новых правил игры, удивительно иной раз похожих на старые, что и требовалось подавляющему количеству населения.

Поскольку говорить о законе в России, как утверждает В.Ш., всегда было неловко, а по нынешним временам и вовсе смешно, захотелось вот поразмышлять о чем-нибудь более легковесном (так казалось поначалу), о каких-нибудь пустяковых ограничениях, вошедших в привычку, которые люди сами для себя придумали, чтобы жизнь их стала более организованной, разумной и приятной, о каких-нибудь мелочах – вроде книксена и умения пользоваться ножичком для рыбы. И в голову не могло прийти, что соблюдение некоторых правил игры (или, наоборот, несоблюдение) опасно для жизни, и никакой (т.е. *никакое*) минздрав об этом не предупреждает. Представлялось, что просто посудачим о противоречивой природе человека, которая в этих пустяках отразится, вот именно – как в капле воды...И тем не менее тревожит душу один вопрос... «Звездный мир над нами» – это хорошо, это, действительно, удивительное чудо – он существует. А вот «нравственный закон внутри нас»? С ним-то как? Ведь просто в отчаянье приходишь порой. И кто такие эти – «мы», о ком говорил серьёзный немец. Может быть, был такой закон когда-то, а потом исчез. Или, наоборот, появится лет через триста.

Ну что, будем надеяться?

Письмо из Баварии

...Ну, что вам сказать? Повидимому, существует в природе (в природе человека?) эта болезнь: Nostalgia, Heimweh, Тоска по родине. И, как в случае с любой болезнью, некоторым удаётся её благополучно избежать, другие, переболев в острой форме, совершенно выздоравливают, а есть и такие, у которых она переходит в хроническое пожизненное страдание.

Прошлым летом в Петербурге мне попались на глаза мои собственные письма пяти- или даже шестилетней давности. Дети, когда уезжали в Германию, конечно, их оставили, и я, разбирая мои старые бумажки, письма эти аккуратно сложила и привезла обратно в Мюнхен, потому что они все-таки правдивее, чем какие-нибудь воспоминания, написанные позже. Как пишут воспоминания: перелистывают записные книжки, сосредоточенно покусывают ручку (или глядят клавиатуру) и, вперившись взглядом в потолок и в прошлое, возбуждают в себе давние чувства по поводу минувших происшествий. Или их придумывают – и чувства и происшествия. А письма, даже если там не вся правда, всё равно честнее, на них ведь, действительно, «кровь событий». Не вся правда... Конечно, не вся правда. Читая свои письма, удивляюсь – нигде не пишу, что первый год – это год тяжёлой болезни, не знаю, как её назвать – ностальгия, депрессия..., а уж описать совсем невозможно. Когда-то, опираясь на костыли, я стояла у окна в клинике Военно-медицинской Академии и смотрела, как быстро передвигают ногами снующие внизу на улице озабоченные прохожие – мне непонятно было, как это получается у людей – ходить (ничего, потом сама научилась). И здесь, в Германии я долго не понимала, как люди смеются, жуют, пьют пиво, о чем беседуют за столиками в кафе, зачем едут куда-то в чистых автобусах, как превозмогают отсутствие смысла и жжение в сердце.

Перед нашим отъездом на кухне у меня сидел Конашенков – больной, старый, запущенный, попрежнему сильно пьющий, одинокий и всеми брошенный.

«Ну, тогда поехали с нами», – сказала я Володе. «В Германию!? – закричал он. – Ни за что. Они убили мою бабушку. Как я могу поехать в Германию». А я поехала, хотя отец мой погиб под Ленинградом. Ну, стреляйте теперь меня. Те, кто остались в родном краю. (Написала и спохватилась – поймала себя на этих словах, просто какой-то приём у меня получается. Старенький немец сделал мне замечание в магазине – я достала из ящика булочку рукой, а не специальными щипчиками, потому что из этих щипчиков булочка постоянно выскальзывает. Немец был абсолютно прав, но я ужасно, ужасно не люблю, когда мне делают замечания. „Dann werden Sie mich erschießen, oder...?“ – спросила я его вполне вызывающе. Старик уставился на меня испуганными глазами и почти убежал, насколько могут бегать восьмидесятилетние старики, толкая впереди себя нагруженную тележку. Немцы очень боятся, что их упрекнут в дискриминации ауслендеров.) Честная подруга Лариса пишет стишок: «Покуривая в нежном холодке,/ разглядываю фрукты на лотке,/ меж тем как рядом бродят человечки,/ которые топили нами печки./ И если у судьбы на поводке/ явилась я, как будто так и надо,/ сюда за пышной кистью винограда,/ то, видимо, достойна печи ада – /не то что печки в ближнем городке». Ближний городок – это не иначе, как Дахау. До сих пор еще вздрагиваю, когда читаю на указателях: Dachauer Str.

А профессор из Петербурга, который приехал сюда с тяжело больной женой, на коммунальной кухне в общежитии сказал печально: «Хотелось использовать эту возможность – уехать в страну, где человеческая жизнь все-таки имеет какую-то ценность и убийство остаётся ненормальным явлением». Племянника профессора в Петербурге в подъезде собственного дома не убили, но искалечили, а больную жену здесь, в Мюнхене начали немедленно лечить, и диализ уже не был такой неразрешимой проблемой.

Я смотрю в спину грустному профессору и мысленно перечисляю имена друзей и знакомых ближнего круга, убитых, избитых, ограбленных в родном городе. Ну что, вспомним по этому поводу всем известные цитаты насчет презрения к Оте-

честву и досады, если иностранец неосторожно разделит это чувство. Странное дело – лично у меня досада возникает даже, если это чувство попытается разделить раздраженный российский безобразиями соотечественник. Повидимому собственное нам чувство противоречия находит на каждый разумный чужой довод тоже очень разумный, но наш собственный довод, опровергающий первый и так до бесконечности.

Например, по поводу цены жизни вспоминается мне такая сценка. В кабинете врача сидит пациент, которому нужно делать байпасс (или клапан ставить – неважно), но денег на операцию у него никаких нет, и вот пришел этот больной к врачу уже просто так, как к доброму знакомому, но в отсутствии денег абсолютно беспомощному, попрощаться собственно пришел, поскольку уезжает в Германию, где сделают ему операцию бесплатно. Врач желает ему счастливого пути и в заключение беседы задумчиво произносит: «Ну, хорошо – проживёте вы еще десять лет, но ведь без Родины...». Но Родина наша – это страна молодости и здоровья. А если нет молодости и здоровья, то нужны какие-никакие денюжки.

Кажется, ностальгия или, как сказал молодой психиатр, ситуационная депрессия началась у меня с первых немецких слов «Achtung, achtung», которыми нас разбудили в пять часов утра в Нюрнберге. Кто же не помнит этих слов, также, как и слов: *хенде хох, хальт, хайль гитлер, капут, фройндшафт, дойче убер алес, бутер, брот, цукер*. Кем-то подсчитано, что люди совсем не учившие язык, все-таки знают довольно много немецких слов, чуть ли не больше пятидесяти, а то и ста, просто из воздуха, из литературы, особенно военного времени, конечно. Поэтому, когда новые немолодые ученики уверяли в институте Гете, мол «ни одного слова не знал по-немецки», это они лукавили. Это мода такая среди эмигрантов распространилась – скрывать свою первоначальную немецкую базу, повидимому, чтобы оттенить свои успехи в языке, или, наоборот, оправдать неудачи. Поэтому факт изучения немецкого языка в школе или институте скрывается. Любопытно наблюдать человеческую природу в новых условиях.

Эмиграция предоставляет для этого большие возможности. Человек оказывается вырванным не только из привычной среды, но также из прежней референтной группы, из прежнего мнения этой группы, и можно, так кажется человеку, начать все сначала. Медсестра называет себя врачом, кандидат-технических наук – доктором, скромный стихотворец или краевед объявляет себя лауреатом неведомых премий. Ну, хочется быть человеку значительнее. Не будем осуждать, будем снисходительны, тем более, что обязательно найдется какой-нибудь свидетель прежних лет, явится и с наслаждением ра-зоблачит.

Вообще говоря, признаемся – эмиграция, особенно тепе-решняя, не всегда изгнание и беда. Очень часто это расширение опыта, новые впечатления и, между прочим, новые знания, а также необходимое человеческой судьбе разнообразие. Но это понимаешь только потом, а сначала сердце разрывает непроходящая тоска, тревога, желание спешно бросить в чемодан старенькие пожитки и первым самолетом улететь в свой бедный покинутый дом. Отвлекают довольно успешно занятия немецким языком, молодое студенческое оживление в институте Гете, и постепенно начинают даже просачиваться в эту депрессивную жизнь ручейки забавного и смешного.

В нашей группе было несколько молодых иностранцев. Все – милые, приветливые, очень симпатичные, но создавалось впечатление, что прилетели мы с разных планет – какое-то совершенно другое образование получили они. Ну, не знает американочка, кто такой Фолкнер, англичанин не читал Бай-рона, с отвращением отвергают они всякую французскую шушеру, вроде Бальзака и Флобера, но... у меня возникло стой-кое подозрение, что этим англоязычным людям неведомо та-кое имя, как Шекспир. Вежливый красавец Джованни, владе-лец предприятия по разведению рыб сказал нашему препода-вателю, который отлучался из аудитории: «Вас спрашивал кто-то, вероятно, господин Гёте». Молодой итальянец, по-ви-димому, воспринимал Гёте как хозяина заведения. (Ну мож-но ли представить, чтобы в России самый распоследний дво-ечник не знал Шекспира, я имею в виду, что слово он это все-

таки слышал. Хотя, вспоминаю..., когда Михаил Т. не хотел жениться на своей последней жене, он такой довод приводил: она не знает, кто такой Наполеон. «Ну, это ты брось, школу-то она закончила, в школе «*Войну и мир*» проходили», «Когда «*Войну и мир*» проходили – она болела», – почему-то с торжеством выкрикнул М.Т., и все не нашлись, что ответить.)

И вместе с тем, Джованни, вероятно, успешно разводит своих рыб и фирма процветает, вот он и немецкий приехал учить, для дела ему нужен немецкий – с клиентами разговаривать и всё понимать в контрактах, чтобы немцы ему чего-нибудь не впарили, так я понимаю. И пожилая португальская монахиня учит немецкий (учитель уважительно называет её – сестра Бригитта), чтобы лучше ухаживать за больными. И девушке из разорванной Югославии хороший немецкий язык необходим – она работает в Мюнхене, но знать Чехова – необязательно, достаточно, что она, кажется, слышала про Лео Толстого

Может быть, для торжества цивилизации и не требуется эта несчастная глубокая культура, которой так гордится тоненький слой в России. А ведь в цивилизованной (простите за выражение) стране людям легче жить, если уж вы так думаете о людях.

«Галя, а вы, вообще-то, русская?» – так, помнится, недоуменно спросила Галю Глинку старенькая и немощная уже Мария Николаевна Изергина, сидючи в кресле на веранде своего Коктебельского дома и наблюдая, как Галечка самозабвенно трудится в огороде. И действительно, Галечка – очень работающая. А национальность её, как ни странно, абсолютно русская. Вот ведь как плохо обстоит дело у русских людей с репутацией, если все вокруг, да и они сами удивляются своему работолобию.

Немцы же, как всем известно, напротив – хорошие работники. Но и это, оказывается, часто не более, чем предрассудок.

Вообще, по поводу немцев существует два основных предрассудка. Первый, что они все фашисты, а второй: они необыкновенно пунктуальны. И если с первым ничего поделать

нельзя, то со вторым они борются изо всех сил. Счет за страховку не приходит, чиновник теряет важные бумаги, компьютер ошибается при начислении зарплаты, бухгалтер пожимает плечами и отрицает свою вину.

И то что, все немцы честные, неподкупные, никогда не обманывают, и даже такого слова, как «непорядочный» в их языке нет (это писатель Пьецух утверждает) тоже, как вы догадываетесь, обыкновенный миф.

С первым обманом и хамством мы столкнулись сразу же, наняв автобус-такси от Мюнхенского аэропорта до Нюрнберга. Наш водитель продемонстрировал лучшие манеры московских и питерских таксистов. Он довольно быстро домчал нас до Нюрнберга по автобану – скоростная трасса, скорость строго предписана и никуда не свернешь – но там, в Нюрнберге, пользуясь нашей общей остолбенелостью, незнанием местности и языка, бесконечно катался по городу, пока даже самые ненаблюдательные и растерянные из нас не заметили, наконец, что мы совершаем повторяющиеся круги по одним и тем же улицам, и начали роптать. Тогда он просто остановился у того самого огромного стадиона «Цеппелин», где Гитлер принимал многолюдные парады обезумевших сограждан, расслабленно положил руки на руль, никак не реагируя на возмущенные и жалкие пiski на варварских языках у себя за спиной. А счетчик меж тем щелкал как положено. Через некоторое время он глянул на часы, почему-то решил, что «пора», и в мгновение ока подвёз нас к высоченному зданию с огромными буквам «Grundig» на крыше, куда нам, собственно, и надо было. А здание это возвышалось уже давно над окрестным пейзажем. Вредный немец обманывал нас нагло и беззастенчиво.

А все-таки национальные мифы существуют. Общественное сознание не желает расставаться с этими жесткими, окостеневшими конструкциями, интуитивно руководствуясь теорией вероятности, всяческой статистикой и, скажем так, народным законом больших чисел. И когда я в Российском консульстве указываю соотечественнице на огромные круглые часы, которые давно и невозмутимо стоят, она закатывает глазки, поднимает брови, мы хихикаем и понимаем друг

друга – в Мюнхене все часы работают исправно, даже самые причудливые и старинные, только в Российском консульстве всё никак не соберутся вызвать мастера.

К слову (раз уж зашла речь о нашем консульстве) – в Мюнхене, конечно, бывают очереди, ну, например, за билетами в Филармонию, если прибывает долгожданный какой-нибудь пианист или Мариинский балет, но это чинные, интеллигентные, спокойные очереди, а вот таких озверелых очередей, какие стоят в Российское консульство по январям, немцы еще не видали. Это стоят немолодые российские граждане, тесно прижатые друг к другу, вцепившись друг в друга мертвой хваткой, а то ведь могут и вытолкнуть, в забытом облаке богатого и звучного родного языка, слегка раздраженного в связи с обстоятельствами и пронизывающим ветром января, и слова иногда вспархивают над толпой не то, чтобы очень приличные, а стоят они за справочками о том, что они еще живы и потому желают и дальше получать свои законные пустяковые пенсии на покинутой родине. Стоят, охватив друг друга за локти, слившись в единый взволнованный человеческий ком, немцы-переселенцы и евреи из культурных столиц (и провинциальных русских немцев на этот раз жалче – они живут преимущественно в маленьких городках или даже деревнях, приезжают издалека, а справки выдают только до часу дня, за один день, бывает, и не справишься, так и уезжают, несолоно хлебавши). Изредка выходит из консульства како-нибудь шестёрочный чин – глаза полны презрения, голос тренирован на окрик: «ну-ка, назад, назад, говорю, подай, ничего не знаю, в час дверь закрою, ногу убери, а ну, убери ногу», дверь закрывается, бьётся в стекла человеческая мошकारа, на вопросы никто не отвечает.

Местные немцы, между прочим, стараются никого не коснуться – в толпе ли, в очереди – главное, не обеспокоить соседа, и в банках у них есть такая черта, на полу нарисована, за которую заходить неприято – подошел впереди тебя стоящий человек к стойке банка, и между вами метра три, не меньше, не должен ты слышать и видеть, какие такие операции совершает этот человек, стой и жди своей очереди и черту не переступай. А в сберкассе, ну теперь называется Сбербанк, на

проспекте Кима, в Петербурге старушечья за моей спиной так и норовила сунуть нос в мои бумажки, сердилась, что рукав мой ей мешал, поправляла очки, вытягивала шею, «да, пожалуйста, бабушка, смотрите, у меня секретов нет...», старушка почему-то обиделась.

... Читаю в записных книжках Фазиля Искандера: «В Германии в метро вдруг увидел лифт. Для чего это? – спросил у своего спутника – немца. Для инвалидов, – сказал он.» Несколько секунд не понимаю, что удивило писателя – забыла я, оказывается, что в Петербурге нет лифтов в метро, вот как давно я уже здесь живу, не понимаю теперь, как без этих лифтов обходятся инвалиды, старики и мамы с детскими колясками. Далее Искандер рассуждает об истинном народолюбии и заботе о человеке. И я подтверждающе киваю головой – человек здесь все равно остаётся человеком, даже если он преступник, наказан законом и сидит в тюрьме. Недавно появился интернетовский сайт, на котором предлагается всем желающим выставить оценки немецким тюрьмам. Заключение, их родственники и тюремные сотрудники ставят тюрьмам оценки-звездочки от одной до пяти (как отелям). Первое место занимает тюрьма «Санта Фу» в Гамбурге. Бывший экз пишет: «В этой тюрьме очень хорошее питание, приятные комнаты, милые охранники и мягкий распорядок дня. Я надеюсь туда вернуться». Самой плохой оказалась тюрьма в Ганновере, так что старайтесь в Ганновере ничего не нарушать, правда, еда везде хорошая. Достоинство человека – вещь важная, нельзя человека унижать. Над братской могилой расстрелянных солдат-предателей во времена разгрома Баварской республики водружен камень, на камне надпись: «У каждого из них была мать. Они достойны сожаления» и подпись – цех булочников. Какими, однако, благородными и человеческими были эти немецкие булочники до Второй мировой.

...На стеклянной двери нашего дома (дом большой, многоквартирный, центр Мюнхена, никто эту стеклянную дверь не пинает, не бьёт, сначала меня это удивляло, потом привыкла) висит объявление:

« Am Donnerstag den 30 Januar wird das Wasser ab 12.00 Uhr für ca. 1/2 Stunde abgestellt, um Reparaturen auszuführen. Danke für Ihr Verständnis.»

Означает – в понедельник 30 января с 12 часов приблизительно на полчаса вода будет отключена в связи с ремонтом. И благодарят нас (жильцов) за понимание, ну это у них дежурная присказка.

Подумать только, предупреждают, что минут тридцать-тридцать две воды не будет. Если ремонт затянется на 40 минут, они побегут другое объявление вешать и, вообще, их взгреют.

Еще больше чем стеклянная входная дверь поражало поначалу круглогодичное присутствие в доме горячей воды чудной чистоты и прозрачности. (Непонятно, когда они проводят «профилактические работы», как выражались в наших жилконторах, может быть, их хитрое водопроводное хозяйство не нуждается в этих работах. Загадка.)

Когда в европейском городе Петербурге отключали горячую воду на месяц, в разгар лета, объявления, помнится, все-таки вывешивали, но дата включения отплывала всё дальше и дальше, и взволнованные люди бегали друг к другу, звонили в жилконтору и писали жалобы не в силах спокойно дожидаться, когда же из безжизненного сухого крана со страшным рычаньем и ржавыми плевками хлынет желтая, теплая, мутная, с дурным запахом вода.

В трудные раннеперестроечные времена я сдавала комнату иностранным дамам, преимущественно из Дании, пожелавшим неизвестно почему учить русский язык. Когда в июне отключили горячую воду великодушная Лиз успокаивала меня рассказами о своей семье, которая после войны тоже жила в доме без горячей воды, и они с матерью по субботам ставили на плиту огромный чан, грели воду и мыли младших детей, и ничего, пережили как-то, и мы переживём, вот приятель её сына, вообще, в африканской деревне месяц жил.

Но все-таки я придумала выход – я привела Лиз ко мне на работу. Я всё еще числилась в Оптическом институте, но перешла в какой-то мифический международный отдел с подачи кратковременного директора, бывшего нашего аспиранта Лёни

Глебова (он выбран был, кстати, трудовым коллективом. Были такие безумные времена, помните?), который сразу же дал мне должность старшего научного и планировал развернуть невиданной широты контакты с зарубежной наукой. И ведь, действительно, развернул. Сейчас он, кажется, во Флориде, говорят, процветает, но плохо переносит жару. Так вот. В этом нашем филиале, занимавшем здание бывшей школы на проспекте КИМа, был с древних школьных времен спортивный зал и при нем душ. Так что с горячей водой мы как-то выкрутились, правда, приходилось каждый раз подкупать охрану, институт ведь страшно закрытый. Не то что иностранец, просто посторонний человек, должен был пройти всяческие тщательные проверки, прежде чем переступить порог института. Но в перестроечные дни что только не стало возможным.

И я очень радовалась, что Лиз оказалась такой неприхотливой, практически, своей. Однако, когда отключили еще и холодную воду, причём, без всякого предупреждения, моя так стремительно обрусевшая датчанка сникла, погрузилась, приоткрыла, но я напомнила ей о скандинавском юноше в засушливой африканской деревне, и мы взяли ведра и пошли на кольцо всех трамваев и троллейбусов, на угол Наличной и Кораблестроителей, не такая уж окраина гордого города Санкт-Петербурга – там колонка была. И вместе с нами с ведрами, бадейками, бидонами, а дети с алюминиевыми чайниками (где только люди их хранили), шли, перекидываясь смешочками, жители наших обезвоженных домов, и Лиз начала улыбаться и решила считать всё это еще одним русским приключением.

Так что не надо так уж сокрушаться и делать из горячей воды какой-то культ или знак недостижимой цивилизации. Тем более, что все кое-как пробившиеся хотя бы в тонкий средний слой поставили электрические водогреи, ну, а многочисленные остальные поют друг другу частушку: «Нет воды горячей в кране – вот и лето, россияне».

...Кто-то из киношных друзей рассказывал, как в конце съёмочного дня инициативная группа поехала на танке за водой. Очень спешили – магазин должен был вот-вот закрыться.

ся. Танк остановился перед магазином. А танк-то был фашистский, со свастикой на боку, и солдаты из танка повыскакивали немецкие, с автоматами, всё сметая на пути к прилавку. Что тут началось! Какой ужас! Бабы вопли. Продавщица забилась в чулан и тоненько там выла, не хотела открывать.

Местные мужики, разобравшись, актерам прилично накостыляли.

«Вы что, мужики, тра-та-та-та, – кричали актеры, утирая настоящую кровь из разбитых носов, – совсем уже? Идиоты... Ну, не было у нас другого танка... Понятно вам? Какой был, на таком поехали. А вы бы не поехали?»

Водку изрядно отметеленным киношникам в конце концов продали. Победители и побежденные вместе потом и распивали.

А происходило это все в поселке Мельниково. Красивые места. Россия их у финнов отобрала.

Мюнхен. Выхожу на Одеонсплац, поднимаюсь по эскалатору.

Сверху, с площади несется непривычный шум. Смотрю вверх, и спазм мгновенного и безумного ужаса останавливает сердце. Галерея полководцев сверху до низу украшена красными полотнищами с черной свастикой. Площадь заполнена бушующей толпой. Перед Тиатинеркирхе колышутся фашистские стяги. Идет митинг. Кричащие рты. Взметнувшиеся вверх руки.

Требуется какое-то время, чтобы я пришла в себя и сообразила, что снимают кино.

Прохожу мимо Резиденции, мимо того места, где в двадцать третьем году начинающие наци еще без свастик и стягов убили четырех полицейских (Хрустальная ночь Мюнхена – вся впереди), успокаиваюсь и даже улыбаюсь, но сердце, однако, долго стучит, и я вспоминаю воющую в чулане продавщицу.

...У них всё другое, даже нищие. Обычно они устраиваются рядом с банками или закусочными. Один такой нищий, неряшливый мужик средних лет, по виду – чистый пропойца, сидел постоянно перед Макдональдсом. Однажды я прохожу мимо и вижу на асфальте его шляпу с мелочишкой на дне (но

есть и некрупные купюры), вижу его подстилку, а самого его нет. Он стоит за прозрачным стеклом – ест гамбургер, пьёт кофе. Оставил ненадолго рабочее место. У него пауза, как здесь говорят, то есть обеденный перерыв. На его шляпу с деньгами никто не покушается, а кто-то на роликах, прокатываясь мимо, даже бросает монетку. Так что – процесс идет.

Другой нищий обосновался рядом с Постбанком на Зонненштрассе. На асфальте лежат костыли, между ними шапочка для подающих. Нищий – молодой, чистенький, лицо гладкое, сидит на каменной тумбе, закинув одну ногу (увечную?) на другую, оживленно и весело болтает с кем-то по мобильному телефону. Но монетки кидают – если просит, значит ему надо. Никто не осуждает.

Вспоминаю нищую бабу в Петербурге. Я часто видела её в метро, в том месте, где людской поток, миновав изогнутый переход от «Гостиного двора» к станции «Невский проспект», спускался на несколько ступенек вниз. Вот тут она и сидела – на голом, заплывающем каменном полу, задрав выше колен свою рванину, чтобы все видели её голые толстые ноги в синих и красных, ужасных каких-то пятнах. Народ пугливо оглябал её, а одна тётка все-таки приблизилась... и свирепо в неё плюнула. Иногда юнцы с ней заговаривали, кричали гадости, подталкивали к ней вырывающегося чахлого малолетку. Но чтобы денежки какие-нибудь подавали – этого не было. Непонятно, как только её толпа не затаптывала. А, может быть, потом и затаптали. В конце концов она куда-то исчезла.

Кстати, недавно узнала, что в Москве популярна у богатых игра в нищих и бомжей. Стоит, между прочим, как я слышала, довольно дорого, пять тыщ (ну, долларов, конечно.). Толстосумов переодевают в лохмотья, особо гладких здоровяков гримируют, наводят на лица синюшность и болезненную одутловатость, глаза окружают трагическими тенями, а губы скорбными складками, и подвозят этих обитателей «дна» к платформе в час пик, когда из города в ближайший пригород возвращается уставший рабочий люд, рассаживают и дают последние наставления. Наконец, приходит электричка, вываливается на платформу мрачная и темная толпа. И всегда на-

ходятся в этой толпе такие люди, которые обязательно бросят в протянутые руки, коробочки и шапки какую-нибудь мелочишку.

Выигрывает (это ведь всё-таки игра, и есть в ней соревновательный элемент) тот, кто больше всех насшибает деньжат.

Организует такие представления некий Князев (имя была, но фамилия точная). Он владелец и вдохновитель замечательно процветающей фирмы. Они с фантазией работают. Например, вот так. Провинциального водителя останавливает на подъезде к Москве гаишник, журит его за то, что машина грязная, и даёт 100 рублей, чтобы машину помыл. Едет дальше. Через некоторое время снова останавливают. На этот раз гаишник говорит, что нельзя за рулем быть таким лохматым и даёт снова сто рублей, чтобы постригся. Чуть проехал – снова тормозят. ГАИ (т.е. теперь это называется ГИБДД – жуткая аббревиатурка, говорят, снова переименовали...?) вместе с милицией. Милиционер протягивает сто рублей, а время предновогоднее. «Купи, – советуется, – подарок жене».

Вот такая акция. Богатеи платят три тыщи долларов, чтобы поиграть роль гаишника или милиционера, дешевле стоит, чем роль нищего, расходы фирмы, видимо, поменьше.

...Кажется, одного слова «воруют» уже недостаточно для краткого описания России, пожалуй, следует добавить «врут». Хотя...воровство подразумевает враньё, обман, умение прикинуться порядочным, честным. Причем, врут – ну все поголовно. Бессеребренница и смелая женщина Новодворская в передаче радио «Свобода», желая защитить героя капиталистического труда Чубайса от нападков непросвещенного слушателя, поучает этого бедного как на карман, так и на голову человека: «Не ищите святости там, где речь идет об экономике». И в горле моём застревают жалкие слова (порядочность – ха-ха – нравственность и т.д.), потому что эта пламенная революционерка повторила буквально слова бандита-банкира, вышедшего на крыльцо к рыдающим и ограбленным вкладчикам, не побоялся, а чего, собственно, бояться, когда рыдают одни глупые женщины и недоумки, да и охрана рядом. «Нель-

зя говорить о порядочности, когда речь идет о деньгах», – так сказал толпе надутый чиновник банка «Национальный кредит», удачливый комсомольский вожак в былые времена. А вы хотите, чтобы народ жалел олигархов.

Московских мальчиков выгнали из американского университета за пользование шпаргалками во время экзамена, они выкручивались, старались оправдаться, ссылались на русский менталитет, но ничего не помогло. Рассказывают, что много лет назад новым эмигрантам из России выдавали в Нью-Йорке талоны на обувь, быстрые разумом невтоны, выращенные на просторах родины чудесной, сообразили – набирали коробки с разнообразными ботинками и мчались продавать на гаражный рынок, пока наивные американцы не догадались талоны на выходе отнимать. Здесь в Германии те же невтоны замечательно используют доброту и благотворительность доверчивых немцев. (Богатая же страна. Иду, например, к помойке, вся увита, между прочим, розами, не я, разумеется, а помойка – выбросить мусор и вижу хорошенькую лампу, то есть, о такой именно и мечтала, и записочка приклеена, что это, мол, подарок и es funktioniert. А приятель мой на том же маршруте, на крышке помойного чистенького бака нашел полный комплект компьютера: и процессор, и принтер, и монитор, и рядом в целофановом пакетике лежали описания, и, опять же, сопроводительная записочка с советами и рекомендациями.) Да, так вот, хитроумные невтоны дают объявления во все газеты, что примут в дар в силу печальной своей обездоленности и мебель, и посуду, и любую одежду (но новую). И немцы несут и несут. А невтоны меж тем разбогатели (можете уже и догадаться, каким образом) и сняли специальную квартирку, куда поселили якобы бедных, а на самом деле удачно актерствующих людей с многочисленными детьми, и немцы, пришедшие с дарами, ужасаются невиданной нищете, всплескивают рукам, исчезают, обзванивают всех друзей, собирают еще какие-то вещи, и бизнес ширится и растет. А находчивые руководители, веселые невтоны уже кормят целую армию продацов, которые всем этим добром торгуют на еженедельных фло-марктах (фло – по-немецки блоха).

...За границей соотечественников можно узнать сразу – даже на большом расстоянии, в метро, на улице, в магазинах. Не знаю, почему – по одежде (хотя все, как говорили раньше, вполне «прикинутые»), по манере двигаться, по прическам, по выражению лица, по движению губ. Но это как раз понятно – лингвисты утверждают, что при говорении на разных языках работают разные группы лицевых мышц. Глаз это видит. Мужчин из России определить не так просто, как женщин. Мальчиков и девочек почти невозможно, даже тех, кто приехал совсем недавно.

Как-то в Париже Катя бросилась к двум квадратным теткам, тащившим тяжеленные сумки, спрашивать дорогу. Тетки шарахнулись от нас в ужасе. Я остановила Катю: «Ты что, это же наши люди». Впрочем, особой заслуги моей здесь нет – кроме квадратности у теток были еще и золотые зубы, а лица отличались специфической недоброжелательностью. Европейские старушки, напротив, любезны и разговорчивы. Мы жили почти в центре Парижа, недалеко от улицы Вожирар, той самой по которой Д, Артаньян въехал впервые в город. Поутру, выходя из гостиницы, Катя обычно обращалась к какой-нибудь старушке с разными вопросами, и не знаю, уж на каком языке мы разговаривали, но старушки долго не хотели нас отпускать. Так мы и стояли на парижской улице (rue Bagottee), на краю сточной канавки (по ней быстро текла вода, может быть, канавка существовала с давних средневековых времён), припекало октябрьское приятное солнце, и неловко было оборвать оживленную старушку.

А в Мюнхене, если вы медленно бредете с картой в руке, явно разыскивая нужное вам место, обязательно подойдет какой-нибудь немец: «могу я вам помочь?». Не знаю, все ли немцы такие, но баварцы очень любопытны и общительны.

Ищу на окраине Мюнхена дом друзей, никогда здесь раньше не бывала, и оказываюсь в какой-то немецкой Тмутаракани, среди тишины и безлюдных улиц, и спросить некого. На перекрестке я остановилась, разглядывая мелкую карту. Из дома напротив вышел человек, направился ко мне и вместе со мной стал карту рассматривать и водить по ней пальцем. Вдруг

хлопнул себя по лбу, кинулся обратно, закричал по-немецки: «забыл очки, сейчас вернусь» и, действительно, скоро вернулся с очками. Но тут оказалось, что карта моя не только очень мелкая, но и крайне неполная. Человек снова побежал домой и принес толстый том – атлас здешних мест, и мы, наконец, быстро во всем разобрались. Не надеясь на мою понятливость, он начертил на листочке (из дома захватил) план, нарисовал опознавательные домики (школа, магазин, кирха) и поставил стрелочки. Помахал на прощанье рукой – «Алес гуте». «Инен аух, – ответила я, – унд филен, филен данк!».

...В красивом провинциальном городке на берегу Штарнбергского озера гостя из Москвы зашла в маленький ювелирный магазинчик выбрать себе серёжки на память, чтобы вспоминать в Москве эту весну, эту цветущую Баварию, где каждый балкончик и каждое оконце так хотят тебе понравиться. Магазинчик почти пуст, улыбчивая молоденькая продавщица очень старается, раскрывает все коробочки и закрома. Прибегают другие продавщицы, тоже молоденькие и милые, тащат какие-то дополнительные зеркала, чтобы клиентка рассмотрела себя со всех сторон. Потом кто-то предлагает выйти из магазинчика на улицу – посмотреть, как сияют при солнечном свете красненькие камешки. И когда иноземная гостя в новых сережках, очень довольная, отправляется к своему временному пристанищу, продавщицы еще долго машут ей вслед прощальными руками и кричат: «Классе, кууль, тооль, аусгецайх-нет...» Почему они это делают, почему так сияют улыбками? Нет ли здесь притворства? О, мы подозрительны, мы не верим в простую человеческую доброжелательность.

Звоню из Мюнхена в Россию, в Петербург, в некое чиновничье управление. Снимают трубку. Спрашиваю: «Скажите, пожалуйста, это Управление такое-то?». – «Почему вы звоните во вторник?» – кричит в ответ молодой, злобный голос. «А когда я должна звонить?», «У нас приемные дни только понедельник и среда». – «Извините, я не знала, могу я задать вопрос, я звоню из Германии», – «Ну и что, что из Германии», и связь обрывают. Ну почему, почему нет у наших чиновни-

ков и чиновниц уроков формальной любезности, почему их никто не учит владеть своим голосом и интонацией и говорить нормальные человеческие слова. И это при таком расцвете в России черного и белого пиара и всяких имиджмейкеров.

Ну, и что из этого следует. Да, ничего не следует, кроме того, что лично мне больше по вкусу любезность, пусть даже и не очень искренняя, чем откровенное недоброжелательство и хамство.

С другой стороны, неизвестно еще отдаст ли немец последнюю рубашку в том смысле, что «сам погибай, а товарища выручай», а русский отдаст и выручит.

«Да, ничего подобного, – кричит Ирина, – а вот не хочешь: только ты уедешь, он в дачу твою залезет, украдет всё, что осталось, всё, что можно еще украсть, подушки потопчет, разрежет, пух по веранде раздует и над всем этим безобразием твой старый зонтик раскроет – это для смеху, юмор такой».

«И то верно. Но рубашку последнюю свою отдаст»

«Рубашку отдаст», – соглашается Ирина.

Я часто встречаю немцев, сердца которых ранены Россией навсегда, они учат русский язык, чтобы читать, сами знаете кого. К моему удивлению, кроме Толстого и Достоевского, они читают еще и других кое-каких классиков – пожилой читатель (не славист) досадует на Гоголя, зачем он свою повесть «Вий» исправлял и переделывал, испортил только, первая редакция этому немцу, видите ли, больше нравится. Однако, оказывается, они знают и современную литературу. Мы устраивали в Мюнхене вечер Татьяны Бек, и немецкая девушка Лиза, владелица частной шпрахшуле, предоставившая нам бесплатно своё помещение, удивленно раскрыла глаза: «Как, это дочь Александра Бека?». Сама Лиза говорит по-русски практически без акцента (она как раз – славистка) и всё-всё читает, все наши толстые журналы. Мы как-то обсуждали эту странную русскую болезнь у немцев. Где причина и где следствие. То ли русский вирус непостижимыми путями проник в немецкое сознание, и они поэтому стали учить язык, то ли изучение русского языка накладывает на них узнаваемую печать русской прелести и русского разгильдяйства. Лиза

щедра, неугомонна, эмоциональна, очень образована и абсолютно непрacticна.

В доме у Мартины висит на стене портрет графини Шарлотты фон Ливен («моя уруругроссмуттер», – говорит Мартина), статс-дамы Екатерины второй, руководившей образованием детей императорской семьи. Подлинник в Эрмитаже, в Петербурге. Вся грудь у Шарлотты в российских орденах. На другой стене портрет барона Мантойфеля, генерала, участника Крымской войны. И показывая портреты других своих предков, Мартина всегда подчеркивает: «Вот видите, на них российская военная форма. Они честно служили России». И я не сомневаюсь. Слово честь она произносит так естественно.

Стоим с друзьями на платформе У-бана, ждем поезда. Подходит какой-то молодой человек – услышал русскую речь. Он работал несколько лет в Москве, хочет поговорить по-русски. Приближается наш поезд, человек успеваает только произнести «Россия – это душа». Буквально так. И мы уезжаем, улыбаемся за стеклами вагона.

В Мюнхене проходит конференция «Физика лазеров», приехали мои друзья, мои бывшие коллеги, между прочим, из Минеаполиса. Таким маленьким стал Земной шар. В вагоне метро болтаем по-русски. Подходит девушка, она была в России. «Ах, русский язык такой трудный, но в России так тепло. Здесь этого не хватает», – признается она. В руках девушка вертит птичье перо, оно вот только что упало ей с неба, пролетающая птица уронила. Мне хочется сказать ей что-нибудь приятное. «Это – к счастью», – говорю я, указывая на перышко (понятия не имею, существует ли такая примета). Протягивает мне с радостной улыбкой: «Возьмите». Я энергично трясую головой: «Нет, нет. Это именно ваше счастье». Вообразите только – она готова отдать мне своё счастье.

...Природы в Баварии очень много. Когда едешь на чистом, удобном поезде из Мюнхена, допустим, в сторону Гармиш–Партенкирхе через огромные незаселенные пространства, и на горизонте постепенно вырастают величественные Альпы, совершенно не понимаешь, как мог Гитлер задурить голову этому работающему народу и внушить ему дикую мысль дви-

нутья на Восток завоёвывать далёкие земли. Наши бедные селенья. Говорят, что солдаты, вступившие в ненавистную Неметчину, тоже очень удивлялись красоте и богатству немецких деревень, качали головами и задавались тем же вопросом – **ЗАЧЕМ?** И леса здесь настоящие, дремучие и полны грибов. Пошли мы как-то в лес по грибы. Набрали полные корзинки – белые, опята, лисички и какие-то пластинчатые для соления. Выходим мы из леса, а дорогу нам преграждают два полицейских и просят предъявить грибы. Первая мысль – мы что-то нарушили. У них ведь на всё нужно разрешение. Например, для ловли на удочку разрешение получить довольно трудно. Соискатель должен сначала прослушать курс про рыб – какие породы водятся в Германии вообще и в Баварии в частности, когда у них наступает зрелость, когда нерест и т.п., потом сдать экзамен, и только тогда напяливай червяка на крючок. Вполне может быть, что насчет червяков тоже существует какое-нибудь правило. Вот и для грибов, наверное, нужен какой-нибудь документ. Полицейские – старый, в очёчках, очень серьёзный, и молодой, ухмыляющийся, с грибным справочником – осмотрели и обнюхали каждый гриб, сверяясь с этим справочником. Пожилой полицейский иногда неодобрительно взглядывал на молодого, кажется, ему не нравилось весёлое лицо коллеги. Все наши грибы оказались доброкачественными, и нас с миром отпустили и на прощанье даже поулыбались удивленно и уважительно. Хотелось мне им сказать: «Не учи kota ученого...», да что связываться с немчурой...

У ног полицейских, на обочине слабо светились кучи бледных поганок.

Оказывается, в Мюнхене было много отравлений грибами, вот и поставили полицейских на всех выходах из леса. Забота о человеке – уважаемому Фазилю Искандеру на заметку. Так что – приезжайте. Приезжайте осенью. Пойдем за грибами. Прекрасные здесь леса, прекрасные. Да что говорить, хороша земля Бавария...

Место встречи

Еще и для того нужно съездить в эмиграцию, чтобы, вернувшись в этот город, просыпаться по утрам с пронзительным чувством счастья и не понимать, откуда оно взялось среди дребезжанья старых трамваев, скрежета машин, удушающих выхлопных газов, беспризорных детей, бритоголовых мутантов, терпеливых смиренных старух и убого одетых старых мужчин, редкий из которых имеет передние зубы.

Вы прилетаете вечерним самолетом, вас встречает друг и мчит вас по новой гладкой президентской дороге, практически европейского вида, через горбатые мостики над Фонтанкой и Лебяжьей канавкой (лишь ухает сердце как в детстве), мимо свежевыкрашенных юбилейных фасадов, красоту которых вы раньше преступно не замечали по причине их крайней облупленности и обветшалости, вы еще не знаете (но уже догадываетесь, догадываетесь), что за этими фасадами – помойные дворы и зловонные лестницы, но это ничего, ничего, впереди еще много работы, зато вокруг расстилается светлая ночь, мерцает перламутровая Нева, тускло светятся вечные шпили и вас ждут слезы, объятия и слова любви на прекрасном родном языке.

Ну, и как не проснуться от счастья в этом городе, где, действительно, понимаешь каждое слово, даже скороговоркой брошенное в толпе, даже с плохой дикцией, буквально – каждое, вплоть до нецензурного.

Юбилей позади, но город всё еще немислимо прекрасен.

По вечерам за мной заезжает друг – поедем, красотка, кататься, пока фасады не облетели от осеннего ветра и дождя, от зимних морозов и оттепелей, от времени и печалей.

Мы несемся по пустынным ночным набережным, здесь всюду друзья или их тени, некоторые наши друзья еще живы, вот один наш друг, он живет на барже, у него нет квартиры, никто не отобрал, просто детям оставил и жену тоже им оста-

вил, не очень молод, но работает, вот здесь на барже работает и живет, про науку свою дурацкую забыл совершенно, кому она нужна наука эта, забыл и не думает, слушает плеск невиской воды.

Но нынешней ночью не слушает, а объясняет нам почему живет один и видит в этом смысл. Может быть, себе объясняет. Может быть, считает эту баржу такой большой плавучей бочкой. Снаружи эта бочка неприглядная и ржавая, но внутри, вы не поверите, просто европейские красоты и удобства – медового цвета панелями облицованы стены просторного холла, широкий деревянный стол с лавками, на лавках разноцветные подушки, на полках цветы, узкий коридорчик ведет в санузел..

Диоген наш в своей комнатке, нужно называть её, наверное, каютой что ли, накрыл стол, выставил закуску и хорошую водку, нет, нет, мы не будем, мы за рулём. Ну, как хотите, себе наливает.

Мы слушаем его рассказы, мне не очень нравится, что он ушел от жены на старости лет. Но подробности мне непонятны. Может быть, лучше, что ушел, а не застрелился как Ленечка. Некоторые женщины лучше приспособились, вот Ленечкина жена, например, начала книжки писать, а Ленечку презирать. Книжки продавала издателям в Англии и любви к мужу никакой у неё не осталось. Так что пусть лучше уходят.

Вдруг раздается телефонный звонок, обычный телефон, не мобильный. Из разговора становится ясно, что звонит старший сын из Нью-Йорка, какие-то ему документы надо отсюда прислать.

– Откуда ты звонишь, – кричит Диоген, – почему такой шум?

– Подожди немного, сейчас машины проедут, – отвечает ребенок.

Оказывается, сын звонит из своего автомобиля, а проводочки из кабины тянутся к уличному телефону-автомату, так он придумал, так можно в Россию звонить бесплатно. Попутно выясняется – телефон на барже тоже хитрой системой проводков, или вовсе не проводков, а совершенно как-нибудь виртуально, присоединен к соседнему, на суше, к какому-то

офису, поэтому в другой город или страну звонить нельзя, лучше не рисковать. Все они нормальные физики, всё могут придумать.

– А что, собственно, ты здесь делаешь, в чем состоит твоя работа, – спрашиваю я, – ты сторож, что ли?

– Обижаешь, – кривит губы Диоген и намекает, что украшает философскими разговорами компанию нужных клиентов, привозимых в сауну не чаще раза в неделю. А все остальное время он просто живет в комфортабельной бочке, замаскированной ржавыми лохмотьями под никудышную древнюю посудину.

Надо сказать, что занятия многих знакомых совершенно непонятны, и не пытайтесь понять и что-то там вычислить, и вопросов глупых не задавайте, во избежание возникновения между вами, как говорится, водораздела, просто кивайте головой. И всё.

Час ночи. Мосты разведены, на Васильевский нам не вернуться, сворачиваем в сумрачные пустынные переулки.

Они живут на первом этаже. Если не спят – отзовутся.

Стучим в окно, из-за стекла нам машут руками, гремят заковы.

Алка в халате, естественно, фланелевом (мне кажется, я его помню), лицо спокойное и приветливое, как будто мы расстались в прошлую пятницу, на голове, как говорили в детстве, – взрыв на макаронной фабрике, но ведь это ночь, а мы даже не позвонили.

В прихожей, как была двадцать лет назад газетка на лампочке, так та же газетка и пришпилена. Ремонт никогда не делали и не будут.

Какой-то запах. Ужасный.

– Ребята, чем у вас так пахнет?...

– Слушай, – говорит Алка, – у меня весь Шопен. Я открыла для себя Шопена. Тебе какой полонез больше нравится ?

– Ну, откуда такой запах все-таки?

– А... у нас пол провалился, мы дырку фанерой закрыли, и вот оттуда идёт эта вонь – то ли крысы дохлые, то ли еще что... Но это в первый момент, потом привыкаешь.

Ставит пластинку. Звучит полонез, действительно, очень красивый.

– А ты знаешь, Витя живет в Мартышкино. Там очень хорошо.

Витя это оставивший Алку муж. Он был Алкиным учеником, потом стал актером, она его актером и сделала, потом они поженились, родили мальчика и девочку, Витя играл в театре, и даже сам писал пьесы, внезапно обнаружил в себе непривычную ориентацию, рыдал на Алкиной груди и ушел, заламывая руки, к любимому мужчине, с которым и живёт до сих пор, а в данное время, как я только что узнала, в близком от города поселке Мартышкино. Дополнительным для Алки позором в те времена было именно то, что муж покинул её не ради новой и молодой женщины, это было бы делом рутинным и житейским, а ради неизвестного ей пленительного мужчины.

– Ты знаешь, – продолжает Алка, – у нас теперь очень хорошие отношения. Он даже хоронить меня будет. (Витя на шесть лет младше Алки). Ой, ты сейчас его увидишь.

Два часа ночи. Входит Витя, на шее перекрученный женский чулок. Шарф такой. Пьеса какая-то получается.

– Привет, Агеева... (это мы двадцать лет не виделись, а то и больше)

Откуда-то с пола Алка достаёт чашку:

– Чай, будешь ?

Из боковой комнаты выходит мама, как тень отца Гамлета, тоже в халате, фланелевом. Вероника Львовна преподавала нам литературу, «рогатки и препоны цензуры», гладит меня по голове:

– Как поживаешь, деточка? Аллочка, ну, как ты принимаешь гостей, почему у тебя сыр на бумажке. Там, между прочим, еще пирог из ревеня. Витя, будешь пирог из ревеня, отличный пирог, Зиночка испекла. А мы вот всё в тесноте (вздыхает), но не в обиде, не в обиде.

Мой друг подаёт голос:

– Почему бы вам не продать эту квартиру. Первый этаж, Центр. Магазин какой-нибудь купил бы... Хорошие деньги... На такие деньги замечательно можно расселиться.

– Нет, нет, нет, абсолютно исключено, обведут вокруг пальца, обманут, обманут, обязательно обманут. И потом лично мой квартирный вопрос уже решён наилучшим образом, рядом с папой на Северном кладбище, скоро уже переезжаю.

– Ну, мамулечка, прекрати немедленно. Ты у нас самая-самая молодая. А где твоё чувство ответственности, еще тебе ведь правнуков поднимать.

– Да, – наклоняется ко мне наша учительница литературы, – Наташенькина грамотность меня очень беспокоит (догадываюсь, что Наташенька это какая-то Алкина внучка). Это моя главная забота. Пишем диктанты каждый день (какой ужас, бедная девочка – лето же, каникулы).

Пытаюсь сосчитать в уме сколько же человек живет в этой трехкомнатной квартире, которую Алкин папа, бесхитростный полковник (почему бесхитростный – потому что первый этаж, и окна выходят на улицу, на трамвайные пути) получил в те времена, когда учились мы в классе седьмом-восьмом, а жили все в квартирах, естественно, коммунальных, и отдельная квартира долго еще оставалась для нас обыкновенной несбыточной мечтой. Значит, так – у Алки двое детей, мальчик давно женат, у него две девочки, Алкина дочка тоже замужем, но недавно, молодые спят за шкафом, в коридоре, но сейчас их нет, они гуляют, ведь белая ночь на дворе, Вероника Львовна с Алкой живут в одной комнате, другую, маленькую занимает сестра Алки художница Зиночка со своей дочерью, девочка, совершенная безумица собирается поступать, оказывается, ни больше, ни меньше как на филфак университета.

– Почему безумица, – обижается Вероника Львовна, – она поступит. Никаких сомнений. Она необыкновенно способная девочка.

Из глубины квартиры слышится детский писк, потом плач, в кухню входит незнакомая мне молодая женщина, с лицом сердитым и спящим, во всяком случае, глаза её закрыты, что-то ощупью ищет, не находит, «Где же наша вода-то, опять всю кипяченую воду выпили», – «Да вот же она, Валечка, кому нужна твоя вода...смешно, её богу», Валечка, должно быть, Ал-

кина невестка, так же не открывая глаз, удаляется. Плач еще некоторое время нас отвлекает. Витька робко:

- Может быть музыку выключить?
- Ну, не знаю...кому может помешать *такая* музыка.
- А наших ты кого-нибудь видела?

Подозреваю, про кого они хотят услышать. Да видела я её, сегодня как раз и видела, то есть уже вчера, днем. Зачем-то заехала к ней ненадолго.

Как только она открыла дверь и без улыбки, даже с какой-то гримасой сказала «привет», я поняла, что не надо было ехать. Могла бы и раньше сообразить. Но...любопытство. И потом, с Веркой уже договорились. Но главное – любопытство, что это за квартиру она купила на Марсовом поле. Квартира, действительно, замечательная, прекрасная квартира, бывшая коммунальная, вся уже перестроена. «Сколько же семей здесь жило?» – «Шесть» – «И ты всем купила отдельные квартиры на свои деньги?» – «Да, всем купила отдельные квартиры и еще на ремонт дала». – «Ты же просто ходячий ангел. И окна на Марсово поле? Можно посмотреть?» Пожала плечами. «Смотри». (Зачем я приехала-то?)

Тут выкатилась круглая старая Верка, обслюнявила, заблелала, начала хвастаться, (как будто это всё её), показывать, нажимать кнопки. Поехала в сторону матовая стеклянная стена – ванна голубая, джакузи (это какой род, Вероника Львовна?), ну, в общем, голубого цвета, цвета мадам Помпадур, золото, перламутр, зеркала, душевая кабина вообще в каких-то витражах, показалось даже, православные мотивы, потому что цвета Новгородской школы. «Нет, витражи это скорее католичество». – «Витражи – католичество, а цвета новгородские».

– Верка, ну что ты трендишь. Сделай кофе.

А теперь ко мне :

- Ну, и где твои заграничные подарки ?
- (Фиг тебе) Подарки кончились.

Передаю Верке бутылку любимого когда-то хереса. Будем пить отечественное. Ах, да это теперь другая страна. Выгаскиваю, однако, коробку конфет в бело-голубых баварских ромбах.

Постепенно она веселеет, пьёт вино. Даже фрукты велела Верке выставить. О чём рассказывает? Про то, что всё своим трудом, своей головой, никогда не нарушает законы и платит все налоги (к слову сказать, ужасающие) и открыла свою нотариальную контору, о том, как сокрушается её столяр-краснодеревщик: «где же вам, Евгения Петровна, мужа найти, нет для вас мужа в этом городе», как благодетельствует, помогает бедным, вот и Верка от её щедрот имеет, Верка кивает, осмелев, берет двумя пальчиками баварскую конфетку.

Иногда проговаривается. Зачем-то признаётся, что возили её братки оформлять дарственную к одному мужику («мужик-то был в наручниках?», – спрашиваю я ; «дура ты все-таки»).

Но вот начинается её вечный коронный номер – показ рядов. По периметру огромной гостиной тянутся антресоли, по-видимому, всё это из красного дерева (зачем столяр-краснодеревщик понадобился-то) – лестница, балясинки, перила, шкаф длиной метров двенадцать.

– Исполнилась моя мечта – каждая вещь теперь на отдельной вешалке.

Задумчиво идёт Евгения Петровна вдоль открывшего свои восхитительные внутренности двенадцатиметрового шкафа, время от времени что-то из этих внутренностей вырывает и бросает на перила или нам, вниз, и летят её упругие шелка, взмахивая рукавами и мягкими складками, шелестят в воздухе и медленно оседают на белых кожаных креслах и диванах, застывают в причудливых позах.

В немом восторге смотрит на меня Верка и зовет меня взглядом этот восторг разделить. Что может прочитать в моем ответном взгляде Верка, у которой дома лежит парализованная мать и, в силу парности катастроф, бродит по тому же дому вполне безумный после инсульта, вечно раздраженный и голодный как в прямом, так и в переносном, то есть в сексуальном, смысле, грозно мычащий муж.

Я улыбаюсь Верке, чтобы она не услышала мои мысли: «За каким хреном... неужели я приехала в мой город, знакомый до..., известно до чего..., смотреть Женькины наряды...»

А ведь они сидели на одной парте, нет, все-таки нет, это я путаю, просто дружили, и Верка училась-то лучше Женьки. Удивительный математический талант был у Верки, все говорили, даже привередливые университетские студенты, и поступила она на матмех легко, а Женька проползла на юридический, на юридический тогда известно кто поступал.

Открывается дверь маленькой комнаты, появляется Зина во фланелевом халате. Что ж это такое, почему она такая толстая. Всё еще звучит полонез. Зина обнимает меня и виснет на шее у моего друга, он тоже наш однокласник. Как хорошо – мы всё еще узнаваемы.

– Мама, я купила тебе круглый, почему ты ешь булку...

– А... хочется, – говорит Вероника Львовна и поясняет, – у меня диабет. Правда, в моём возрасте диабет не страшен. В моём возрасте вообще ничего не страшно. И еще (хвалится) у меня мерцательная аритмия. Но я не обращаю на неё внимания. Пусть себе мерцает в отдалении.

Так они живут. Алка работает в библиотеке, попрежнему перепечатывает Витькины пьесы. «Он так владеет диалогом. Фантастика». Зина лепит из глины драконов, зайцев, тигров или Святого Георгия, обжигает тут же, продаёт иностранцам у Спаса-на-Крови, для отдыха пишет чудные нежные акварельки, но их она дарит, я выбираю себе задворки Васильевского – тусклая вода, невзрачные суденышки у причала, памятник красавцу Крузенштерну, мы у него назначали свидания.

Так они живут – десять человек, хорошо еще, что Витя приходящий, и его удобное Мартышкино оказалось так кстати, там даже и укроп посажен. Он, собственно, за Наташенькой приехал, утром и поедут. Кажется, брезжит впереди избавление от диктантов.

Пусть халаты куплены в незапамятные времена, задолго до перестройки, зато они всё знают, всё читают, за всем следят. «Как хотите, но он погубил балет, балета уже нет и музыки нет», – «Ну, мама, что ты говоришь, музыка существует сама по себе, и потом, это зрелище, потрясающее зрелище, уди-

вительная фантазия...». – « Вот пусть фантазирует на музыку Слонимского, пожалуйста, сколько угодно...» Это они про Шемякина и его «Щелкунчика», а также про «Принцессу Перлипат». Нет более важной проблемы в три часа ночи. «Нельзя ли потише, – говорит Алка, – вы так орете, что ничего не слышно.» – «Ты прослушала самое удивительное место», – это она говорит уже мне и снова ставит пластинку на старинный агрегат, называется «Эстония».

Пусть рваные обои и двадцатилетней давности газетка вместо абажура, жуткая вонь из-под пола и толстый слой застарелого жира на всём, чего ни коснешься в кухне. Не будем убирать. Будем Шопена слушать. И звучит полонез.

За окном уже давно утро, полосы розового света лежат на стенах домов, и с грохотом проносится мимо окна первый пустой трамвай.

После бессонной ночи выходим на Большой проспект Васильевского острова. Перед Домом немецкой экономики (дом номер восемь, чистенький, в полном порядке, раньше здесь была детская библиотека, интересно, конечно, что это за организация здесь обосновалась, впрочем, мне всё интересно) бездомная овчарка треплет еще живую крысу, крыса противно пищит. Особенно много крыс появилось, говорят, у залива, на улице Кораблестроителей.

На 7-й Линии, перед новым домом на месте снесённого кинотеатра «Балтика» сидит бронзовый бомбардир Василий, весёлый и славный, всем очень нравится, на коленях у него любят фотографироваться приезжие из провинции. У ног бомбардира плита с надписью: «Дар Санкт-Петербургу в честь 300-летия. ЗАО (надеюсь, понимаете – Закрытое Акционерное Общество) М-Индустрия, Президент *такой-то*, Замгендиректора *такой-т*». Мода такая. Какие-то бахбудовы, загудалины и пупкины хотят прорваться в историю ценой, должно быть, немалых капиталлов.

Рядом с бомбардиром мальчик лет восьми играет на флейте средневековую нежную мелодию «Зеленые рукава». Умильные воспоминания теснятся в душе, и я отдаю ему жал-

кую бумажку. На улицах вообще много маленьких музыкальных детей – играют на скрипках, аккордеонах, гитарах, поют. Детям все подают охотно – понятно, что выручку кто-то отберёт, но, может быть, все-таки накормят.

Холдинговая группа *Просперити* с согласия администрации района вырубает деревья на Большом проспекте от 3-й Линии до 27-й и строит торговые ларьки, дело несомненно денежное, будет там море пива и другого алкоголя. Весь Васильевский остров в страшном волнении. На углу 8-й Линии и Большого, там где был раньше колбасный магазин, висит страстная листовка беспомощных стариков: «нам не нужны новые пивные, нам не нужны игорные автоматы, мы устали от пьяного мата, верните нам наши скверы...». Смешные создания – как можно вернуть им исчезнувшую сирень, черёмуху, вязы и клены, ничего этого уже нет, всё равно, что требовать возврата здоровых молодых суставов или, например, зубов. По верху листовки (напечатана, однако, на компьютере) написано размашисто синей шариковой ручкой: «Писать поздно, надо выводить людей на улицы».

Напротив «Василеостровской» совершенно баварский биргартен, простые люди отдыхают, пьют неплохое пиво – это хорошо, пусть. Между прочим, не стоит пользоваться этим метро в час пик – сложной системой загородок толпа загоняется в узкий коридор и движется к заветному входу, сама себя тесня и давя, со скоростью 7 см. в час, но это еще не всё – по головам и плечам толпы бегут нетерпеливые юнцы и юницы, которых скорость 7 см. в час не устраивает, юниц хватают за голые ножки и стаскивают внутрь толпы, побьют их вряд ли – никакой размах руки в такой тесноте невозможен, разве что поцарапают.

На водосточных трубах вдоль Среднего проспекта не раз попадаете такое объявление: «*Дипломы – любые*» и настрижены лепестками телефоны, чтобы удобнее было отрывать, многие уже оборваны. Вообще такие предложения встречают вас повсюду – внизу, в метро стоят дни напролет одни и те же

женщины с плакатиками: «Дипломы, Санитарные книжки, Паспорта», никто их не арестовывает и не тащит к дознавателям.

Проходим мимо бывшей 24-й школы, теперь гимназия им. Крылова, похоже это не самая привилегированная гимназия – «требуются учителя английского, физкультуры и уборщица». Знакомая пересказывает доверительный разговор не то чтобы в элитной, просто в хорошей школе между учениками и учительницей о судьбах народа и России, ну и, конечно, интеллигенции, как же без интеллигенции, если такая тема. «А можно спросить, – деликатно интересуется ученица, понимая всю неприличность вопроса, – вот сколько вы все-таки получаете, Марина Петровна?» – «Ну... две тысячи – оклад,» – слегка запинаясь, признаётся учительница. «Да... – задумывается тактичная девушка, – но вы хорошо одеваетесь, у вас есть красивые вещи... Да, прожить на две тысячи долларов, конечно, трудно, но всё-таки можно...» Девочка даже не подозревает, что зарплата учительницы в рублях. Отец девочки получает деньги в конверте, и не рубли и, по всей видимости, не две тысячи долларов в месяц.

По Среднему проспекту мимо всё еще существующего, но как и прежде пустынного магазина сантехники, в котором – талдычат злые языки – один из наших замдиректоров отмывал (теперь уж, наверное, начисто отмыл) денюжки, добытые на тайных кредитах в дни, когда нам месяцами не платили зарплату, через Гучков, Волховской и Биржевой переулки выходим на Биржевую линию, на площадь перед БАНом (Библиотека Академии Наук) – сегодня называется площадь Сахарова. В центре стоит сам Сахаров, ну памятник, конечно, зеленый (такой цвет), бугристый, городской сумасшедший, с заведенными за спину руками, на несоразмерно большом розово-бежевом гранитном валуне, а тот, в свою очередь, на прямоугольной серой мраморной плите, а плита на траве. Сзади, у левой ноги Сахарова впечатано на валуне «Дар городу скульптора Левона Лазарева и жителей Санкт-Петербурга...», и далее следуют четыре фамилии неизвестных мне жителей

родного города – они тоже хотят остаться в памяти народной. Вот поставили на безымянной ранее площади, на которой прошла почти вся моя жизнь, памятник хорошему человеку, хотя никакого особого отношения он к этому месту не имел, и вызвало это у меня почему-то тихий протест. Меня не спросили, видите ли. Почему не Вавилова, почему не Рождественского. Кто это решает.

Наискосок проходная погубленного Оптического института (в просторечьи – ГОИ) – грязные запущенные дома тянутся к Малой Неве, смотрю на эти тусклые запыленные окна, в некоторых даже и стекла разбиты, пытаюсь вычислить, где же была наша лаборатория, на обшарпанных, шелушащихся стенах висят доски академиков – Рождественского, Вавилова, Линника, Гребенщикова, Теренина. Выморочные пустые здания. Кому должно быть стыдно – не знаю.

Библиотека Академии Наук выглядит так себе, к юбилею её не почистили, а вот Исторический факультет (Кваренги, кстати,) покрасили, но внутрь не заходите. Там на втором этаже, над военной кафедрой вы увидите такое..., такие страшные темные коридоры, такие непереносимые запахи, такое запустение – лучше не заходите. Ну, нету денег, ведь *История* кончилась, на чем деньги-то зарабатывать. А другое крыло – получше, почище, там Философский факультет и психологи, там способы управления населением придумывают, всякие социальные технологии, там учат на пиарщиков, на белых, разумеется, а на черных только факультативно, почти подпольно и за хорошие доллары. Люди публуса, публичного успеха то есть, без пиара и дня не проживут.

Ну, хватит, Васильевский остров – моя крошечная родина, конечно, но это еще не весь Питер. Поедем в Центр, на Невский, постоим в душной пробке на Университетской набережной. Довольно долго, минут сорок.

По Неве проплывают прогулочные пароходики, называются «Флагман Руслан», потом «Чайка» и еще какой-то. На борту у каждого надпись: «Красота спасёт мир». Средних лет трудовой человек стоит рядом со мной в автобусе, пальцем

постукивает в окно, указывает на скушную надпись и говорит: «Не факт». Мое согласие ему не требуется. Красота, видите ли, спасет мир. Даже не смешно.

Мы стоим в обычном раздолбанном автобусе, не только пенсионеры переполняют его, но и более молодые экономные жители. Рядом другой автобус, современный и чистенький, на лобовом стекле крупные буквы : «Льгот нет», в нем неэкономные жители сидят.

От безделья и тягостного медленного движения к Дворцовому мосту читаю разнообразные городские надписи. Вот, например, по борту троллейбуса тянется : «Родному городу – родные соки». Что это? Призыв к донорам сдавать какие-нибудь жизненные соки – может быть, лимфу. Или реклама завода натуральных фруктовых соков?

Замечательные призывы и лозунги раскиданы там и сям. Ресторан «Мыши» рекомендует «повысить уровень сыра в организме», А ресторан «Зов Ильича» предлагает блюда «советской и антисоветской кухни». Бывают совершенно загадочные. Можно устроить такую игру. Приходишь в гости и спрашиваешь: что означает – «Мы открываем ваши ноги солнцу»? Никто не мог понять, только Доктор сообразил, что это про средство удаления волос на ногах.

А – «Натри себе всё» ? Это-то что такое? Вот то-то же. Даже находчивый Доктор не догадался. И я не скажу, а знаю. Думайте сами..... Или все-таки сказать. «Натри себе всё». Да, очень просто – это лотерея такая. Ребром монетки стираешь картинку на билетике, и, если какие-то картинки совпадут, выигрываешь полезные нужные вещи – модную кепочку или темные уродливые очки.

По правде говоря, прочитав: «Если мама сдохла – приходи в кей», нельзя не вздрогнуть. Не пугайтесь, – «Мама» это материнская плата, а «Кей» – компьютерный магазин (непонятно, почему так пишется, ведь английское *key* (ключ) читается просто «ки»). Постепенно, однако, образуется определенный навык, ну как в игре в английские шарады. И, увидев обещание – «Море драйва», понимаешь, что это зовет любителей всяческого движения тренажерный зал.

Тонкий петербургский стилист утверждает, что книжный магазин единственной место, где нетрудно вообразить соотечественникам, будто проживают они в цивилизованной стране. И действительно, окинув взглядом это печатное изобилие и немыслимое разнообразие, с радостью с ним соглашаешься. В Доме книги на всех этажах толпятся люди, листают, читают, наслаждаются, нет, правда, удобных диванчиков, как в Мюнхене, но ничего, ничего, это пустяки. Немного шумно ведут себя посетители – если говорят по мобильному телефону, то очень громко, чтобы все видели, что эта штука у них есть. До закрытия Дома книги остаётся пятнадцать минут, и вдруг молодой охранник орет жутким жлобским голосом: «Граждане, магазин закрывается. Поторопитесь с выбором и оплатой». И так несколько раз. Все спешат к кассам и выходу, лишь одна сухонькая старушка продолжает читать. «Мамаша, к вам это что не относится?» Старушка, не торопясь, ставит книжку на стенд, поверх очков холодно взглядывает на охранника и говорит: «Молодой человек, позвольте поинтересоваться, кто была ваша гувернантка?» Можете представить, что отвечает ей молодой человек, одно утешает, что старушка, не дождавшись ответа, давно уже удалилась со своей прямой и презрительной спиной.

Петербург попрежнему окружен Ленинградом и его областью. Даже близкие окраины неухожены и грязны, дорожки между домами разбиты и заполнены непросыхающими лужами, открытые люки зияют без всякой ограды. Мы идем в гости с Ниной к Толе Шкляревичу. Долго блуждаем в поисках. На домах нет номеров, а на парадных – номеров квартир. Я возмущаюсь. Нетвердым шагом, с пивом в руке приближается местный человек и резонно заявляет: «Кто тут живет – знает, а гости к нам не ходят». А мы вот гости, мы не виделись много лет, и перед радостью встречи все бледнеет, мы все-таки нашли и дом и квартиру. Да, наплевать на эту грязь и запустение, если нас здесь любят как нигде.

Относительно молодая эмигрантка, устав от заграничного одиночества и отсутствия приличных любовников, возвра-

щается жить и работать в Питер, сохранив при этом американское гражданство и американское финансовое вспомоществование. Оглядев замусоренные пространства, с горечью отмечает она вечный российский вопль в небо и полное отсутствие желания вымыть лестницу в собственном доме. Судья ей известно кто. А у этих людей, у которых нет денег вставить зубы и необходимый сердечный клапан, нет еще и сил. У них сил нет, понятно вам. А последние силы они берегут для какого-нибудь будущего экстремального момента. Они подозревают, что он может наступить.

Признаваться, что вы живете в Германии, Голландии или, еще того ужаснее, в Париже – опрометчиво, особенно в местах скопления мелких чиновников. Если вам пришла пора оформить законную российскую пенсию, не рассчитывайте, что это быстро получится. Эти уставшие женщины в отделах социального обеспечения, окруженные бестолковыми клиентами, ни словом не выдадут свою ненависть, только взглядами; мало того, что она как сыр в масле катается с Гавайских островов на Канарские, она еще здесь в нашей бедной стране хочет урвать свои, якобы заработанные, пятьдесят долларов.

Отделение милиции на берегу реки Смоленки. Никудышное убогое помещение, драный фиолетово-коричневый линолеум. На первом этаже толкуются цыгане и обиженные ментами недорогие мятые проститутки. На втором паспортистки. Очередь томится в ожидании новых паспортов с имперским орлом. Люди развлекаются как могут. Парень бросил за шиворот своей девушке абрикосовую косточку, девушка корчится и хихикает. Тетка громко ругает теперешнюю плохую народную жизнь, вспоминает, как хорошо раньше жила, как ездила в отпуск к морю, кто-то защищает «демократов», поминая «пустые полки». Тетка звереет : «так это сами демократы всё загодя скупили и спрятали». Очередь оживает и уровень шума растет. Снизу, с первого этажа взлетает по лестнице молоденький милиционер : «А ну, замолкните! Счас всех на хрен на улицу под дождь выгоню». Все замолкают и мрачно ждут.

Я сижу в углу – ниже травы, тише воды. Мой паспорт, конечно, не находят, хотя назначено именно на сегодняшнее утро, велят прийти снова в пять часов, весь день разбит. Кажется, начинаю привыкать к этим порядкам, при которых ничего нельзя планировать, ни в чем нельзя быть уверенным заранее, и перестаю рассказывать, как замечательно всё организовано в Мюнхене – приходишь в какую-нибудь чиновничью организацию, нажимаешь кнопку, вытаскиваешь номерок, садишься в удобное кресло и ждешь, когда высветится твой номер. Прописка (теперь говорят регистрация) занимает в Питере по крайней мере неделю, в Мюнхене почему-то двадцать минут.

И вообще, попридержите язык, рассказывая о заграничных удобствах и правилах – «Я, конечно, презираю Отечество моё с головы до ног, но...» и далее по тексту. Рискуете нарваться. Даже среди хороших друзей. Будете потом долго оправдываться и доказывать, что вы любите ненаглядную Россию, что вам обидно за обыкновенного незнаменитого и хорошего человека, за старушек, собирающих бутылки, за озлобленных теток с больными детьми, которые так унижительно и плохо живут, вам больно, что их не жалеют и обманывают какие-то другие плохие люди. И ничего не докажете. И на лицах ваших собеседников будет написано что-нибудь вроде – «А не трогайте наших плохих людей...»

К юбилею город завалили подарками. Французы водрузили на Сенной площади прозрачную колонну (против неё граждане сильно возражали, но ведь на этих граждан никогда не угодишь), символизирующую мир, о чем на разных языках на колонне и написано. Финны сажали в Приморском парке яблони, а японцы, соответственно, – сакуры. Швейцарцы подарили, натурально, часы – точные и цветочные. Еще идут цветочные часы в Александровском саду. Пока идут. Традиционное пасхальное яйцо изготовил в дар Петербургу внук Фаберже Тео. Принц Уэльский Чарльз подарил юным морякам учебный парусник. Пусть тренируются мальчишки. Нина Аловерт привезла из Нью-Йорка выставку своих фотографий,

и возлюбленные тени обосновались во Дворце на углу Невского и Фонтанки.

Все старались.

А вот знаете, что чехи подарили. Новую печь для крематория. Вот что. И, кажется, было её торжественное открытие, то есть, ввод в эксплуатацию, и присутствие отцов-управителей, и неплохой, наверное, фуршет вокруг печи. «О – да: Смерть и Пошлость друг дружке не чужие», – остаётся воскликнуть вслед за тонким петербургским стилистом.

«Нет, все-таки кто-то должен учить, что такое пошлость, что такое хорошо и что такое плохо», – говорит Ирина, наблюдая плохо поставленную драку якобы близких родственников в телевизионной передаче «Окна». Играют людей. Но что-то не очень удачно. Вдохновенный ведущий Нагиев мечется по экрану, то ли подзадоривает ряженных, то ли успокаивает; лицо довольное, торжествующее – рейтинг передачи растёт. А Ирине не нравится. Фальшивые интонации, видите ли, заполнили эфир. «Ну, моя дорогая, так и до цензуры можно договориться...». Ирина оживляется «Не можно, а нужно...» «Кто же будет определять...» И завели старую песенку.

Старая-то, она старая, но кто скажет устроителям выставки «100 портретов. Великие современники» на Большой Морской: «Ребята, ну нельзя же так...», кто скажет художнику Араму Сарабекяну: «Арам, дорогой, губернатор Яковлев, Андрей Ургант, Тамара Максимова, Иосиф Кобзон и даже Даниил Гранин – люди не без способностей, может быть, даже очень талантливые люди, но ведь не *великие* же, точно не великие. Испытываешь просто злорадное удовольствие, что по малости своей, по невеликости не попадаешь в эту принудительную галерею, в эту анталогию всемирной пошлости. (А не позируйте непроверенным художникам. Мало ли как используют ваше доверчивое лицо. Это я кому говорю? Ну, например, Александру Кушнеру или Борису Пиотровскому.)

В родном городе нет одиночества, или оно столь привычное состояние, что его не замечаешь, как не замечаешь со вре-

менем грохота трамвая в тишине белой ночи. А кроме того, петербургское возвышенное одиночество так легко разделить с любителями всяческих искусств и представлений, от «Кабуки» до Шемякинских «Принцессы Перлипат» и «Щелкунчика», от «Русских художников в Париже» во флигеле Бенуа до «Московского хора» Петрушевской в театре Додина, который молодые люди, заполнившие зал, встречали безумными аплодисментами, как мы в своё время какого-нибудь «Дракона» или «Голого короля». Почему этим недавно народившимся зрителям так интересна та жизнь, которую мы хорошо помним – коммунальные квартиры, ржавые раковины на кухне, скудная еда, фланелевые халаты, все вместе, нет выхода, все друг другу осточертели, взаимная ненависть (но и любовь) и надо всем божественный Бах, Перголези, а также – «домино, домино, это счастье стучится в окно».

Родной город это место встречи, это место незабываемой любви и счастья, горя и слез, смертельных измен и разбитых сердец, ужасных обманов и новых надежд и так до конца и по кругу.

Нина стоит на фоне остановленных ею мгновений, среди подаренных нам воспоминаний, любимые тени окружают её и нас, они возвращаются, они летят над городом, заглядывают в окна и в тайную тесную каморку, называемую душой, мы слышим их голоса, они утешают:

«Значит, нету разлук, существует громадная встреча, значит, кто-то нас вдруг в темноте обнимает за плечи, и, полны темноты, и, полны темноты и покоя, мы все вместе стоим над холодной блестящей рекою».

Довлатов: ранние окрестности

С живым, молодым и красивым Довлатовым я познакомилась в Ленинградском университете. Учились мы в одно время, но на разных факультетах: Сергей – на филологическом, я – на физическом.

И если бы я осмелилась написать какой-либо «эссе» о Довлатове, его можно было бы назвать «Ранние окрестности Довлатова», поскольку я помню Довлатова совсем юным, когда все только начиналось. И начиналась, между прочим, та питерская школа прозы и поэзии, которая дала нашей литературе всем теперь известные имена – Иосифа Бродского, Евгения Рейна, Андрея Битова, Александра Кушнера, ну и Сергея Довлатова. Может быть, даже самого популярного из них, несмотря на гениальность и недосыгаемость Бродского.

Сергей был настолько заметной личностью, что я просто не могу припомнить, когда увидела его в первый раз.

В университетском дворе, который тянется вдоль внутренней галереи здания 12-ти Коллегий от Библиотеки Академии Наук до набережной Невы, идет навстречу мне очень высокий, красивый, гордый своей красотой, молодой человек, держит за руку бледную девушку в красном вязаном платье с глубоким вырезом – девушка едва достаёт ему до локтя. И уже тогда я знала, что это Сергей Довлатов, а девушку зовут Мила. Фамилию её, довольно-таки неблагозвучную – «Пазюк», я узнала только недавно из воспоминаний Аси Пекуровской, первой жены Довлатова. Думаю, что при такой фамилии для бедной девушки Милы роман с лингвистическим эстетом Довлатовым был заранее обречен. Известно, что Довлатов пресёк начинающиеся отношения с другой барышней после её замечания, что она «не ест мучного». Сергей был убежден, что мучными бывают только черви.

Мы принадлежали с Сергеем к разным компаниям, которые время от времени интенсивно перемешивались. С компанией физиков Довлатова связывал его друг детства Анд-

рей Черкасов, о котором рассказ «Куртка Фернана Леже». Если помните, Довлатов пишет, что это рассказ о Принце и Нищем. В слове Принц есть некоторая ирония, но лишь некоторая. Андрей Черкасов – сын Николая Черкасова, замечательного артиста и депутата Верховного Совета, т.е. в его семье было всё – богатство, дача, машина, роскошная квартира с консьержем и огромная слава. О друзьях Андрея (т.е. в некотором смысле о нас) Довлатов пишет так: «Его окружали веселые, умные, добродушные физики. Меня – сумасшедшие, грязные, претенциозные лирики. Его знакомые изредка пили коньяк с шампанским. Мои систематически употребляли розовый портвейн». Может быть, здесь и нет неприязни к физикам, но легкая конфронтация есть. Гену Лаврентьева, нашего однокурсника, того самого, который привел к Андрею в гости медсестру, Довлатов описывает так: «У него были пышные волосы и мелкие черты лица – сочетание гнусное». В общем, обидел Сережа хорошего человека – внешность у Лаврентьева совершенно другая, ничего похожего. А жена Андрея в рассказе почему-то зовется Дашей, хотя повествование вполне документальное, все названы своими именами, даже бедный Гена Лаврентьев. Не мог же Довлатов забыть имя жены лучшего друга детства.

Остается предположить, что к химикам Сергей тоже относился настороженно, особенно к богатеньким. Жена Андрея Варя Ипатьева была химиком и внучкой известного академика. Дед её один из первых невозвращенцев, прославил мировую химическую науку в Соединенных Штатах Америки, где и умер, оставив Варю и её сестре солидное наследство, и американская жена академика сделала всё, чтобы наследство это до внучек дошло. Так что правильно говорят – деньги к деньгам.

Кроме всего прочего, Варя была красивая, высокая, уверенная, чрезвычайно светская молодая дама, раскатывала на белой «Волге» («цвет немаркий» – говорила).

Когда вполне нищий Довлатов с новой женой Леной вошли в квартиру Черкасовых, Варя свистящим шепотом, еще в прихожей извинилась за присутствие в доме медсестры. Перепуганный Сергей решил, что кому-то из родственников ста-

ло плохо. Оказалось, что медсестра это просто девушка Лаврентьева, и Варя как бы извиняется за низкое положение госты на социальной лестнице. Всё это есть в рассказе. Довлатов, кстати, всячески демонстрирует свою симпатию к этой медсестре. Ремарка в сторону – Лена Довлатова в те времена работала парикмахершей.

Но Андрей Черкасов Довлатова любил, уже тогда гордился им, рассказывал о нем совершенно фантастические истории, приводил к нам на факультет, который тогда еще не переехал в Петергоф. И Университет был единым организмом, почти как народ и партия, что позволяло получить хорошее образование. На филологическом факультете многие из нас изучали второй язык (дотошные физики где-то в уставе Университета вычитали такое право). Кто учил немецкий, кто французский, английский учили все в обязательном порядке и на приличном уровне. Я опрометчиво учила французский (никто не знает своего будущего). Ходили на лекции Бялого о Достоевском, на семинары Виктора Андронниковича Мануйлова (лермонтовед) и академика Жирмунского, на биологическом факультете читал лекции профессор Токин о том, что на самом деле представляет собой жизнь – получалось, что вовсе не «форма существования белковых тел». И до признания Создателя Мироздания оставался один шаг.

Довлатов оглядывал наш шумный вестибюль, хватался за голову, притворно ужасался и прикрывал глаза ладонью. Физикам было немного больше позволено. Мы учились (а потом и работали) как бы вне советской власти, которая была предметом откровенных насмешек. Году в шестидесятом на физфаке появилось Факультетское бюро рекламы, сокращенно ФБР, объединившее рисующих остроумцев. Перед комсомольскими и партийными органами они объяснили свою задачу так: привести в порядок и в единый стиль бесчисленные плакаты, объявления, неряшливые листки, свисающие с наших обшарпанных стен.

И начались какие-то бесчинства – огромные объявления (прекрасно, впрочем, выполненные): ФБР сообщает, ФБР предлагает, ФБР предупреждает.

Был у нас студент по фамилии Ленин, такая у него была природная фамилия.

Случай, конечно, редкий и органами не предусмотренный. Нельзя было заставить человека сменить фамилию. На кафедре Романской филологии была преподавательница по фамилии Тронская. Говорили, что раньше она была Трощкая. Потом одну букву «ц» сменила на две «н» и «с». Но это она сама сделала, по собственному желанию. Подавала, наверное, заявления. Долго хлопотала. А этот мальчик фамилию не менял, и ФБР установило за ним настоящую и жестокую охоту. Как ни придешь на факультет, взгляд упирается в гигантский плакат: «ФБР объявляет» (крупными буквами) «ПОЗОР ЛЕНИНУ» (еще более крупными, просто огромными и черными), а дальше меленькими буквочками – «за систематические опоздания на лекции по статистической физике (или квантовой механике)», «за безответственное отношение к имуществу кафедры физкультуры (сломал лыжи на соревнованиях)», «за невыход на субботник (заболел якобы)» и тому подобная чушь.

Вот такие безобразия продолжались несколько месяцев. А партийный комитет был у нас какой-то вялый. Партийные люди – хоть их и не особенно уважали, но прощали (многие вступили в партию во время войны), – они ведь тоже были физиками, преподавали, работали на кафедрах, какой-то там наукой занимались, а это требовало сил, и на идеологию их оставалось мало. В общем, партийный и комсомольский комитеты «мышей не ловили» (так тогда выражались). Но на помощь всегда приходили товарищи с филологического и исторического факультетов. Так что гуманитарии навалились и ФБР разогнали.

Разгон ФБР на нашем факультете остался, по-видимому, для Довлатова совсем незамеченным, так как в это время произошли серьезные перемены в его личной жизни (ничего не поделаешь – личная жизнь его всегда вызывала любопытство окружающих). Бледная девушка в красном платье очень скоро куда-то исчезла, и Довлатов стал всюду появляться с необыкновенной красавицей – длиноглазой и темноволосой

Асей Пекуровской. Про неё ходило много легенд в городе. Например, Наташа Захарова (подруга Андрея Черкасова и Вари) рассказывала, как они с Асей ехали в электричке, и напротив сидела, расставив толстые ноги, крупная баба с двумя ведрами, В ведрах были цветы, покрытые такими марлевыми шапками, – видно везла на продажу. Баба долго и неотрывно смотрит на Асю – так пристально смотрят только деревенские люди и дети, – и вдруг срывает марлю, протягивает Асе не букет, а целый куст сирени, и говорит: « Доченька, ты такая красивая...»

А вторая история тоже в электричке. Времена советские, народ еще довольно дисциплинированный, даже сиденья ножичками не режут и курить выходят тихонечко в тамбур, хотя и там это запрещено. И вдруг Ася, не сходя с места, в переполненном вагоне вытаскивает не сигарету, а толстую сигару и невозмутимо начинает её раскуривать. Общественное неодобрение было безмерно, вагон кричал и бесновался. Очевидец утверждал, что не хлипкие филологические спутники (Довлатова почему-то не было) охраняли Асю, а прозрачная, но стальная по крепости стена невиданной народом красоты. И остается признать, что было в ней то самое сочетание нахальства и беспомощности, которое, по собственному признанию Сергея, так его всегда пленяло. Довлатов никогда и не скрывал, что испытывал к Асе сильное чувство. В каком-то довольно позднем интервью признавался, что может быть пишет для того, чтобы показать своей первой жене, какое сокровище она потеряла.

Вообще, вокруг Аси и Довлатова очень часто закручивался какой-то вихрь общественного раздражения, беспокойства и даже скандала. Помню, они сидели прямо за мной на вечере в Актовом зале Университета. К нам часто приезжали замечательные и талантливые актеры – Смоктуновский или тот же Черкасов, режисеры – Товстоногов или Николай Павлович Акимов. Ну, и студенты, конечно, слетались. И вот в разгар действия на сцене я слышу за спиной шум, злобное шипение и возмущенную ругань – это Довлатов пробирается к выходу по ногам и плечам соседей и через некоторое время

под ту же музыку возвращается, бережно держа двумя пальцами тонкий стакан с прозрачной водой. Ася *захотела пить*. Воду можно было набрать в туалете, на первом этаже, но вот где он нашел тонкий стакан, долго оставалось мне непонятно – все окрестные буфеты были давно закрыты. Пока я это писала, мне пришло в голову, что Сергей вполне мог отобрать стакан у сидящего на сцене, скажем, Гоги Товстоногова, – устроители ставили обычно для рассказчика графин с водой и стакан на круглый столик, покрытый длинной бархатной скатертью.

Потом Сергей и Ася расстаются. Слухи и сплетни. У Аси роман со знаменитостью. У Аси дочь от Довлатова. Ася эмигрирует.

И вот уже здесь, в Мюнхене я читаю воспоминания Аси о Довлатове – журнал «Грани» есть в Толстовской библиотеке. И ужасно разочаровываюсь. К сожалению, талант не заразен. Или у Аси был высокий иммунный барьер. Во всяком случае, недуг этот её не коснулся, хотя она довольно долго была рядом с Сергеем. В этих воспоминаниях прежде всего поражает одна прозрачная цель – всеми силами развенчать миф о Довлатове. Такое впечатление, что это он её бросил, а не наоборот. Как-то не может Ася ему простить талант и успех. Ну и сам текст, то есть язык и стиль, не может не вызвать претензии. Если она пишет «юность», то эпитет обязательно «мятежная», если «отечество», то «благословенное». И слова такие повсеместно рассыпаны – «энклав», «тотем», «неконсеквентность», при которых, говорят, Довлатов просто выходил из комнаты. Нельзя было при нем произносить напыщенные банальности, то есть фальшивить на языковом уровне.

Не могу не упомянуть удивительный литературный эффект. Посреди претенциозного Асиного текста – вдруг свежее дыхание, как будто чистый морской воздух влетел в душную комнату: письмо Довлатова. Ася приводит его целиком. И я читаю это письмо – и мне неловко. Не потому, что оно очень личное или откровенное. Совсем по другой причине. Письмо о том, почему Сергей после долгих и достаточно мучительных размышлений отказывается от встречи с дочерью,

которую Ася родила уже вне брака. В подобных ситуациях я всегда на стороне женщины и ребенка, хотя девочка Маша к тому времени уже не очень и ребенок. Но стиль Довлатовского письма столь безупречен, а потому убедителен, что я не могу не принять его аргументы. Вот что такое литература. Это пение сирены. И Довлатов – образцовая сирена. Он всегда пишет хорошую прозу, даже если это частное письмо. Просто, повидимому, не может плохо писать.

В обманчиво простой и легко воспринимаемой прозе Довлатова есть ТАЙНА. И тайну эту создаёт безукоризненное владение словом. А может быть, наоборот. Тайна создает литературное мастерство.

Не плачь, я тебя спасу

... Если я обманываю его ожидания, я всегда прошу у него прощения. Не то чтобы я ему что-то пообещала и не выполнила, просто он всегда на меня надеется. Вот вчера у меня очень болела голова, и я ничего не могла сделать с погодой, и ему пришлось под дождём идти к врачу. Кстати, теперь снова на час надо заклеивать глаз, снова ухудшение.

Учительница осторожно спросила Машу: «А что это значит? Почему он говорит, что бабушка волшебница?» Маша пожалала плечами: «Ну, он так считает». Когда мы строили снежную крепость, я подслушала, как он хвастался мальчику: «Weist du, meine Oma Zauberin ist». – «А что она умеет делать?» – «Ну...погоду. Утром, помнишь, было пасмурно. Я попросил солнце. И мы вместе прогнали тучи. И видишь – солнце». – «И ты тоже умеешь?» – «Да, она меня учит». (Чистая правда. Утром он залез на стол, что строжайше запрещено, я встала на стул, лицом к окну, и мы начали медленно с помощью рук и заклинаний разгонять тучи. Сначала в небе появилось маленькое голубенькое оконце, потом оно стало всё больше расширяться, похоже, дело пошло на лад, можно было собираться, и мы пошли гулять. Когда мы дошли, наконец, до Английского парка, небо очистилось совершенно, и ослепительное невидимое солнце засияло в нем беспрепятственно). Мальчик смотрит на него с сомнением. Это очень симпатичный, воспитанный немецкий мальчик – серьёзное личико, ясный взгляд – ему лет десять, он не верит, конечно, а вдруг всё-таки... и спрашивает: «А как это делается?» И этот маленький хвастун говорит поучающим голосом: «Так сразу не объяснишь, надо долго учиться...»

Иногда он совсем наглеет. Перед обедом открывает холодильник и не находит там огурца. Маша не успела купить. Крик ярости и сразу же просьба: «Наколдуй огурчик». Я возмущенно: «Ты с ума сошел... Неужели я так бездарно буду тратить своё колдовство... Огурец можно в магазине купить».

Время от времени он проверяет меня на вшивость, придумывая хитрые задания, но и я кручусь, подобно хитрым авгурам, вот именно, как вошь на гребешке. Оказывается, есть много приёмов. Понятно, как держали наивных людей всяческие жрецы и деятели культов. Удачные предсказания и успехи ясновидения бьют в самое сердце, промахи легко объяснимы головной болью, вмешательством черных сил и прочим злом.

В классе у него идёт вечный бой с мальчиком по имени Лоренцо, приходит из школы поцарапанный и даже укушенный, демонстрирует раны, заклеенные красивым детским пластырем, уверяет: «Он первый начал». Через несколько дней спрашиваю, как бы между прочим: «Ты зачем сегодня Лоренцо толкнул?» Таращит глазки: «Когда?» – «А в паузе (здесь так называется переменка). Лоренцо стоял спокойно, никого не трогал, а ты подбежал и его толкнул». Полное изумление: «А откуда ты знаешь...» – «А вот знаю, очень простое волшебство, ничего сложного». На какое-то время моя квалификация подтверждена. Можно расслабиться.

Приехал из школы бледный, ножки подкашиваются. Лег на диван, болит живот. Стонет и, как всегда в таких случаях, актёрствует и впадает в пафос: «Ах, невыносимо, ой, видно, пришла пора прощаться с миром». Я обнимаю его: «Не плачь, не плачь, пожалуйста, я тебя спасу». С некоторым любопытством, сквозь слёзы: «А как, как ты можешь меня спасти?» «Ну как-как, обыкновенно – волшебством... Если очень сильно кого-то любишь, он не умрет». Перестаёт плакать, задумывается и, кажется, забывает о себе: «А ты не можешь так снова полюбить дедушку Вову, чтобы он снова ожил...?»

Каждый вечер одно и то же. Привычное вечернее буйство. Игрушки не убираются, затеваются новые игры, реакции на моё возмущение – никакой. Он меня просто не слышит. Совершенно теряю терпение: «Всё...больше я к тебе не приду». Почему-то мгновенно затихает: «Никогда?» – «Да, – отвечаю твердо и глупо, – никогда». И вдруг глаза его наполняются слезами, он плачет в голос: «Тогда давай прощаться. Прощай, прощай навек. Я так буду скучать». Бросается мне на шею: «Ты будешь мне писать?» – «Конечно. А ты ?» Натягивая

пижамку, он внезапно вспоминает: «Но ведь я еще плохо пишу». – «Ничего. Ты научись». И чувствуя, что сама сейчас заплачу, беру на руки рыдающего восьмилетнего мальчика и несу его в ванную.

В этих немецких школах почему-то считается, что ребенка надо особенно беречь от всяких нагрузок, у ребенка «должно быть детство», не надо его дома нагружать какими-то дополнительными знаниями, и мне кажется, что дети, т.е. Маша и Дима, придирчиво следят, чтобы я «не нагружала».

«Что такое старый новый год?» спрашивает ребенок. Приходится объяснять, что в России долгое время сохранялся юлианский календарь, когда во всей Европе давно уже перешли на григорианский, и разница между ними составляет...» – «Не забивай ему голову, – кричит из спальни Маша, – рано ему, он ничего не поймет». – «Почему это. Я всё понял. Что тут непонятного». «Ну, и что ты понял?» – интересуется мама, она даже бросила свои дела, пришла к нам, стоит в дверях. «Ну, в России раньше был юлианский календарь, а потом григорианский. И поэтому новый год празднуют два раза».

«А что такое – до новой эры, что такое – до Рождества Христова?» Рисую линию, вот тут ноль, вправо идет новая эра, две тысячи лет, даже чуть больше, каждое деление у нас будет сто лет, то есть век, а влево от нуля – это пойдут века до Новой эры, видишь, как бы в обратную сторону. Восторг узнавания и радостный вопль: «О, похоже на шкалу отрицательных чисел!» Быстро рву листок на мелкие кусочки и выбрасываю в мусорное ведро. Родителям может не понравиться преждевременное знание шкалы отрицательных чисел. Не хватало еще, чтобы он проговорился про дроби.

Но знания западают в голову и используются вполне правильным образом. Спускается с горки на санках, но снег сильно подтаял, на горке песчаные проплешины, и где-то на середине санки останавливаются. Разводит ручками и сокрушается: «Очень большая сила трения».

Невероятная новость. Открыли десятую планету. «Но знаешь, может быть, это не планета, а такой большой астероид..., хотя у неё собственная орбита». Очень озабочен.

Кроме планет, всяческих галактик, космических станций и, конечно, звездных войн (как же без звёздных войн в наше время), его ещё весьма интересует, что же там внутри у человека. С удовольствием рассматривает книжку – красивую, гляцевую, с подробными картинками – о человеческом организме. Сочиняет бесконечные истории про войну загадочных космических пришельцев, в которой, естественно, сам тоже участвует в разных обличьях. Сейчас у него разборки с какими-то ядовитыми скорпионами. «Я их съем». Я возражаю: «Но они ведь ядовитые». – «Ничего...Они сразу умрут». – «Но в них останется яд, и ты отравишься». Задумывается на мгновение и оптимистически взмахивает рукой: «Пусть-ки...печень с ядом справится». – «Откуда ты это знаешь...про печень?» – «Ну, ты же сама мне читала...» Да, я, правда, стараюсь ему много читать по русски, чтобы он слышал нормальный русский язык, стараюсь ему объяснять какие-то детали – вдруг он что-то не поймёт или поймёт не так – читаю, например, фразу: «На деревьях распустились почки», – (в моей голове молнией просверкивает история: мой друг-физик читал своему ребёнку сказку «Ягнёнок пошел к источнику», и дитя, желая уточнить, спросило: «К источнику – тока?»), и я, как бы забегаю вперед, объясняю: «Ну...понимаешь, это не те почки, которые у человека...» «Да понятно, понятно, тем более у человека всего две почки, вот тут», и он показывает ладошками, где именно у нас почки.

На днях встречает меня с сияющими глазами: «Слушай, я тебе сейчас расскажу, как получают дети». И начинает рассказывать, причем очень точно (в школе им, что ли, уже объяснили), слово «сперматозоид», правда, он произносит медленно, чуть-чуть запинаясь – действительно, трудное слово. Разговор незаметно переходит на проблему деторождения в их конкретной семье. Объясняет, почему мама не хочет родить ему брата или сестру, маму он всячески оправдывает, хотя знаю, что ему бы хотелось... Однажды сидим мы в садике, рядом присели две молодые женщины с детской коляской, младенец спит, женщины увлечены беседой. Он обнимает меня за шею и шепчет: «Давай похитим этого ребеночка». –

«Ты с ума сошел, представляешь, как расстроится его мама». – «Но у нас ему будет хорошо, мы будем его любить». Через несколько дней возвращается к теме: «Придется мне из себя клона делать, брата себе, мама, кажется, никого не хочет рожать. (Задумывается)...Нет, это, наверное, будет очень дорого. (Вздыхает). Ну как же, как же уговорить маму?»

Обучение русской грамоте (с немецкой-то нет хлопот) тоже происходит преимущественно в отсутствие родителей («не надо нагружать»), немножко как бы тайно – просто какие-то ранние христиане в римских каменоломнях. Метод такой – мы сочиняем вместе разные фантастические истории, я пишу, он читает и рисует. Такие у нас получаются книжки. Больше всего в этом процессе нравятся ему почему-то знаки препинания, а кавычки вызывают дикий восторг. «Кавычки открываются», – кричит восхищенно, когда наступает пора произнести герою какую-нибудь реплику. «Кавычки закрываются», – завершающий подскок на месте. Вопросительный и восклицательный знаки не могут выразить все чувства. «А давай придумаем *Кричательный* знак». Хорошо. Рисую какую-то загогулину. «А теперь – *Выкричательный*». – «Ну, Кричательного знака, по-моему, достаточно». – «Нет, это совершенно разные знаки. Кричательный – это когда долго кричать, а Выкричательный – когда выкрикнул и убежал».

Дети слышат слова по-другому, сам язык звучит по-другому. Я начинаю какую-то тут же выдуманную сказку так: «В одной глухой деревне...». Через некоторое время он спрашивает: «А как же они общались?», – «Кто?», – «Ну...жители деревни? Они же плохо слышали». – «Почему ты так решил?» – «Ну, ты же сказала – в глухой деревне. Там, значит, жили глухие люди...» Всякие устойчивые выражения и переносные смыслы еще не освоены, и слова и для меня вдруг приобретают странную чистоту и свежесть.

Мы посмотрели с ним фильм «Призраки Титаника» того же самого Джеймса Камерона, но на этот раз как бы документальный и трехмерный. Для наблюдения трехмерности нам выдали на входе огромные легкие очки. Техника, конечно, замечательная – подводные водоросли шевелятся рядом, лю-

бопытный дельфин заглядывает в лицо, со страшным оскалом несётся на нас акула. Мы отшатываемся, и я крепко держу его руку. Он со смехом пытается схватить проплывающих мимо мелких золотых рыбок, пальчики протыкают пустоту.

Управляемая камера проникает во внутренности несчастного «Титаника». Прозрачные призраки бродят по роскошным лестницам и залам. В каюте на полочке перед зеркалом стоит стакан, он стоит целый век, обитатель каюты только что прополоскал рот душистой водой и вышел на палубу. Прекрасная женщина подставила лицо ветру, извиваются пепельные пряди стиля модерн, руки легко касаются поручней. Женщина смеётся и оглядывается на спутника, он легко и нежно обнимает её за плечи. А внизу в машинном отделении такие же прозрачные, но потные кочегары бросают в топки уголь, чтобы существовала и плыла вперед эта изысканная непрочная машина. И всё-всё, и поручни, и лестницы, и полочка, и стакан покрыты пушистым вековым слоем подводного времени.

Возвращаемся домой, он задумчив и молчалив. Спрашиваю: «Понравилось тебе?» «Нет, не понравилось», – отвечает мрачно. – «А мне понравилось». Удивленно: «Разве тебе не жалко этих людей?...»

У него другие доводы для *нравится-не нравится*. Для него эти люди, чьи лица приближались к нам из океанской тьмы и снова растворились в этой тьме навсегда, совсем недавно ещё были живыми и красивыми – и вот уже погибли. Что же тут может понравиться. Он не понимает...

В метро здесь часто слышна русская речь, как, впрочем, наверное, уже повсюду. Рядом с нами две женщины тихо беседуют, не подозревая, что мы всё понимаем. Через проход, почти напротив сидит молодой, обильно черноволосый, крупный мужчина, трудно понять, какой он национальности, но внешность его явно не европейская. На коленях он держит спящего мальчика ангельской красоты – тень от густых ресниц лежит на нежной щеке, яркая смуглая кожа излучает видимое сияние, носик и губы нарисованы столь прекрасно, что глаз отвести невозможно.

И вдруг одна женщина тихо говорит другой: «Вот вырастет такой ангел и станет террористом». (В памяти моей тотчас же всплывает «Норд-Ост» и длинные изысканные пальцы «черной вдовы», готовые замкнуть контакты, так и не замкнули, вся эта страшная история остаётся загадкой. Я еще не знаю, что впереди Беслан и смерть детей в прямом эфире... и далее должно быть только молчание, но...)

Две женщины тихо беседуют по-русски и не догадываются, что кто-то понимает их речь, одна женщина тихо говорит другой, глазами показывая на красивого спящего мальчика: «Вот вырастет такой ангел и станет террористом».

А мой наблюдательный мальчик испуганно и внимательно смотрит на меня и шепотом спрашивает: «А что такое – террорист?» Я прижимаю его к себе и молчу. Я сама ничего не понимаю.

Я содрогаюсь от невозможности этот мир ему объяснить.

Содержание

| | |
|-----------------------------------------------|-----|
| Уроки равновесия | 5 |
| Феномен хронопаузы | 36 |
| Сны Алины | 61 |
| На Большом проспекте В. О. | 74 |
| Бедная Лиза | 87 |
| В том краю | 97 |
| Железные девочки | 124 |
| Дом над озером | 174 |
| Из рассказов про кетоны и альдегиды | 208 |
| Субботнее утро | 208 |
| Юра | 209 |
| Страсти Соснового Бора | 213 |
| Кетоны и альдегиды | 216 |
| На Вуоксе | 217 |
| Из рассказов о правилах игры | 222 |
| Письмо из Баварии | 248 |
| Место встречи | 267 |
| Довлатов: ранние окрестности | 285 |
| Не плачь, я тебя спасу | 292 |

Людмила Агеева

В ТОМ КРАЮ...

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*

Дизайн обложки *И. Н. Граве*

Корректор *И. Е. Иванцова*

Оригинал-макет *М. Л. Белле*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.

Издательство «Алетейя»,

192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.

Тел./ факс: (812) 560-89-47

E-mail: office@aletheia.spb.ru, aletheia@rol.ru (*отдел реализации*),

aletheia@peterstar.ru (*редакция*)

www.aletheia.spb.ru

Фирменные магазины «Историческая книга»

Москва, м. «Китай-город», Старосадский пер., 9. Тел. (495) 336-45-32;

Санкт-Петербург, м. «Чернышевская», ул. Чайковского, 55.

Тел. (812) 327-26-37

*Также книги издательства «Алетейя» в Москве
можно приобрести в следующих магазинах:*

Библио-Глобус, ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 5.

Тел. (495) 921-58-03

Дом книги «Москва», ул. Тверская, д. 8, стр. 1.

Тел. (495) 629-66-43, 629-73-55

Издательство и магазин «Ад Маргинем». Тел. (495) 951-93-60

Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, д. 2

Магазин «Гилея». Тел. (495) 332-47-28

Магазин «Фаланстер». Тел. (495) 229-88-21, 504-47-95

Магазин издательства «Совпадение».

Тел. (495) 915-31-00, 915-32-84

Подписано в печать 30.08.2006. Формат 60×88¹/₁₆.

Усл.-печ. л. 18,3. Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Заказ № 0478.

Отпечатано в типографии ООО «БЕРЕСТА»

196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28. тел./факс 388 -9000

Printed in Russia



Людмила Агеева родилась в Ленинграде. По образованию физик, закончила Ленинградский университет, кандидат физико-математических наук. Много лет работала в Государственном Оптическом институте. В 1997 г. переехала в Германию. Рассказы, повести и эссе печатались в журналах «Звезда», «Нева», «Знамя», «Вопросы литературы» и в периодических изданиях Германии и США. Лауреат международного конкурса 1992 г. на лучший женский рассказ. Рассказы переведены на итальянский, немецкий, голландский языки.

«Незаметно для читательского сознания в её рассказах и эссе реальные события и писательская фантазия перетекают друг в друга, создавая эффект воплощенного в литературе человеческого бытия со всеми его печальями и неожиданно смешными поворотами судьбы, тем более, что ей свойственна ирония, обращенная прежде всего к себе.

Даниил Чкония,

Главный редактор журнала «Зарубежные Записки»